

The background of the cover is a detailed illustration of two medieval knights. The knight on the left is shown from the chest up, wearing a silver helmet with a visor and a surcoat with red and white horizontal stripes. He holds a long wooden staff or spear. The knight on the right is also shown from the chest up, wearing a dark helmet and a surcoat with yellow and red horizontal stripes. He holds a dark, ornate object, possibly a mace or a staff. In the bottom left corner, a hand in a white gauntlet is visible, holding a dark object. In the bottom right corner, the head of a horse is visible, wearing a bridle. The overall style is that of a classic book cover illustration.

**Walter
Scott**
Le
Talisman

Вальтер Скотт

ТАЛИСМАН

РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ В ПАЛЕСТИНЕ

Аннотация

"Талисман". Блестящая, жестокая, овеянная легендами эпоха Крестовых походов. Время странной дружбы-противостояния двух величайших монархов-воинов XII века - неистового Ричарда Львиное Сердце и Солнца Востока - Саладина.

Идет война за возвращение Иерусалима под власть христиан... Однако эта реальная война в романе - лишь фон для опасных, захватывающих приключений шотландского рыцаря, присоединившегося к крестоносцам под именем сэра Кеннета...



BRС 138

Предисловие к «Талисману»

«Обрученные» не очень понравились некоторым моим друзьям, которые сочли, что сюжет этого романа плохо согласуется с общим названием «Крестоносцы». Они утверждали, что при отсутствии прямых упоминаний о нравах восточных племен и о неистовых страстях героев той эпохи заглавие «Повесть о крестоносцах» напоминало бы театральную афишу, в которой, как говорят, была объявлена трагедия о Гамлете, хотя принца датского из числа действующих лиц исключили. Однако мне трудно было дать яркую картину почти неизвестной мне — если не считать детских воспоминаний о сказках «Тысячи и одной ночи» — части света; и во время работы я не только ощущал свою несостоятельность невежды (если говорить о восточных нравах, то мое невежество было столь же полным, как тьма, ниспосланная на египтян), но и сознавал, что многие из моих современников осведомлены в этих вопросах так хорошо, как будто сами жили в благословенной стране Гошен. Любовь к путешествиям охватила все слои общества и привела подданных Британии во все части света. Греция, влекущая к себе памятниками искусства, борьбой за независимость против мусульманской тирании, самим своим названием, Греция, где с каждым ручейком связана какая-нибудь античная легенда, и Палестина, дорогая нашему сердцу благодаря еще более священным воспоминаниям, были недавно исследованы англичанами и описаны современными путешественниками. Поэтому если бы я, поставив перед собой трудную задачу, попытался заменить придуманными мною нравами подлинные обычаи Востока, то каждый знакомый мне путешественник, побывавший за пределами «Большого круга», как его называли в старину, имел бы право очевидца упрекнуть меня за мои домыслы. Каждый член «Клуба путешественников», который вправе утверждать, что пересек границу Эдома, становится по одному этому моим законным критиком. И вот, мы видим, что автор «Анастасиуса» и автор «Хаджи-Бабы» описали нравы и пороки восточных народов не только с большой точностью, но и с юмором Лесажа и комическим талантом самого Филдинга, между тем как люди, не сведущие в этом вопросе, неизбежно создают произведения, весьма далекие от совершенства. Поэт-лауреат в

очаровательной поэме «Талаба» также показал, насколько глубоко образованный и талантливый человек, пользуясь одними только письменными источниками, может проникнуть в древние верования, историю и нравы восточных стран, где, вероятно, следует искать колыбель человечества; Мур в «Лалла-Рук» успешно шел той же стезею, следуя которой и Байрон, соединив опыт очевидца с обширными знаниями, почерпнутыми из книг, создал некоторые из своих самых увлекательных поэм. Одним словом, восточные темы были уже так широко использованы писателями — признанными мастерами своего дела, что я с робостью приступил к работе.

Таковы были высказанные мне серьезные возражения; они не потеряли силы, когда стали предметом тревожных размышлений, хотя в конце концов и не возобладали. Доводы в пользу противоположного мнения сводились к тому, что я, не имея надежды стать соперником упомянутых современников, мог бы все же выполнить поставленную перед собой задачу, не вступая в соревнование с ними.

Эпоха, относящаяся непосредственно к крестовым походам, на которой я в конце концов остановился, была эпохой, когда воинственный Ричард I, необузданный и благородный, образец рыцарства, со всеми его нелепыми добродетелями и столь же несуразными заблуждениями, встретился с Саладином; христианский и английский монарх проявил тогда жестокость и несдержанность восточного султана, в то время как Саладин обнаружил крайнюю осмотрительность и благоразумие европейского государя, и оба они старались перещеголять друг друга в рыцарской храбрости и благородстве. Этот неожиданный контраст дает, по моему мнению, материал для романа, представляющий особый интерес. К числу второстепенных действующих лиц, введенных мною, относится вымышленная родственница Ричарда Львиное Сердце; это нарушение исторической правды оскорбило мистера Милса, автора «Истории рыцарства и крестовых походов», не понявшего, по-видимому, что романтическое повествование, естественно, требует такого рода выдумки — одного из необходимых условий искусства.

Принц Давид Шотландский, который действительно находился в рядах войска крестоносцев и, возвращаясь на родину, стал героем

весьма романтических походов, также был завербован мною на службу и стал одним из моих *dramatis personae*? ¹.

Правда, я уже однажды вывел на сцену Ричарда с львиным сердцем. Но тогда он был скорее частным лицом — переодетым рыцарем, между тем как в «Талисмане» он будет изображен в своей истинной роли короля-завоевателя; я не сомневался, что личностью столь дорогого англичанам короля Ричарда I можно воспользоваться для их развлечения не только один раз.

Я ознакомился со всем, что в старину приписывалось, будь то реальные факты или легенды, этому великому воину, которым превыше всего гордилась Европа и ее рыцарство и страшное имя которого сарацины, как рассказывают историки их страны, имели обыкновение упоминать, увещевая своих испуганных коней. «Уж не думаешь ли ты, — говорили они, — что король Ричард преследует нас, и потому так дико мчишься куда глаза глядят?». Весьма любопытное описание жизни короля Ричарда мы находим в старинной поэме, некогда переведенной с норманского; в первоначальном виде ее, несомненно, можно было отнести к числу рыцарских баллад, но впоследствии она была дополнена самыми удивительными и чудовищными небылицами. Нет, пожалуй, другого известного нам стихотворного произведения, в котором наряду с интересными подлинными событиями описывались бы самые нелепые и невероятные случаи. В приложении к этому предисловию мы приводим отрывок из поэмы, где Ричард изображен настоящим людоедом-великаном. ²

Главное событие в этом романе связано с предметом, название которого стало его заглавием. Из всех народов, когда-либо живших на земле, персы отличались, вероятно, самой непоколебимой верой в амулеты, заклинания, талисманы и всякого рода волшебные средства, созданные, как утверждали, под влиянием определенных планет и обладавшие ценными лечебными свойствами, а также способностью различными путями содействовать благополучию людей. На западе Шотландии часто рассказывают историю о талисмани, принадлежавшем одному знатному крестоносцу, и

¹
действующих лиц (лат.)

²
В настоящее издание это приложение не включено. (Прим. ред.)

семейная реликвия, о которой в ней упоминается, сохранилась до сих пор и даже все еще служит предметом почитания.

Сэр Саймон Локарт из Ли и Гартленда представлял собою заметную фигуру во времена царствования Роберта Брюса и его сына Давида. Он был одним из предводителей отряда шотландских рыцарей, сопровождавшего Джеймса, доброго лорда Дугласа, в его походе в святую землю с сердцем короля Роберта Брюса. Дуглас, горя нетерпением сразиться с сарацинами, начал войну с неверными в Испании и был там убит.

Локарт и те шотландские рыцари, что избежали участи их вождя, продолжали путь в святую землю и некоторое время принимали участие в войнах против сарацин.

Как рассказывает легенда, с ним произошел следующий случай.

В одной битве он захватил в плен богатого и знатного эмира. Престарелая мать пленника пришла в лагерь христиан, чтобы выкупить сына из неволи. Локарт якобы назначил сумму выкупа, и старуха, вытащив большой расшитый кошелек, принялась отсчитывать деньги; как всякая мать, она не думала о золоте, когда дело шло о свободе ее сына. Вдруг из кошелька выпала монета (как утверждают некоторые, эпохи Нижнего Царства) со вделанным в нее камнем; по той поспешности, с какой почтенная сарацинка бросилась поднимать монету, шотландский рыцарь заключил, что она представляет большую ценность, нежели золото или серебро. «Я не соглашусь, — сказал он, — даровать твоему сыну свободу, если к выкупу не будет добавлен этот амулет». Старуха не только согласилась, но и объяснила сэру Саймону Локарту, как следует пользоваться талисманом и в каких случаях он приносит пользу. Вода, в которую его погружали, действовала как вяжущее и противохородачное средство и обладала некоторыми другими целебными свойствами.

Сэр Саймон Локарт, неоднократно имевший случай убедиться в чудесном действии талисмана, привез его к себе на родину и завещал своим наследникам, среди которых, как и повсюду в клайдсдейлской долине, он и до сих пор известен под названием Ли-пенни, происходящим от родового поместья Локарта — Ли.

Самым замечательным в истории этого талисмана можно, пожалуй, считать то, что только он не подвергся запрету, когда

шотландская церковь сочла нужным осудить многие другие чудодейственные исцеляющие средства, объявив их колдовскими, и запретила прибегать к ним, «за исключением амулета, носящего название Ли-пенни, которому богу было угодно придать некоторые исцеляющие свойства и который церковь не намерена осуждать». Как мы уже говорили, он все еще существует, и к его целительной силе иногда прибегают и теперь. В последнее время его применяют главным образом для лечения людей, укушенных бешеной собакой; и так как болезнь в этих случаях часто возникает под влиянием воображения, то не приходится удивляться, что вода, настоянная на Липенни, оказывает целебное действие.

Такова легенда о талисмানে, которую автор позволил себе несколько изменить, чтобы приспособить к своим целям.

Я также позволил себе значительные вольности в отношении исторической правды при описании как жизни, так и смерти Конрада Монсерратского. Впрочем, на том, что Конрад считался врагом Ричарда, сходятся и история и романы. О всеми признанных расхождениях в их взглядах можно судить по предложению сарацин, чтобы некоторые части Сирии, которые они должны были уступить христианам, были отданы под власть маркиза Монсерратского. Ричард, как рассказывается в романе, названном его именем, «не мог больше сдерживать свое бешенство. Маркиз, сказал он, предатель, укравший у рыцарей-госпитальеров шестьдесят тысяч фунтов, подарок его отца Генриха; он ренегат, измена которого явилась причиной потери Аккры; и он в заключение торжественно поклялся, что прикажет разорвать маркиза на части, привязав его к диким лошадям, если тот когда-либо осмелится осквернить лагерь христиан своим присутствием. Филипп попытался вступить за маркиза и, бросив перчатку, заявил, что готов стать поручителем его верности христианству; однако предложение Филиппа было отвергнуто, и ему пришлось уступить буйной запальчивости Ричарда». -«История рыцарства» .

Конрад Монсерратский, представлявший собою заметную фигуру среди крестоносцев, был в конце концов убит одним из сторонников Шейха, или Горного Старика; но и на Ричарда пало подозрение, что он был вдохновителем его убийства.

В общем можно сказать, что большая часть событий,

описанных в предлагаемом вниманию читателей романе, вымышлена и что историческая правда, если она присутствует, сохранена только в изображении героев повествования.

Эбботсфорд, 1 июля 1832 г.

Глава I

И они ушли

В пустыню, но с оружием в руках.

«Возвращенный рай»

Палящее солнце Сирии еще не достигло зенита, когда одинокий рыцарь Красного Креста, покинувший свою далекую северную отчизну и вступивший в войско крестоносцев в Палестине, медленно ехал по песчаной пустыне близ Мертвого моря, там, где в него вливает свои воды Иордан. У этого внутреннего моря, называемого также «озером Асфальтитов», нет ни одного истока.

С раннего утра странствующий воин с трудом пробирался среди скал и ущелий. Затем, оставив позади опасные горные ущелья, он выехал на обширную равнину, где некогда стояли древние города, навлекшие на себя проклятие и страшную кару всевышнего. Когда путник вспомнил об ужасной катастрофе, превратившей прекрасную плодородную долину Сиддим в сухую и мрачную пустыню, он забыл усталость, жажду и все опасности пути. Здесь когда-то был земной рай, орошаемый многочисленными ручьями. Теперь же на этом месте расстилалась голая, иссушенная солнцем пустыня, обреченная на вечное бесплодие.

Путник вздрогнул и перекрестился при виде темных вод, так непохожих на воды других озер: он вспомнил, что под этими ленивыми волнами лежат некогда горделивые города. Могилы их были вырыты громом небесным или извержениями подземного огня, и море скрыло их останки; ни одна рыба не находит приюта в его пучинах, ни один челнок не бороздит его поверхности, и оно не шлет своих даров океану, подобно другим озерам, как будто его

страшное ложе лишь одно способно хранить эти мрачные воды. Как в дни Моисея, вся местность вокруг была «покрыта серой и солью: ее не засевают, на ней не растут ни плоды, ни трава». Землю, подобно озеру, можно было назвать мертвой: она не производила ничего, что хоть отдаленно походило бы на растительность. Даже в воздухе нельзя было увидеть его обычных пернатых обитателей: их, по-видимому, отгонял запах серных и соляных паров, густыми облаками поднимавшихся из озера под действием палящих солнечных лучей. Облака эти временами напоминали смерчи и гейзеры. Испарения клейкой и смолистой жидкости, называемой нефтью, которая плавала на поверхности этих темных вод, смешивались с клубящимися облаками, как бы подтверждая правдивость страшной легенды о Моисее.

Солнце заливало ослепительно ярким светом этот пустынный ландшафт, и все живое словно спряталось от его лучей. Лишь одинокая фигура всадника медленно двигалась по сыпучему песку; она казалась единственным живым существом на этой широкой равнине.

Доспехи всадника и упряжь его коня мало подходили для путешествия по такой стране. Кольчуга с длинными рукавами, стальной нагрудник и латные рукавицы в те времена не считались слишком громоздким вооружением. С шеи рыцаря свешивался треугольный щит. На голове был стальной шлем с накинутым поверх него капюшоном, который закрывал плечи и шею и заполнял промежуток между латами и шлемом. Бедра и голени всадника, так же как и тело, были надежно защищены гибкой кольчугой, ноги, подобно рукам, были закованы в латы. С левой стороны висел длинный, широкий, прямой меч с крестообразной рукоятью; с правой стороны — короткий кинжал. Вооружение рыцаря дополняло прикрепленное к седлу длинное копьё со стальным наконечником; нижний его конец упирался в стремя. На ходу оно отклонялось назад, и флажок на нем то развевался, словно играя с легким ветерком, то свисал неподвижно при полном безветрии. Все это громоздкое снаряжение было прикрыто вышитым плащом, сильно потертым и обтрепанным, защищавшим его от палящих солнечных лучей; без такой защиты железные латы слишком накалялись бы от солнца, и всадник не мог бы вынести их прикосновения. На плаще в нескольких местах был вышит герб его

владельца, правда изрядно выцветший. Насколько можно было разобрать, на нем был изображен спящий леопард; девиз гласил: «Я сплю — не буди меня». Изображение герба было также на его щите, но многочисленные удары вражеских мечей почти совершенно стерли его. Плоский верх тяжелого цилиндрического шлема не имел обычного украшения в виде гребня. Не расставаясь со своими тяжелыми доспехами, северные крестоносцы словно бросали вызов климату и природе той страны, куда они пришли воевать.

Снаряжение коня едва ли было менее грузным и громоздким, чем доспехи его всадника. На нем было седло, обитое стальным листом; спереди оно соединялось с латами, защищающими грудь, сзади продолжением седла служил стальной панцирь, прикрывающий круп. С луки седла свешивалась булава, наподобие стального топора или молота. Уздечка была скреплена цепочкой. Стальная пластинка с отверстиями для глаз и ушей прикрывала голову; в середине этой пластинки находился короткий острый шишак, напоминающий рог фантастического единорога.

Привычка, однако, делается второй натурой: и рыцарь и его благородный конь свыклись с этим тяжелым бременем. Правда, немало воинов из западных стран, отправившихся в Палестину, погибало, так и не свыкнувшись с ее знойным климатом. Некоторым же он не приносил вреда и даже шел на пользу. К числу этих немногих счастливцев принадлежал и одинокий всадник, медленно ехавший по берегу Мертвого моря.

Природа одарила его такой силой, что он носил тяжелую кольчугу, как будто ее кольца были сотканы из паутины. Она выковала и его здоровье, он легко переносил перемену климата, усталость и всевозможные лишения. В его характере, казалось, было что-то от этого могучего телосложения. В то время как тело его отличалось силой и выносливостью, характер под внешним спокойствием и невозмутимостью таил в себе ту пламенную и восторженную любовь к славе, которая всегда являлась неотъемлемой чертой славной норманской расы, делая норманнов властителями во всех концах Европы, где они обнажали свои отважные мечи.

Но не всем представителям этой расы уготовила фортуна столь соблазнительные награды. Нашему одинокому рыцарю за

двухлетнее его странствование по Палестине удалось обрести лишь мимолетную славу и, как его учили верить, некоторые духовные блага. Тем временем его скудные деньги таяли с каждым днем; он никогда не прибегал к тем обычным средствам, какими крестоносцы часто пополняли свои кошельки за счет населения Палестины: он не вымогал у несчастных жителей никаких подарков за то, что щадил их имущество во время войны с сарацинами, и никогда не пользовался возможностью обогащения при помощи выкупов за знатных пленников. Немногочисленная свита, сопровождавшая его с начала путешествия, постепенно уменьшалась из-за недостатка средств на ее содержание. Единственный оставшийся у него оруженосец заболел и не мог сопровождать своего господина, который, как мы видели, путешествовал в одиночестве. Это, однако, не имело большого значения для крестоносца: он привык смотреть на свой верный меч как на самую надежную защиту, а на свои благочестивые размышления — как на лучших спутников.

Но рыцарь Спящего Леопарда, несмотря на свое железное здоровье и выносливость, все же нуждался в подкреплении и отдыхе; и в полдень, когда Мертвое море находилось в некотором отдалении от него с правой стороны, он с радостью увидел несколько пальм, росших около источника, у которого он собирался устроить себе полуденный отдых. Его добрый конь, медленно двигавшийся вперед с тем же упорством, какое отличало всадника, поднял голову, расширил ноздри и ускорил шаг, как бы почуя вдали живительную влагу, предвещающую отдых и корм. Но прежде чем конь и всадник достигли желанной цели, им пришлось столкнуться с опасностями и перенести немало испытаний.

Внимательно всматриваясь в эти пальмы, рыцарь Спящего Леопарда заметил среди них какую-то движущуюся точку. Она отделилась от пальм, отчасти скрывавших ее движения, и стала приближаться к рыцарю с такой быстротой, что вскоре он мог распознать в ней всадника. Когда тот приблизился еще больше, по тюрбану, по развевающемуся зеленому плащу и длинному копыю он узнал в нем сарацина, «В пустыне нельзя встретить друга», — говорит восточная пословица. Но крестоносец не беспокоился о том, друг или враг этот неверный, приближавшийся на своем арабском коне, словно на крыльях орла. Верный воин креста,

пожалуй, предпочел бы, чтобы он оказался врагом. Высвободив из стремени копьё, он взял его на изготовку, подобрал левой рукой поводья, слегка пришпорил своего ретивого коня и приготовился к встрече с незнакомцем со спокойной уверенностью рыцаря, привыкшего выходить победителем из схваток.

Арабский всадник приближался быстрым галопом, управляя конем больше ногами и легким наклоном всего тела, чем поводьями, свободно свешивавшимися с его левой руки. Благодаря этому он мог свободно держать небольшой круглый щит из кожи носорога, украшенный серебром, размахивая им во все стороны, как бы намереваясь отразить этим легким диском сокрушительный удар рыцарского копьё.

Вместо того чтобы взять свое собственное длинное копьё на изготовку, как это сделал его противник, сарацин держал его за середину вытянутой правой рукой и размахивал им над головой. Приближаясь к неприятелю на полном скаку, он, видимо, предполагал, что рыцарь Спящего Леопарда также галопом на скаку приблизится к нему. Но христианский рыцарь, которому хорошо были известны все повадки восточных воинов, не хотел бесполезными усилиями утомлять своего верного коня. Он остановился, сознавая, что если враг приблизится для удара, то тяжесть его собственных доспехов, а также его коня явится достаточной гарантией превосходства над противником и без добавочной силы стремительного движения. Видимо, поняв грозившую ему опасность, сарацинский всадник приблизился к христианину на расстояние двойной длины копьё, быстро и с поразительной ловкостью повернул коня влево и сделал два круга вокруг своего противника. Последний, не двигаясь с места, лишь поворачивался, чтобы встретить его лицом к лицу, предупреждая попытки сарацина напасть на него с незащищенной стороны. Наконец сарацин был принужден описать большой круг и отъехать шагов на сто. Затем, словно ястреб, нападающий на цаплю, мусульманин возобновил атаку, однако опять ему пришлось отступить. Повторил он это и в третий раз. Но христианский рыцарь, намереваясь покончить с игрой, в которой он мог бы истощить свои силы, внезапно схватил привешенную к седлу булаву и, нацелившись, метко бросил ее в голову эмира — таков был высокий титул его противника. Сарацин успел только

прикрыть свою голову легким щитом. Но все же от сильного удара щит упал на его тюрбан, и хотя эта защита несколько ослабила силу удара, мусульманин был сшиблен с коня. Но прежде чем рыцарь сумел воспользоваться его падением, ловкий мусульманин вскочил на ноги и, позвав своего коня, который тотчас прискакал к нему, не касаясь стремени прыгнул в седло и вернул себе все преимущества, которых рыцарь Спящего Леопарда надеялся его лишиться. Рыцарь тем временем поднял свою булаву. Восточный же воин, увидав, как искусно и ловко его враг владеет ею, решил отъехать и держаться подальше от этого оружия, мощь которого он только что испытал на себе, по-видимому намереваясь сражаться на почтительном расстоянии, применяя свое собственное метательное оружие. Воткнув копье в песок, на некотором расстоянии от места схватки, он ловко натянул тетиву небольшого лука, висевшего у него за спиной. Подскакав к противнику, он опять описал два-три широких круга, более широких, чем прежде, и выпустил шесть стрел так метко, что только сталь лат спасла рыцаря от такого же числа ран. Седьмая стрела нашла, по-видимому, менее защищенное место, и христианин тяжело рухнул на землю. Но каково же было изумление сарацина, когда он, сойдя с коня, чтобы посмотреть, что случилось с его поверженным врагом, внезапно очутился в железных объятиях рыцаря, который прибежал к этой хитрости, чтобы приманить к себе противника. Но даже в этой смертельной схватке ловкость и присутствие духа сарацина спасли его. Он быстро отстегнул пояс с мечом, за который ухватился рыцарь Леопарда, и, таким образом, ускользнул из его объятий. Сарацин вскочил на коня, который почти с человеческой наблюдательностью следил за движениями своего хозяина, и ускакал прочь. Однако в этой схватке эмир потерял меч и колчан со стрелами, прикрепленные к поясу, с которым ему пришлось расстаться. Он потерял также свой тюрбан. Все эти неудачи заставили мусульманина искать перемирия. Протянув руку, он приблизился к христианину, но в повадке его уже не было ничего угрожающего.

— Между нашими народами заключено перемирие, — сказал он на лингва-франка — языке, обычно употреблявшемся между крестоносцами и сарацинами. — Почему же должна быть война между тобой и мной? Пусть наступит мир между нами!

— Я согласен, — отвечал рыцарь Спящего Леопарда. — Но где порука в том, что ты будешь соблюдать перемирие?

— Слово служителя пророка нерушимо, — ответил эмир. — Скорее от тебя, храбрый назарянин, мне нужно было бы потребовать залог, если бы я не знал, что измена редко уживается с мужеством.

Подобная доверчивость мусульманина заставила крестоносца устыдиться своих сомнений.

— Клянусь крестом своего меча, — сказал он, положив руку на эфес,

— я буду тебе верным товарищем, сарацин, пока судьбе будет угодно, чтобы мы не разлучались!

— Клянусь Мухаммедом, пророком божьим, и аллахом, богом пророка, — сказал его недавний враг, — в сердце моем нет измены в отношении тебя. А теперь пойдем к источнику: ведь настал час отдыха, я едва успел прикоснуться губами к его прохладной струе, когда твое появление заставило меня приготовиться к схватке с тобой.

Рыцарь Спящего Леопарда учтиво выразил свое согласие, и недавние враги, ни взглядами, ни жестами не выказав больше вражды и недоверия друг к другу, бок о бок поехали к группе видневшихся вдали пальм.

Глава II

В те времена, когда люди сталкиваются с опасностями, всегда бывают промежутки, когда устанавливается взаимное доверие и расположение. Проявлялось это особенно часто в феодальные времена; по тогдашним нравам война считалась главным и самым достойным занятием, а поэтому периоды мира, или, вернее, перемирия, особенно ценились воинами, столь редко ими пользующимися: мимолетность этих передышек делала их еще более желанными. Стоит ли хранить вечную ненависть к врагу, с которым ты сражался сегодня и, быть может, снова встретишься в кровавой схватке завтра утром? Обстоятельства и время давали такой простор бурным проявлениям сильных страстей и насилия, что люди, если у них не было особых причин для вражды или если

их не подогревали воспоминания о личных обидах, с удовольствием входили в мирное общение друг с другом в течение коротких передышек, которые им давала военная жизнь.

Различие религий и даже то фанатическое рвение, которое возбуждало взаимную ненависть у последователей креста и полумесяца, смягчались великодушием, свойственным всем благородным воинам, и особенно близким духу рыцарства. От христиан эту славную традицию мало-помалу стали воспринимать их смертельные враги сарацины как в Испании, так и в Палестине. И действительно, они не были уже теми фанатиками-дикарями, которые когда-то нахлынули из необъятных аравийских пустынь с саблей в одной руке и с кораном в другой, сея смерть и веру в Мухаммеда или в лучшем случае обращая в рабство или облагая данью всех, кто осмеливался противиться вере пророка из Мекки. Таков был выбор, который они навязали миролюбивым грекам и сирийцам. Но в столкновении с христианами Запада, обладавшими таким же неукротимым мужеством и ловкостью и прославившими себя многими подвигами, сарацины постепенно начали воспринимать их нравы и в особенности те рыцарские обычаи, которые не могли не поразить воображение этого гордого и отважного народа. Они устраивали турниры и рыцарские состязания, у них даже появились собственные рыцари или подобные им звания. Но самым важным было то, что сарацины всегда были верны данному слову, эта их черта могла бы устыдить приверженцев более совершенной религии. Они свято соблюдали перемирия между народами и отдельными людьми. Поэтому война, может быть — худшее из всех зол, представляла им случай проявить верность, великодушие, милосердие и даже добрые чувства. Может быть, чувства эти не так часто проявляются в более спокойные времена, когда страсти, вызванные обидами и распрями, таятся в людских сердцах, не находя выхода.

Под влиянием таких добрых чувств, часто смягчающих ужасы войны, христианин и сарацин, незадолго до этого старавшиеся уничтожить друг друга, медленно двигались к источнику под пальмами, куда направлялся рыцарь Спящего Леопарда, когда на него напал его ловкий и опасный противник. Как бы давая себе отдых после схватки, грозившей каждому роковым исходом, они погрузились в размышления. Их верные кони, видимо, в равной

мере наслаждались этими минутами отдыха. Конь сарацина, которому хоть и пришлось гораздо больше двигаться, казался менее усталым, чем конь европейского рыцаря. С последнего еще струился пот, в то время как благородному арабскому скакуну достаточно было нескольких минут, чтобы обсохнуть, — лишь клочья пены виднелись кое-где под уздой и на попоне. Зыбкая почва, по которой они передвигались, усиливала усталость коня христианского рыцаря, — ведь он, помимо своего тяжелого снаряжения, нес на себе закованного в латы всадника. Сойдя с коня, рыцарь повел его по мягкой густой пыли, под жгучими лучами солнца превратившейся в мельчайшие песчинки. Этим он давал отдых своему верному коню, увеличивая собственную усталость. Ноги рыцаря, закованного в тяжелые латы, при каждом шаге глубоко уходили в сыпучий песок.

— Ты хорошо делаешь, — сказал сарацин, и это были первые его слова после заключения перемирия. — Твой добрый конь стоит твоих забот. Но как в такой пустыне иметь дело с конем, который ногами уходит так глубоко в песок, будто хочет достать корни финиковой пальмы?

— Ты говоришь правду, сарацин, — сказал христианский рыцарь, не очень одобряя тот пренебрежительный тон, с каким сарацин говорил о его любимом коне, — правду, которой научила тебя жизнь в пустыне. Но в моей стране мой конь не раз переносил меня через озеро столь же широкое, как то, что раскинулось позади нас, не замочив ни волоска над копытами.

Сарацин посмотрел на него с изумлением, насколько это позволяла ему его природная вежливость: оно выразилось лишь в легкой презрительной улыбке, скользнувшей под его густыми усами.

— Правду говорят, — сказал он, и к нему сразу вернулось его обычное невозмутимое спокойствие, — послушай франка — услышишь басню.

— Не очень-то ты учтив, басурман, — отвечал крестоносец. — Ты сомневаешься в словах рыцаря. И если бы ты говорил это не по невежеству, а по злобе, то наше перемирие кончилось бы, не успев как следует начаться. Ты думаешь, что я лгу, когда говорю, что вместе с пятьюстами всадников, закованных, как и я, в тяжелые латы, я проехал много миль по воде, твердой как хрусталь и в

десять раз менее хрупкой?

— Что ты мне говоришь? — отвечал мусульманин. — Вон то озеро, на которое ты указываешь, из-за проклятия всевышнего ничего не принимает в свои волны и все выбрасывает на берег. Но ни Мертвое море, ни один из семи океанов, омывающих землю, не может выдержать тяжести конского копыта, как в свое время Черное море не могло выдержать фараона с его войском.

— Ты говоришь правду по своему разумению, сарацин, — сказал христианский рыцарь. — Но поверь мне: я не рассказываю тебе басни. В этой пустыне жара делает землю почти такой же зыбкой, как вода, а в моей стране холод часто делает воду твердой, как скала. Но лучше не будем больше говорить об этом. Воспоминания о голубой, прозрачной поверхности наших озер, зимой отражающих блеск луны и звезд, усугубляет для меня ужасы этой знойной пустыни, где воздух, которым мы дышим, подобен дыханию раскаленной печи.

Сарацин внимательно посмотрел на него, как бы недоумевая, как ему понять эти слова — скрывалась ли за ними какая-то тайна или это была просто ложь. Наконец он сообразил, как ему надо понять слова своего спутника.

— Как видно, — сказал он, — ты принадлежишь к племени, которое любит посмеяться. Вы любите посмеяться над другими, рассказывая небылицы. Ведь ты принадлежишь к французским рыцарям, а их первое удовольствие дурачить друг друга, хвастаясь сверхчеловеческими подвигами. Если бы я стал спорить с тобой, я все равно был бы неправ, поскольку хвастовство свойственно вам больше, чем правда.

— Я не из их страны и не следую их повадкам, — сказал рыцарь, — или привычке дурачить людей, как ты сказал, хвастаясь выдумками или начиная дело, которое не может быть доведено до конца. Но я уподобился этим безумцам, рассказывая тебе, храбрый сарацин, о вещах, которые ты не можешь понять: я оказался в твоих глазах хвастливым лгуном, хоть я и сказал тебе чистую правду. Поэтому, прошу, не обращай внимания на мои слова.

В это время они подъехали к тенистым пальмам, из-под которых бил искрящийся источник.

Мы говорили о коротком перемирии во время войны: столь же отрадным был этот прелестный уголок среди бесплодной пустыни.

В другом месте его красота не привлекла бы особого внимания. Но здесь, в безграничной пустыне, где этот оазис был единственным местом, сулившим живительную влагу и тень — блага, которыми мы не дорожим, когда имеем их в изобилии, он казался маленьким раем. В те далекие времена, когда для Палестины еще не наступили черные дни, чья-то добрая и милосердная рука обнесла стекой этот источник, прикрыв его сводом, чтобы он не просочился в землю и чтобы облака пыли, поднимавшиеся при малейшем дуновении ветра, не засыпали бы его. Этот свод был полуразрушен, но часть его по бокам прикрывала источник, защищая его от солнца. Лишь случайно лучи кое-где освещали поверхность воды. В то время как все кругом было иссушено и пылало от нестерпимого зноя, ничем не нарушаемый покой оазиса ласкал глаз и воображение. Выбиваясь из-под арки, вода стекала в мраморный бассейн, правда полуразрушенный, но все еще веселящий взор. Все свидетельствовало о том, что это место еще в древности предназначалось для отдыха путников и что когда-то здесь трудилась заботливая человеческая рука. Все напоминало усталому путнику, что и другие испытывали те же невзгоды, и отдыхали на том же месте, и, несомненно, благополучно достигали более гостеприимных краев. Едва заметный ручеек, вытекавший из бассейна, орошал несколько деревьев, окружавших источник; здесь он уходил в землю и пропадал, и лишь бархатный зеленый ковер напоминал о его благодетельном присутствии.

Здесь, в этом прекрасном уголке, воины сделали привал; каждый из них, согласно своему обычаю, снял с коня узду и расседлал его, напоив в бассейне. Они сами напился из источника под сводом. Затем они пустили коней пастись, зная их привычки: чистая вода и свежая трава не дадут им далеко уйти от своих хозяев.

Христианин и сарацин сели рядом на лужайке и достали из своих сумок скудные запасы еды, которые они захватили с собой. Однако, прежде чем приступить к своей скромной трапезе, они пристально оглядели друг друга. Подобное любопытство было вызвано тем, что после недавней схватки не на жизнь, а на смерть каждому хотелось измерить силы своего грозного противника, да и по возможности составить себе представление о его характере. И каждый должен был признать, что, пади он в бою, он пал бы от

благородной руки.

По внешнему виду и чертам лица соперники являли собой полный контраст — каждый из них был характерным представителем своей нации. Франк отличался физической силой и был похож на древнего гота. Целый лес каштановых волос рассыпался по плечам, лишь только он снял шлем. Смуглое лицо его загорело от солнца больше, чем шея, менее подверженная загару. Загар этот не гармонировал ни с его большими голубыми глазами, ни с цветом его кудрей и густых усов, свисавших над верхней губой. По норманскому обычаю его подбородок был тщательно выбрит. У него был правильный греческий нос, рот — несколько велик, но с прекрасными белыми зубами; его небольшая голова отличалась горделивой посадкой. Ему едва ли было больше тридцати лет, но возраст этот можно было бы уменьшить года на три-четыре, если принять во внимание невзгоды боевой жизни и тяжелый климат. Если вся его фигура в будущем и могла бы стать более тяжеловесной благодаря высокому росту и атлетическому сложению, то теперь она еще отличалась легкостью и подвижностью. У него были поразительно мощные мускулистые руки. Сняв латные рукавицы, он обнажил красивые, не тронутые загаром длинные кисти рук с очень широкими и сильными запястьями. Воинственная смелость и беспечная откровенность отличали его речь и движения. Голос же изобличал человека, привыкшего скорее командовать, чем повиноваться. Он открыто и смело выражал свои чувства.

Сарацинский эмир являл собой резкий контраст с западным крестоносцем. Роста он был выше среднего, но все же дюйма на два-три ниже европейца, почти гиганта. Стройные ноги и тонкие руки хоть и гармонировали с его внешностью, на первый взгляд не указывали на силу и ловкость, которые он только что проявил. Но, приглядевшись к нему внимательнее, можно было заметить, что на его руках и ногах совершенно не было лишнего мяса или жира и они состояли лишь из костей, мускулов и сухожилий; это придавало легкость и свободу всем его движениям. Поэтому он обладал гораздо большей выносливостью и легче переносил усталость, чем какой-нибудь сильный, грузный великан, парализованный тяжестью собственного тела и изнемогающий от своих движений. Лицо сарацина отличалось всеми характерными

для его восточного племени чертами, в нем не было ничего общего с тем искаженным образом, который менестрели тех дней обычно придавали языческим воинам, а равно фантастическими изображениями «головы сарацина», все еще красующимися на указательных столбах. Его сильно загоревшее под лучами южного солнца лицо с тонкими и, несмотря на загар, изящными чертами заканчивалось густой, волнистой черной бородой, подстриженной с необыкновенной заботливостью. У него был прямой, правильный нос, его глубоко сидящие черные глаза светились пронзительным светом, а зубы по красоте не уступали слоновой кости. Внешность сарацина, растянувшегося на траве рядом со своим мощным противником, можно было бы сравнить с его сверкающей саблей, изогнутой в виде полумесяца, с ее узким и легким, но острым дамасским клинком, так непохожим на длинный, тяжелый готский меч, лежавший на земле рядом с ним. Эмир был во цвете лет и мог бы считаться красавцем, если бы не его слишком узкий лоб и заостренные, худые черты лица, не совсем соответствовавшие европейскому понятию о красоте.

Манеры восточного воина были сдержанные, но изящные и указывали отчасти на привычку вспыльчивых людей сдерживать свой темперамент, а отчасти на чувство собственного достоинства, порождавшее некоторую церемонность в обращении.

Сознание собственного превосходства можно было наблюдать и у его европейского спутника, но проявлялось оно иначе: в то время как христианину оно диктовало смелость, резкость и некоторую беззаботность, как бы указывая на то, что он знает себе цену и ему безразлично мнение других, сарацину оно предписывало вежливость, более усердную в соблюдении церемоний. Оба они были учтивы, но вежливость христианина проистекала из сознания его долга в отношении к окружающим, тогда как учтивость сарацина — из его гордости и сознания собственного достоинства.

Трапеза обоих путников была весьма неприхотливая, у сарацина — даже более чем скромная. Горсти фиников и куса ячменного хлеба было достаточно, чтобы утолить голод восточного воина, привыкшего довольствоваться скудными дарами пустыни, хотя, со времен завоевания Сирии сарацинами, простота в жизни арабов часто уступала место безграничной роскоши.

Несколькими глотками воды из источника он закончил свою трапезу. Еда христианина, хоть и грубая, была куда более обильной. Существенной частью ее была возбуждающая отвращение у мусульман вяленая свинина; из обтянутой кожей фляги он пил нечто лучшее, чем простая вода. Ел и пил он с большим аппетитом, это коробило сарацина, ибо на еду он смотрел лишь как на удовлетворение телесной потребности. То презрение, какое втайне каждый испытывал к другому, как к последователю ложной религии, несомненно усугублялось благодаря этим различиям в пище и манерах. Но каждый уже испытал на себе силу другого, и взаимного уважения, возникшего после смелого поединка, было достаточно, чтобы заставить умолкнуть более мелкие чувства. Сарацин, однако, не мог удержаться от неодобрительных замечаний по поводу того, что ему не нравилось в поведении и манерах христианина. Наблюдая за рыцарем, который ел с большим аппетитом и закончил еду намного позднее его, он наконец прервал молчание:

— Храбрый назарейнин, к лицу ли тому, кто так доблестно сражался, пожирать еду как собака или волк? Неверующий еврей — и тот бы пришел в негодование от пищи, которую ты смакуешь, да еще с таким видом, словно это плод с райского дерева.

— Храбрый сарацин, — отвечал на этот неожиданный упрек христианин, с удивлением взглянув на собеседника, — знай, что я пользуюсь своей христианской свободой, когда ем то, что запрещено евреям, пребывающим, как они сами считают, под игом у древних заповедей Моисея. Да будет тебе известно, сарацин, что в своих деяниях мы подчиняемся более высокому закону. Ave, Maria!³ — И, как бы бросая вызов упрекам своего спутника, он закончил краткую молитву на латинском языке жадным глотком из своей кожаной фляги.

— И это ты тоже называешь свободой? — сказал сарацин. — Ты не только жрешь как животное, но еще и унижаешь себя, обращаясь в скотское состояние, когда лакаешь это ядовитое пойло, от которого отвернулась бы даже скотина.

— Пойми ты, глупый сарацин, — не задумываясь ответил христианин, — что ты вместе с твоим отцом Измаилом хулишь

3

Радуйся, Мария! (лат.)

дары божьи. Сок винограда дается тому, кто умеет с толком его пить: он услаждает душу человека после трудной работы, освежает его в болезни и утешает в горести. Тот, кто им услаждается в меру, может благодарить бога за свою чашу с вином, как благодарит он его за хлеб насущный. Но тот, кто злоупотребляет этим даром небесным, в своем опьянении не глупее, чем ты в своем воздержании.

Услышав эту злую насмешку, сарацин сверкнул глазами и схватился за рукоять кинжала. Но мимолетный порыв замер, стоило ему только вспомнить о страшной силе своего недавнего противника, об этом могучем человеке, с которым он уже имел дело, и об отчаянной схватке, которая давала еще себя чувствовать во всем теле; и он предпочел продолжать спор на словах, находя это более безопасным.

— Твои слова, о назарянин, — сказал он, — могли бы вызвать гнев, но твое невежество достойно лишь сожаления. Разве ты сам не видишь, слепец еще более слепой, чем всякий нищий, просящий милостыню у входа в мечеть, что та свобода, которой ты похваляешься, ограничена даже в том, что является самым дорогим для счастья человека и его домочадцев. А твой закон, если ты ему подчиняешься, ограничивает тебя, позволяя иметь только одну жену, безразлично, здорова она или больна, плодовита или бесплодна, приносит она в твой домашний очаг утешение и радость или распри и ссоры. Вот это, назарянин, я называю рабством, тогда как пророк разрешил правоверным жить «а земле, как патриарх Авраам, отец наш, и Соломон, самый мудрый среди людей: здесь мы можем выбирать каких угодно красавиц, а за гробом лицезреть чернооких гурий, дев райских.

— Клянусь именем того, кого я больше всего чту на небесах, — сказал христианин, — и именем той, которую я превыше всех ценю на земле, что ты лишь ослепленный и заблудший неверный! Этот бриллиантовый перстень, что ты носишь на пальце, — ты ведь, несомненно, считаешь бесценным?

— В Бальсоре и Багдаде нельзя найти подобного, — ответил сарацин,

— но к чему твой вопрос? Он не относится к делу.

— Нет, даже очень, — отвечал франк, — как ты сам сейчас должен будешь признать. Возьми мою булаву и расколи этот

камень на двадцать осколков. Разве каждый из них будет равноценен целому камню или, если их собрать опять вместе, разве ценность их составит хоть десятую часть целого?

— Ты говоришь, как ребенок, — отвечал сарацин, — осколки такого камня не составили бы и сотой доли его стоимости.

— Та любовь, мой сарацин, — продолжал воин-христианин, — искренняя и честная, которая связывает настоящего рыцаря лишь с одной, — вот это и есть драгоценность! Та любовь, что ты даришь женам, рабыням и наложницам, стоит не больше, чем блестящие осколки разбитого бриллианта.

— Клянусь святой Каабой, — воскликнул эмир, — ты просто сумасшедший, который любит свою железную цепь, принимая ее за золотую! Взгляни на вещи более внимательно! Мой перстень потерял бы половину своей красоты, если бы он не был окружен и отделан мелкими бриллиантами, которые его украшают и оттеняют его блеск. Большой алмаз в середине — это мужчина, стойкий и цельный, его ценность зависит только от его собственных качеств. Вот этот круг более мелких камней — женщины, заимствующие от него его блеск и сияние, которыми он их наделяет согласно своим желаниям и прихотям. Вынь из перстня главный камень, он по-прежнему останется драгоценным алмазом, тогда как мелкие утратят свою ценность. Вот истинное толкование твоей притчи. Поэт Мансур сказал: «Благосклонность мужчины дает красоту и обаяние женщине, подобно тому как ручей перестает сверкать, если солнце больше не светит».

— Сарацин, — отвечал рыцарь, — ты говоришь так, как будто никогда не видел женщины, достойной любви воина. Поверь мне: если бы ты мог увидеть европейских женщин, которым мы, рыцари, перед небом даем клятву в верности и преданности, ты бы навсегда возненавидел тех жалких сладострастных рабынь, которые наполняют твой гарем. Красота наших избранниц заостряет наши копья и оттачивает наши мечи. Их слово для нас — закон. Если у рыцаря нет той, которая владеет его сердцем, он никогда не сможет отличиться в ратных подвигах, так же как не зажженный светильник не может дать света.

— Слышал я все эти бредни от западных воинов, — возразил эмир, — и считаю их признаками того безумия, которое несет вас сюда для захвата пустой гробницы. Однако поскольку франки, с

которыми мне приходилось встречаться, так прославляют красоту своих женщин, я не прочь был бы взглянуть своими глазами на чары тех, которые могут обратить таких смелых воинов в предмет своих любовных утех.

— Храбрый сарацин, — сказал рыцарь, — если бы не мое паломничество ко гробу господню, я был бы счастлив охранять твою жизнь, сопровождая тебя до лагеря короля Ричарда Английского, который лучше других знает, как отдать почести благородному противнику. Хоть я и беден и одинок, я мог бы обеспечить тебе или любому из твоего племени не только безопасность, но также уважение и почет. Ты увидел бы красивейших женщин Франции и Англии, блеск которых в тысячу раз превосходит сверкание твоего бриллианта и всех алмазных россыпей мира.

— Клянусь краеугольным камнем Каабы, — сказал сарацин, — я приму приглашение так же охотно, как ты приглашаешь меня, если ты отложишь свое дальнейшее путешествие. И поверь мне, храбрый назарянин, лучше было бы тебе повернуть назад к стану твоего народа, ибо продолжать путь в Иерусалим без охранной грамоты — все равно что добровольно расстаться с жизнью.

— Есть у меня грамота, да еще за подписью и печатью Саладина, — ответил рыцарь, показывая кусок пергамента.

Узнав подпись и печать прославленного султана Египта и Сирии, сарацин склонил голову до земли и, со знаками глубокого уважения целуя пергамент, приложил его ко лбу, после чего вернул христианину, сказав:

— Неосторожный франк, ведь ты согрешил против своей и моей крови, не показав мне эту грамоту при встрече.

— Но ведь ты напал на меня с поднятым копьём, — сказал рыцарь. — Если бы на меня напало целое войско сарацин, я думаю, что не запятнал бы своей чести, показав грамоту султана, но я встретился с врагом один на один.

— Но и одного человека достаточно было, чтобы прервать твой путь, — надменно возразил сарацин.

— Верно, храбрый мусульманин, — отвечал христианин, — но таких, как ты, не много. Такие соколы не летают стаями и, конечно, не бросятся все на одного.

— Ты воздаешь нам должное, — сказал сарацин, видимо

польщенный этой похвалой. Его самолюбие было задето предыдущими хвастливыми словами европейца, в которых слышалось явное презрение. — Мы не причинили бы тебе зла. Хорошо еще, что я не заколол тебя, у кого есть охранная грамота от короля королей! Нет сомнения, что веревка или удар сабли справедливо покарали бы меня за такое преступление.

— Рад слышать, что эта грамота может сослужить мне службу, — сказал рыцарь. — Слышал я, что дорога кишит разбойниками, которые только и ищут случая пограбить.

— Тебе сказали правду, храбрый христианин, — оказал сарацин. — Но тюрбаном пророка клянусь тебе, что если б ты только попал в руки этих негодяев, я пришел бы на выручку и отомстил за тебя с пятью тысячами всадников. Я убил бы всех мужчин и отослал бы их жен в рабство так далеко, что за пятьсот миль от Дамаска никто больше не услышал бы об их племени. Я засыпал бы солью все развалины их жилищ, так что ни одна живая душа не смогла бы в них больше обитать.

— Мне хотелось бы, чтобы все эти заботы достались тебе па долю не из-за меня, а из-за более важной особы, благородный эмир, — ответил рыцарь, — но я дал обет перед небом и исполню его, что бы ни случилось. Я был бы обязан тебе, если бы ты указал мне дорогу к такому месту, где я мог бы сегодня вечером отдохнуть.

— Ты сможешь отдохнуть под черным пологом палатки моего отца, — сказал сарацин.

— Эту ночь я должен провести в молитве и покаянии с одним святым человеком по имени Теодорик Энгаддийский. Он живет среди этих дикарей, проводя время в служении богу.

— Я по крайней мере провожу тебя туда, — сказал сарацин.

— Такой провожатый мне был бы очень приятен — сказал христианин. — Однако это может навлечь опасность на святого старца. Ведь руки твоих жестоких соплеменников запятнаны кровью служителей бога, поэтому мы и явились сюда в латах и кольчуге, с копьем и мечом, чтобы проложить путь ко гробу господню и защищать святых избранников и отшельников, еще живущих в этой обетованной, чудесной земле.

— Назарейин, — сказал мусульманин, — греки и сирийцы оклеветали нас. Мы следуем законам Абу-бекра Альвакеля,

преемника пророка и после него первого вождя правоверных. «Отправляйся в поход, Иезед бен-Софиан, — сказал он, посылая этого именитого военачальника отвоевать Сирию у неверных. — Веди себя как подобает воину, не убивая ни стариков, ни калек, ни женщин, ни детей. Страну не опустошай, не уничтожай ни посева, ни фруктовых деревьев: это дары аллаха. Свято храни данный обет, даже если это принесет вред тебе самому. Если ты встретишь святых людей, обрабатывающих землю своими руками и служащих богу в пустыне, не причиняй им зла и не разрушай их жилищ. Но если только встретишь бритые головы, то знай, что это они из синагоги сатаны! Убивай, руби их саблей до тех пор, пока не обратятся в нашу веру или не станут нашими данниками». Как приказал нам калиф, друг пророка, так мы и поступаем, и наше правосудие карает только тех, кто служит сатане. Тех же добрых людей, которые искренне исповедуют веру в Исса бен-Мариам, не сея вражды между народами, охраняет наш щит. Таков тот, кого ты ищешь, и хоть вера в пророка не осенила его своим светом, он всегда будет пользоваться моей любовью, уважением и защитой.

— Тот отшельник, которого я хочу навестить, — сказал воин-пилигрим, — как я слышал, не священник. Но если он принадлежит к этому святому сословию, я бы своим копьем показал язычникам и неверным....

— Не будем презирать друг друга, брат мой, — прервал его сарацин.

— Каждый из нас найдет достаточно франков и мусульман, на которых можно было бы направить меч и копье. Этот Теодорик пользуется покровительством турок и арабов. Иногда он ведет себя странно, но он верный служитель своего пророка и заслуживает защиты того, кто был послан...

— Клянусь пресвятой девой, сарацин! — воскликнул христианин. — Если ты только дерзнешь произнести имя этого погонщика верблюдов из Мекки рядом с именем...

Гневная дрожь, словно электрический ток, пробежала по телу эмира. Но это была лишь мимолетная вспышка, и ответ его дышал спокойствием, достоинством и сознанием своей правоты, когда он сказал:

— Не поноси того, кого не знаешь. Тем более что мы уважаем основателя твоей религии, хоть и порицаем учение, которым

опутали вас ваши священники. Я сам тебя провожу до пещеры отшельника, которую, думаю, без моей помощи тебе трудно будет найти. А пока предоставим муллам и монахам спорить о божественном происхождении нашей веры и будем говорить на темы, более подходящие молодым воинам: о битвах, красивых женщинах, острых мечах и блестящих доспехах.

Глава III

После недолгого отдыха, окончив свою скромную трапезу, воины поднялись с места, и каждый любезно помог другому приладить упряжь и доспехи, от которых на время были освобождены их верные кони. Видно было, что они прекрасно владели этим искусством, составлявшим в те времена весьма важную часть ратного дела. Их кони, верные товарищи во всех странствиях и войнах, выказывали им доверие и привязанность, поскольку это допускает разница между животным и разумным существом. Для сарацина эта дружба с конем была привычной с раннего детства: в шатрах воинственных племен Востока конь воина занимает почти такое же важное место, как его жена и дети. Для западного же воина его боевой конь, деливший с ним все невзгоды, был верным собратом по оружию. Поэтому кони спокойно расстались со своим пастбищем и свободой, они приветливо ржали, обнюхивая своих хозяев, пока те прилаживали седла и доспехи для предстоящего трудного пути. Каждый воин, занимаясь своим делом или любезно помогая своему товарищу, с пытливым любопытством разглядывал снаряжение своего попутчика, замечая все, что казалось ему необычным в его приемах.

Прежде чем сесть на коней и продолжать путь, христианский рыцарь снова смочил губы и окунул руки в живительный источник.

— Хотел бы я знать название этого чудесного источника, — сказал он своему товарищу-мусульманину, — чтобы запечатлеть его в моей благодарной памяти: никогда еще столь живительная влага не утоляла жажды более томительной, чем я испытал сегодня.

— На арабском языке, — отвечал сарацин, — его название

означает «Алмаз пустыни».

— Правильно его назвали, — ответил христианин. — В моей родной долине тысяча родников, но ни с одним из них у меня не будет связано таких дорогих воспоминаний, как с этим одиноким источником, дарящим свою драгоценную влагу там, где она не только дает наслаждение, но и необходима для жизни.

— Правду ты говоришь, — сказал сарацин, — ибо на том море смерти все еще лежит проклятие, и ни человек, ни зверь не пьет ни из него, ни из реки, что его питает, но не может насытить. Из нее пьют лишь за пределами этой негостеприимной пустыни.

Они сели на коней и продолжали путь через песчаную пустыню. Полуденный зной спадал, и легкий ветерок немного смягчил зной пустыни, хоть и нес на своих крыльях мельчайшую пыль. Сарацин мало обращал на нее внимания, в то время как его тяжело вооруженному спутнику это так досаждало, что он снял свой железный шлем, повесил его на луку седла и заменил его легким колпачком, носившим в те времена название *mortier*⁴ из-за его сходства со ступкой. Некоторое время они ехали молча. Сарацин взял на себя роль проводника, указывая дорогу и всматриваясь в едва заметные очертания скал горного хребта, к которому они приближались. Казалось, он был всецело поглощен этим занятием, как кормчий, ведущий корабль по узкому проливу. Но не проехав полумили и убедившись в правильности выбранной им дороги, он, вопреки характерной для своего народа сдержанности, пустился в разговор:

— Ты спрашивал о названии того источника, напоминающего живое существо. Да простишь ты меня, если я спрошу тебя об имени моего спутника, с которым я сначала померился силами в опасной схватке, а потом разделил минуты отдыха. Оно, вероятно, неизвестно даже здесь, в Палестине?

— Оно еще недостойно славы, — сказал христианин. — Однако знай, что среди крестоносцев я известен под именем Кеннета — Кеннет, рыцарь Спящего Леопарда. На родине у меня есть еще много имен, но для слуха восточных племен они показались бы слишком резкими и грубыми. Теперь, храбрый сарацин, позволь и мне спросить, к какому арабскому племени

4

ступка (франц.)

принадлежишь ты и под каким именем ты известен?

— Рыцарь Кеннет, — сказал мусульманин, — я рад, что мои уста легко могут произнести твое имя. Хотя я и не араб, но происхождение свое веду от рода не менее дикого и воинственного. Да будет тебе известно, рыцарь Леопарда, что я — Шееркоф, Горный Лев, и что в Курдистане, откуда я происхожу, нет рода более благородного, чем род сельджуков.

— Я слышал, — отвечал христианин, — что ваш великий султан происходит из того же рода.

— Слава пророку, так почтившему наши горы: из их недр он послал в мир того, чье имя — победа, — отвечал язычник. — Пред королем Египта и Сирии я — лишь червь, но все же мое имя на моей родине кое-что значит. Скажи, чужестранец, сколько воинов вышло с тобой вместе на эту войну?

— Клянусь честью, — сказал рыцарь Кеннет, — с помощью друзей и сородичей я едва снарядил десяток хорошо вооруженных всадников и пятьдесят воинов, включая стрелков из лука и слуг. Одни покинули несчастливое знамя, другие пали в боях, некоторые умерли от болезней, а мой верный оруженосец, ради которого я предпринял это паломничество, лежит больной.

— Христианин, — сказал Шееркоф, — здесь у меня в колчане пять стрел, и на каждой — перо из орлиного крыла. Стоит мне послать одну к шатрам моего племени, как тысяча воинов сейчас же сядет на коней, пошлю другую — встанет еще такое же войско, а пять стрел заставят пять тысяч всадников повиноваться мне. Отправлю туда лук — и пустыня сотрясется от десяти тысяч всадников. А ты со своими пятьюдесятью пришел сюда покорить эту страну, в которой я — один из самых ничтожных.

— Клянусь распятием, сарацин, — возразил западный воин, — прежде чем похваться, подумай о том, что одна железная рукавица может раздавить целый рой ос.

— Да, но сначала железная рукавица должна поймать их, — сказал сарацин с такой саркастической улыбкой, которая могла бы испортить их новую дружбу, если бы он не переменял тему разговора, и сразу добавил:

— А разве храбрость так высоко ценится среди знатных, что ты, без денег и без войска, можешь стать, как ты говорил, моим покровителем и защитником в стане твоих собратьев?

— Знай же, сарацин, — сказал христианин, — что имя рыцаря и его благородная кровь дают ему право занять место в рядах самых знатных властелинов и равняться с ними во всем, кроме королевской власти и владений. Если бы сам Ричард, король Англии, задумал оскорбить честь рыцаря, хоть бы и такого бедного, как я, он по рыцарским законам не мог бы отказаться от поединка.

— Хотел бы посмотреть на такое странное зрелище, — сказал эмир, — где какой-то кожаный пояс и пара шпор позволяют самому бедному стать рядом с самым могущественным.

— Не забудь прибавить к этому благородную кровь и неустрашимое сердце, — сказал христианин, — тогда бы ты не судил ложно о благородстве рыцарства.

— И вы так же смело можете обращаться с женщинами, принадлежащими вашим военачальникам и вождям? — спросил сарацин.

— Видит бог, — сказал рыцарь Спящего Леопарда, — самый ничтожный рыцарь в христианской стране волен посвятить свою руку и меч, славу своих подвигов и непоколебимую преданность сердца благородному служению прекраснейшей из принцесс, чело которой когда-либо было увенчано короной.

— Однако ты только что говорил, — сказал сарацин, — что любовь — это высшее сокровище сердца. И твоя любовь, наверно, посвящена знатной, благородной женщине?

— Чужестранец, — отвечал христианин, густо краснея, — мы не разглашаем опрометчиво, где мы храним наше драгоценное сокровище. Достаточно тебе знать, что моя любовь посвящена даме самой благородной, самой родовитой. Если ты хочешь услышать о любви и сломанных копьях, отважься, как ты намеревался, приблизиться к стану крестоносцев, и, если захочешь, ты найдешь дело и для своих рук, да и уши всего наслышатся.

Приподнявшись в стремених и потрясая в воздухе копьем, восточный воин воскликнул:

— Боюсь, что среди крестоносцев не найдется ни одного, кто бы померился со мной в метании копья.

— Не могу обещать тебе этого, — отвечал рыцарь. — Хотя, конечно, в стане найдется несколько испанцев, весьма искусных в ваших восточных состязаниях с метанием копья.

— Собаки и собачьи сыны! — воскликнул сарацин. — И на что потребовалось этим испанцам идти сюда покорять правоверных, когда в их собственной стране мусульмане — их владыки и хозяева? Уж с ними бы я не стал затевать никаких военных игр.

— Смотри, чтобы рыцари Леона или Астурии не услышали, как ты о них говоришь, — сказал рыцарь Леопарда. — Но, — добавил он, улыбнувшись при воспоминании об утренней схватке, — если бы вместо стрелы ты захотел выдержать удар секирой, нашлось бы достаточно западных воинов, которые могли бы удовлетворить твоё желание.

— Клянусь бородой моего отца, благородный рыцарь, — сказал сарацин, подавляя смех, — такая игра слишком груба, чтобы заниматься ею просто ради забавы, но в бою я никогда не старался бы избежать с ними встречи; голова же моя, — тут он приложил руку ко лбу, — никогда не позволит мне искать таких встреч ради забавы.

— Хотел бы я, чтобы ты посмотрел на секиру короля Ричарда, — отвечал западный воин, — та, что привешена к луке моего седла, перышко в сравнении с ней.

— Мы много слышали об этом властелине на острове, — сказал сарацин. — Ты тоже принадлежишь к числу его подданных?

— Я один из его соратников в этом походе, — отвечал рыцарь, — и служу ему верой и правдой. Но я не родился его подданным, хоть и принадлежу к уроженцам того острова, которым он правит.

— Как это надо понимать? — спросил восточный воин. — Разве у вас два короля на одном маленьком острове?

— Это именно так, как ты говоришь, — сказал шотландец (сэр Кеннет был родом из Шотландии). — Хоть население обеих окраин этого острова находится в постоянной войне, страна, как ты видишь, может снарядить войско, способное совершить далекий поход, чтобы освободить города Сиона, томящиеся под нечестивым игом твоего властелина.

— Клянусь бородой Саладина, назарянин, ведь это безумие и ребячество! Я бы мог посмеяться над простодушием вашего великого султана: он приходит завоевывать пустыни и скалы, сражаясь с государями в десять раз сильнее его, оставляя часть своего узкого островка, где он царствовал, под скипетром другого

властелина. Право же, сэра Кеннет, и ты и все твои добрые товарищи — вы должны были бы подчиниться власти короля Ричарда, прежде чем оставить свою родную землю, разделенную на два лагеря, и отправиться в этот поход.

Горячим и стремительным был ответ Кеннета:

— Нет, клянусь небесным светилом! Если бы английский король не начал крестовый поход до того, как стал властелином Шотландии, полумесяц мог бы вечно сиять над стенами Сиона — ни я, да и никто из верных сынов Шотландии и пальцем не шевельнул бы.

Зайдя так далеко в своих рассуждениях и как бы спохватившись, он прошептал: «*Mea culpa! Mea culpa!* ⁵ Разве мне, воину креста, подобает вспоминать о войнах между христианскими народами? »

От мусульманина не ускользнул этот внезапный порыв, сдержанный чувством долга, и хотя он не совсем понимал, что все это означало, все же он услышал достаточно, чтобы убедиться, что у христиан, как и у мусульман, есть свои личные обиды и национальные распри, не всегда примиримые. Но сарацины принадлежали к племени, у которого вежливость стояла на первом месте, как им указывала их религия, и высоко ценили правила учтивости, и он пропустил мимо ушей слова, выражающие противоречивые чувства сэра Кеннета, в сознании которого крестоносец и шотландец спорили друг с другом.

По мере их продвижения вперед ландшафт заметно менялся. Теперь они повернули к востоку и приблизились к крутым голым склонам гор, окружающих пустынную равнину. Эти горы вносят некоторое разнообразие в пейзажи, не скрашивая, однако, облик этой унылой пустыни. С обеих сторон дороги появились скалистые остроконечные вершины, а далее — глубокие ущелья и высокие кручи с узкими, труднопроходимыми тропинками. Все это создавало для путников иные препятствия по сравнению с теми, какие они преодолевали до сих пор. Мрачные пещеры и бездны среди скал — гроты, так часто упоминаемые в библии, грозно зияли по обе стороны по мере того, как путники продвигались вперед. Шотландский рыцарь слушал рассказы эмира о том, как

5

Моя вина! Моя вина! (лат.)

зачастую все эти ущелья были убежищем хищных зверей или людей еще более свирепых. Доведенные до отчаяния постоянными войнами и притеснениями со стороны воинов как креста, так и полумесяца, они становились разбойниками и не щадили никого, без различия звания, религии, пола и возраста своих жертв.

Шотландский рыцарь, уверенный в своей отваге и силе, без особого любопытства прислушивался к рассказам о нападениях диких зверей и разбойников. Однако его обуял какой-то непонятный страх при мысли, что он теперь находится среди той ужасной пустыни сорокадневного поста, где злой дух искушал сына человеческого. Он рассеянно слушал, постепенно переставая обращать внимание на речи воина-язычника, ехавшего рядом с ним: в другом месте веселая болтовня его спутника, пожалуй, и занимала бы его. Но Кеннет чувствовал, что какой-нибудь босоногий монах больше подходил бы ему в спутники, чем этот веселый язычник — в особенности в этих пустынных, иссохших местах, где витали злые духи, изгнанные из тел смертных, где они раньше обитали.

Эти мысли тяготили его тем сильнее, чем веселее становился сарацин по мере их продвижения вперед: чем дальше он двигался среди этих мрачных, уединенных скал, тем непринужденнее становилась его болтовня. Она даже перешла в песню, когда он увидел, что его слова остаются без ответа.

Кеннет достаточно знал восточные языки, чтобы убедиться в том, что он пел любовные песни, полные пламенного восхваления красоты, столь щедро расточаемого восточными поэтами; это никак не гармонировало с его серьезными и благочестивыми мыслями, сосредоточенными на созерцании Пустыни великого искушения. Вопреки заповедям своей веры, сарацин начал также петь песни, восхвалявшие вино, этот влажный рубин персидских поэтов, и веселость его стала в конце концов настолько противной чувствам, одолевшим рыцаря-христианина, что если бы не клятва в дружбе, которой они сегодня обменялись, сэр Кеннет, несомненно, заставил бы своего спутника петь совсем иные песни. Крестоносцу казалось, что его сопровождает веселый, беспутный демон, старающийся его обольстить, угрожая его вечному спасению, вселяя в него вольные мысли о земных благах и оскверняя его набожность, — ведь верующая душа христианина и обет

пилигрима призывали его к самым серьезным и покаянным помыслам. Он пришел в недоумение и не знал, как ему поступить. С запальчивостью и негодованием он, наконец нарушив молчание, прервал песню знаменитого Рудаки, в которой тот воспевает родинку на груди своей возлюбленной, предпочитая ее всем сокровищам Бухары и Самарканда.

— Сарацин, — сурово воскликнул крестоносец, — ты ослеп и погряз в заблуждениях своей ложной веры, но ты должен понять, что есть на земле места более священные, чем другие; а есть и такие, где дьявол получает еще больше власти над грешными смертными. Я тебе не скажу, какие ужасные причины заставляют считать это место, эти скалы и пещеры с их мрачными сводами, как бы ведущие в преисподнюю, излюбленным обиталищем сатаны и падших ангелов. Скажу тебе только, что мудрые и святые люди, которым хорошо известны эти проклятые места, давно уже предупреждали меня, чтобы я избегал их. Поэтому, сарацин, воздержись от своего неразумного легкомыслия, так не вовремя проявленного, и обрати свои мысли в другую сторону, помышляя об этих местах, хотя, увы, твои молитвенные воздыхания обращены лишь в сторону греха и богохульства.

Сарацин выслушал все это с некоторым удивлением и затем ответил со свойственным ему добродушием и непринужденностью, несколько умеренными требованиями вежливости:

— Добрый рыцарь Кеннет! Мне кажется, ты поступаешь несправедливо со своим товарищем, или, быть может, правила учтивости толкуются иначе у западных племен. Когда я видел, как ты поглощал свинину и пил вино, я не произнес никаких обидных слов и позволил тебе наслаждаться твоим пиршеством: ведь вы, христиане, относите это к вашей христианской свободе; я лишь в глубине души жалел о столь недостойном препровождении времени. Почему же ты протестуешь, когда я, как могу, стараюсь скрасить этот мрачный путь веселыми песнями? Как сказал поэт: «Песня — это небесная роса, павшая на лоно пустыни; она освежает путь странника!»

— Друг мой сарацин, — сказал христианин, — я не осуждаю твою склонность к песне и веселью, хотя мы часто и уделяем им слишком много места в наших мыслях и забываем о вещах более достойных. Молитвы и святые псалмы, а не любовные или

заздравные песни подобает петь странникам, путь которых лежит через Долину Смерти, населенную демонами и злыми духами. Ведь молитвы святых заставили их покинуть людские селения, чтобы скитаться в проклятых богом местах.

— Не говори так о духах, христианин, — отвечал сарацин. — Знай, что ты говоришь о том, кто принадлежит к племени, происходящему от этого бессмертного рода, а ваша секта боится и проклинает его.

— Я так и думал, — отвечал крестоносец, — что твоя слепая раса происходит от этих нечистых демонов: ведь без их помощи вам не удалось бы удержать в своих руках святую землю Палестины против такого количества доблестной божьей рати. Мои слова относятся не только лично к тебе, сарацин, я говорю вообще о твоём племени и религии. И странным мне кажется не то, что ты произошёл от нечистых духов, но что ты ещё и кичишься этим.

— Как же храбрейшим не хвалиться происхождением от того, кто храбрее всех? — сказал сарацин. — От кого же самому гордому племени вести свою родословную, как не от духа тьмы, который скорее пал бы в борьбе, чем преклонил колена добровольно. Эблиса можно ненавидеть, чужестранец, но его нужно бояться, и Эблису подобны его потомки из Курдистана.

Сказки о магии и колдовстве в те времена заменяли науку, и Кеннет доверчиво и без особого удивления слушал признание своего попутчика о его дьявольском происхождении. Однако он испытывал какую-то тайную дрожь, находясь в этих мрачных местах в обществе того, кто открыто признавался в своём ужасном родстве и гордился им. От рождения не знавший чувства страха, он все же перекрестился. Сарацин же Кеннет настойчиво попросил рассказать о своей родословной, которой он так похвалялся, и тот с готовностью согласился.

— Да будет тебе известно, смелый чужестранец, — сказал он, — что когда жестокий Зоххак, один из потомков Джамшида, овладел тронem Персии, он заключил союз с силами тьмы в тайных подземельях Истакара, которые были высечены духами в первобытных скалах ещё задолго до появления Адама. Здесь жертвенной человеческой кровью он ежедневно поил двух кровожадных змей, и, по свидетельству многих поэтов, они стали

как бы частью его собственного тела. Чтобы поддержать жизнь змей, он приказал каждый день приносить им в жертву людей. Наконец терпение его подданных иссякло, и они, взявшись за оружие, подняли восстание, подобно храброму Кузнецу и непобедимому Феридуну. Тиран был ими свергнут с трона и навсегда заключен в мрачные пещеры горы Демавенд. Однако перед тем, как произошло это освобождение, и в то время, как власть кровожадного тирана дошла до предела, шайка его рабов, которых он послал добыть жертвы для своих ежедневных жертвоприношений, привела к сводам дворца Истакара семь сестер такой красоты, что они походили на семь гурий. То были дочери одного мудреца; у него не было никаких сокровищ, кроме этих красавиц и своей собственной мудрости. Но последней было недостаточно, чтобы предвидеть это несчастье, а первые были не в состоянии предотвратить его. Старшей из его дочерей не минуло еще двадцати лет, младшей — едва тринадцать. Они были так похожи друг на друга, что их можно было различить лишь по росту: когда они стояли рядом, по старшинству, одна немного выше другой, то это походило на лестницу, ведущую к воротам рая. Стоя перед мрачными сводами, эти семь сестер, одетые лишь в белые шелковые хитоны, были так прекрасны, что чары их тронули сердца бессмертных. Раздался гром, земля пошатнулась, стена раздвинулась, и появился юноша в одежде охотника, с луком и стрелами, за ним следовали шесть его братьев. Все они были рослые, красивые, хоть и смуглые, но глаза их светились неподвижным, холодным блеском, подобно глазам мертвецов: в них не было света, согревающего взгляд живых людей. «Зейнаб, — сказал их предводитель, взяв старшую за руку; его тихий голос звучал нежно и печально. — Я — Котроб, король подземного царства и властелин Джиннистана. Мы принадлежим к тем, кто создан из чистого, первозданного огня и кто с презрением отказался, даже вопреки воле всемогущего, склониться перед глыбой земли лишь потому, что ей было дано имя „Человек“. Ты, может быть, слышала о нас как о жестоких и неумолимых притеснителях? Это неверно. По природе мы храбры и великодушны, мы становимся мстительными только тогда, когда нас оскорбляют, и жестокими — когда на нас нападают. Мы храним верность тому, кто доверяет нам. Мы слышали мольбы

твоего отца, мудреца Митраспа, который оказывает почести не только доброму началу, но и злему. Ты и сестры твои — накануне гибели. Пусть каждая из вас в залог верности даст нам по одному волосу из своих светлых кос, и мы перенесем вас за много миль отсюда в укромное место, и там вы можете уже не страшиться Зохлака и его приспешников». «Боязнь скорой смерти, — сказал поэт, — подобна жезлу пророка Гаруна; обратясь в змею, этот жезл на глазах у фараона пожрал все другие жезлы, превратившиеся в змей». Дочери персидского мудреца, менее других подверженные боязни, не испугались, услышав эти слова духа. Они отдали ту дань, что у них просил Котроб, и в то же мгновение были перенесены в волшебный замок в горах Тугрута в Курдистане, и никто из смертных их больше не видел. Через некоторое время семеро юношей, отличившихся в войне и на охоте, появились в окрестностях замка демонов. Они были более смуглыми, более рослыми, более смелыми и более воинственными, чем жители селений в долинах Курдистана. Они взяли себе жен и стали родоначальниками семи курдистанских племен, доблесть которых известна всему миру.

С удивлением слушал рыцарь-христианин эту дикую легенду, которая еще доныне сохраняется в пределах Курдистана, затем, подумав немного, он ответил:

— Верно ты говоришь, мой рыцарь: твоя родословная может внушать ужас и ненависть, но ее нельзя презирать. Я больше не удивляюсь твоей упорной приверженности к ложной вере, унаследованной тобой от предков, этих жестоких охотников, как ты их описывал, которым свойственно любить ложь больше правды. Я больше не удивляюсь и тому, что вас охватывает восторг и вы поете песни при приближении к местам, где нашли себе прибежище злые духи. Это должно тебя волновать и вызывать чувство радости, подобное тому, какое многие испытывают, приближаясь к стране своих земных предков.

— Клянусь бородой моего отца, ты говоришь правду, — сказал сарацин, скорее забавляясь, чем обижаясь, услышав такие откровенные слова христианина. — Хотя пророк (да будет благословенно его имя!) и посеял в нас семена лучшей веры, чем та, какой учили нас предки в населенных духами мрачных убежищах Тугрута, мы не осуждаем, подобно другим

мусульманам, тех могучих первобытных духов, от которых ведем наш род. Мы верим и надеемся, что эти духи осуждены не окончательно, но лишь проходят свое испытание и могут еще быть впоследствии наказаны или вознаграждены. Предоставим муллам и имамам судить об этом. Нам довольно того, что почитание этих духов не отвергнуто учением корана, и многие из нас еще воспевают старую веру наших отцов в таких стихах.

При этих словах он запел очень старое по складу и стиху песнопение, по преданию сочиненное почитателями злого духа Аримана:

АРИМАН

Дух мрака, темный Ариман,
Доныне для восточных стран
Ты — злое божество.
Склоняясь в капище твоём,
Где в мире царство мы найдем
Сильнее твоего?
Дух блага повелит — и вмиг
Для путников пустынь родник
Забрызжет из земли.
А ты у неприступных скал
Завихришь смерч, запенишь вал -
И тонут корабли.
Бог повелел — и травы нам
Дают целительный бальзам
Для немощей людских,
Но разве одолеть ему
Горячку, язву и чуму -
Отраву стрел твоих?
Ты властно в мысли к нам проник,
И, что бы ни твердил язык
Пред алтарем чужим,
В толпе покорных прихожан
Тебя, великий Ариман,
Мы тайно в сердце чтим.
Ты преднамеренно ль жесток?
Ты можешь ли, как мнит Восток,

Знать, мыслить, ощущать?
Плащом из туч окутать твердь,
Раскинув крылья, сеять смерть,
Клыками жертву рвать?
Иль просто ты — природы часть,
Стихийная, немая власть,
Которой нет преград?
Иль, в сердце затаясь людском,
Ты источаешь над добром
Победоносный яд?
Так или нет, но ты один
И всех событий властелин
И ощущений всех.
Все, что живет в людских сердцах:
Страсть, гнев, любовь, гордыню, страх -
Ты превращаешь в грех.
Как только солнце поднялось
Смягчить удел юдоли слез,
Ты неизменно тут:
Ты мигом скромный хлебный нож
На острый меч перекуешь -
Орудье грозных смут.
От первой жизненной черты
До судорог предсмертных ты -
Хозяин бытия.
И можно ль знать нам, что за той,
Дух тьмы, последнею чертой
Исчезнет власть твоя?

Эта песня, может быть, и была плодом фантазии какого-нибудь полупросвещенного философа, который в этом сказочном божестве Аримане видел лишь преобладание духовного и телесного злого начала, на слух Кеннета это произвело иное впечатление: спетая тем, кто только что похвалялся своим происхождением от демонов, она звучала как похвала самому сатане. Слыша такое богохульство в пустыне, где был побежден возгордившийся сатана, он стал раздумывать, как ему поступить: достаточно ли будет лишь расстаться с этим сарацином, чтобы

выразить свое возмущение, или, следуя обету крестоносца, он должен немедленно вызвать этого басурмана на поединок, оставив его труп в пустыне на съедение диким зверям? Но внезапно его внимание было отвлечено неожиданным происшествием.

Хотя наступали сумерки, рыцарь разглядел, что в этой пустыне они больше не одни: какое-то высокое и изможденное существо наблюдало за ними, ловко перескакивая через кусты и скалы. Вид этого волосатого дикаря напомнил ему фавнов и сивльванов, изображения которых он видел в древних храмах Рима. И прямодушный шотландец, ни на минуту не сомневавшийся в том, что боги этих древних язычников действительно являются демонами, сразу поверил, что богохульный гимн сарацина вызвал этого духа ада.

«Но что мне до того? — подумал про себя Кеннет. — Чтоб они сгнули, эти бесы и все их приспешники!»

Однако он не счел нужным бросить вызов двум противникам, что, несомненно, сделал бы, имея дело лишь с одним. Его рука все же коснулась булавы, и, может быть, неосторожный сарацин поплатился бы за свою персидскую легенду — он без всякой видимой причины тут же разнес бы сарацину череп. Но судьба уберегла шотландского рыцаря от поступка, который мог опорочить его оружие. Видение, за которым он некоторое время наблюдал, сначала следовало за ними, прячась за скалы и кусты, проворно преодолевая все препятствия и ловко используя любую возможность, чтобы укрыться от их взоров. Но в ту минуту, когда сарацин прервал свое пение, призрак этот, оказавшийся высоким человеком, одетым в козью шкуру, выскочил на середину тропы и вцепился обеими руками в узду коня сарацина, заставив его круто осадить назад. Благородный конь, не выдержав внезапного нападения незнакомца, схватившего его за удила и мундштук, состоявший, по восточному обычаю, из толстого железного кольца, взвился на дыбы и опрокинулся назад, упав на своего хозяина, которому все же удалось избежать гибели, оттолкнувшись от него при падении.

Затем нападающий, бросив коня, быстро обхватил обеими руками шею всадника, навалился на отбивающегося сарацина и, несмотря на его юность и ловкость, прижал к земле. Пленник сердито, но в то же время полусмеясь закричал:

— Хамако, дурак ты этакий, отпусти меня! Как ты смеешь! Отпусти, или я заколю тебя кинжалом!

— Кинжалом? Собака ты неверная, — сказал человек в козьей шкуре. — Удержи его в своей руке, коли можешь! — И в одно мгновение он выхватил кинжал из рук сарацина и взмахнул им над головой.

— На помощь, назарянин! — закричал Шееркоф, не на шутку испугавшись. — Ведь Хамако заколет меня!

— И стоило бы заколоть! — отвечал житель пустыни. — Разве ты не заслуживаешь смерти за твои богохульные гимны, которые ты тут распеваешь, восхваляя не только своего лжепророка — предвестника дьявола, но и самого сатану!

Рыцарь-христианин все еще в изумлении смотрел на эту странную сцену — столь неожиданным было это внезапное нападение. Наконец он почувствовал, что долг повелевает ему вмешаться и прийти на помощь своему побежденному спутнику; и он обратился к победителю в козьей шкуре со следующими словами.

— Кто бы ты ни был, — сказал он, — приверженец ли добрых или злых духов, знай, что я поклялся быть верным товарищем сарацину, которого ты держишь под собой. Поэтому, прошу тебя, дай ему встать, иначе я вступлюсь за него.

— Хорош бы ты был, крестоносец, — ответил Хамако, — сражаясь с человеком своей святой веры из-за какой-то некрещеной собаки. Разве ты пришел в эту пустыню сражаться против креста и защищать полумесяц? Хорош ты, воин господень, слушающий тех, кто воспевает сатану!

Говоря это, он все же встал, позволив сарацину подняться, и возвратил ему кинжал.

— Ты видишь, к каким опасностям тебя привела твоя гордыня, — продолжал человек в козьей шкуре, обращаясь к Шееркофу, — и с какими ничтожными средствами можно одолеть твою хваленую ловкость и силу, если на то будет воля господня! Берегись же, Ильдерим, и знай, что если бы в звезде, под которой ты родился, не было отблеска, предвещающего тебе что-то хорошее и угодное небу, я не отпустил бы тебя, пока не перерезал бы глотку, из которой только что извергались эти богохульства.

— Хамако, — спокойно сказал сарацин, не обращая внимания

ни на его грубые слова, ни на еще более яростное нападение, которому он подвергся. — Прошу тебя, добрый Хамако, будь осторожнее и не пытайся снова злоупотреблять своим нравом. Хоть я, мусульманин, и уважаю тех, у кого небо отняло разум, чтобы одарить их духом пророчества, я не потерплю, чтобы кто-либо схватил за узду моего коня или задел меня самого. Говори что хочешь и будь уверен — я не обижусь на тебя. Но образумься и пойми, что если ты еще раз попытаешься напасть на меня, я снесу твою косматую голову с твоих тощих плеч. Тебе же, друг мой Кеннет, я должен сказать, — добавил он, садясь на своего коня, — что в пустыне я предпочел бы получить от своего попутчика дружескую помощь, чем слушать его высокопарные речи. Довольно я их от тебя наслушался, и было бы лучше, если б ты мне помог в схватке с этим Хамако, который в своем бешенстве чуть не прикончил меня.

— Клянусь честью, — сказал рыцарь, — я действительно виноват в том, что немного запоздал со своей помощью. Но все произошло так внезапно и твой противник выглядел так странно. Сначала я подумал, что твоя дикая и нечестивая песня вызвала дьявола, который встал между нами. Я так был ошеломлен, что прошло две-три минуты, прежде чем я взялся за оружие.

— Вижу, что ты холодный и рассудительный друг, — сказал сарацин. — Будь Хамако более яростен, твой товарищ был бы убит у тебя на глазах к твоему вечному позору. А ты и пальцем не пошевелил, чтобы мне помочь, оставаясь на коне во всем вооружении.

— Даю тебе слово, сарацин, — сказал христианин, — и признаюсь откровенно, я принял это странное существо за дьявола, и, поскольку он должен был, как мне казалось, принадлежать к твоему племени, я не мог догадаться, какие там семейные тайны могли вы сообщать друг другу, катаясь на песке в дружеских объятиях.

— Твоя насмешка не ответ, брат Кеннет, — сказал сарацин. — Будь нападавший на меня самим князем тьмы, ты тем не менее обязан был вступить с ним в бой, выручая своего товарища. Знай также: что бы ни говорилось о Хамако дурного и злого, он больше сродни твоему племени, чем моему. По правде сказать, этот Хамако на самом деле и есть тот отшельник, которого ты намерен

был навестить.

— Этот? — воскликнул Кеннет, бросив взгляд на стоявшую перед ним атлетическую, но несколько изнуренную фигуру. — Это он? Да ты смеешься надо мной, сарацин! Это не может быть почтенный Теодорик!

— Спроси его самого, если не веришь мне, — отвечал Шееркоф. Но только он успел сказать это, как отшельник сам заговорил о себе.

— Я — Теодорик Энгаддийский, — сказал он, — отшельник этой пустыни. Я друг креста и бич неверных, еретиков и поклонников сатаны. Беги, беги от них! Пусть сгинут Магунд, Термагант и иже присные! — С этими словами он вытащил из-под своей лохматой одежды что-то похожее на цеп или окованную железом дубинку, которой он очень проворно стал размахивать над головой.

— Полюбуйся на своего святого, — сказал сарацин, впервые рассмеявшись и видя неподдельное удивление, с которым Кеннет смотрел на дикую жестикуляцию Теодорика и слушал его угрюмое бормотание. Помахав дубинкой и, видимо, совершенно не беспокоясь о том, что он может задеть за головы стоящих рядом, отшельник показал наконец свою собственную силу и крепость своего оружия, ударив по лежащему вблизи камню и разбив его на куски.

— Это сумасшедший! — сказал Кеннет.

— Не хуже других святых, — возразил мусульманин, понимая известное на Востоке поверье о том, что сумасшедшие действуют под влиянием мгновенного наития. — Знай, христианин, что когда один глаз выколот, другой делается более зорким, а когда одна рука отрезана, другая делается более сильной. Так и когда разум наш, обращенный к делам людским, помрачен, проясняется наш взор, обращенный к небу.

Тут голос сарацина был заглушен голосом отшельника, который дико стал выкрикивать нараспев:

— Я — Теодорик Энгаддийский, я — светоч в пустыне, я — бич неверных! И лев и леопард станут моими друзьями и будут укрываться в моей келье, козы не будут бояться их когтей. Я — светильник и факел! Господи помилуй!

Он закончил свои причитания и, сделав три прыжка, ринулся

вперед. Эти прыжки получили бы, пожалуй, хорошую оценку в школе гимнастики, но все это настолько не вязалось с его ролью отшельника, что шотландский рыцарь пришел в полное недоумение.

Казалось, сарацин понимал его лучше.

— Видишь, — сказал он, — Теодорик ждет, чтобы мы последовали за ним в его келью: ведь только там мы сможем найти ночлег. Ты — леопард, как видно по изображению на твоём щите, я — лев, как и говорит мое имя, а коза, судя по его наряду из козьей шкуры, — это он сам. Однако не надо терять его из виду: ведь он бежит как верблюд.

Эта задача оказалась нелегкой, хотя досточтимый проводник иногда и останавливался и махал рукой, как бы поощряя их следовать за ним. Хорошо знакомый со всеми лощинами и проходами и обладая необычайной подвижностью, свойственной людям с помраченным рассудком, он вел всадников по таким тропинкам и крутизнам, что даже легко вооруженный сарацин со своим испытанным арабским скакуном подвергался постоянному риску, а закованный в броню европеец и его обремененный тяжелыми доспехами конь каждое мгновение смотрели в лицо такой опасности, что рыцарь предпочел бы очутиться на поле битвы, чем продолжать это путешествие. После этой дикой скачки он с облегчением увидел святого человека, их проводника, стоящего перед входом в пещеру с большим факелом в руке — куском дерева, пропитанным горной смолой, который озарял все окружающее мерцающим светом, издавая сильный серный запах.

Не обращая внимания на удушливый дым, рыцарь слез с коня и вошел в пещеру, довольно скудно обставленную. Келья была разделена на две части. В передней части стояли каменный алтарь и распятие из тростника: она служила отшельнику часовней. После некоторого колебания, вызванного благоговением перед окружавшими его святынями, рыцарь-христианин привязал своего коня в противоположном углу пещеры и расседлал его, устроив ему ночлег: он следовал примеру сарацина, который дал ему понять, что таков был местный обычай. Отшельник тем временем занялся приведением в порядок внутренней половины для приема гостей, которые скоро к нему присоединились. В глубине первой половины узкий проход, прикрытый простой доской, вел в

спальню отшельника, обставленную немного лучше. Поверхность пола трудами хозяина была выровнена и посыпана белым песком; он его ежедневно поливал из небольшого родника, который бил из расщелины скалы в одном углу. В таком жарком климате это давало прохладу, ласкало слух и утоляло жажду. Циновки из сплетенных водорослей лежали по бокам. Стены, как и пол, также были обтесаны и увешаны травами и цветами. Две восковые свечи, зажженные отшельником, придавали привлекательный и уютный вид этому жилищу, напоенному благоуханиями и прохладой.

В одном углу лежали инструменты для работы, в другом была ниша с грубо высеченной из камня статуей богоматери. Стол и два стула говорили о ручной работе отшельника, ибо отличались своей формой от восточных образцов. На столе лежали не только тростник и овощи, но и куски вяленого мяса, которые Теодорик старательно разложил как бы для того, чтобы вызвать аппетит своих гостей. Подобные признаки внимания, хоть молчаливые и выраженные лишь жестами, в глазах Кеннета совсем не вязались с бурными и дикими выходками отшельника, свидетелем которых он только что был. Движения отшельника стали спокойными, а черты его лица, изможденные аскетическим образом жизни, можно было бы назвать величественными и благородными, если бы на них не было отпечатка религиозного смирения. Его поступь указывала на то, что он был рожден властвовать над людьми, но отказался от власти, чтобы стать служителем неба. Нужно признаться, что гигантский рост, длинные косматые волосы и борода и огонь свирепых впалых глаз придавали ему облик скорее воина, чем отшельника.

Даже сарацин, казалось, стал относиться к отшельнику с некоторым уважением; пока тот был занят приготовлением трапезы, он прошептал Кеннету:

— Хамако теперь в лучшем настроении, однако он не будет с нами разговаривать, пока мы не покончим с едой: таков его обет.

Теодорик молча указал шотландцу его место на низком стуле, Шееркоф по обычаю своего племени расположился на циновке. Отшельник поднял обе руки, как бы благословляя еду, которую разложил перед гостями, и они приступили к трапезе, сохраняя такое же глубокое молчание, как и их хозяин. Для сарацина эта суровая молчаливость была привычной, и христианин следовал его

примеру, раздумывая о странности своего положения и о контрасте между дикими, свирепыми выходками и криками Теодорика при их первой встрече и его смиренным, чинным, молчаливым и благопристойным поведением и усердием, какое он выказал в роли гостеприимного хозяина.

Когда еда была закончена, отшельник, сам не притронувшийся к пище, убрал со стола остатки и поставил перед сарацином кувшин с шербетом, а шотландцу подал флягу с вином.

— Пейте, дети мои, — сказал он; то были первые слова, что он произнес, — вкушайте дары божьи, вспоминая его.

Сказав это, он удалился во внешнюю половину кельи, вероятно для молитвы, оставив гостей во внутренней половине. Тем временем Кеннет всячески пытался выведать от Шееркофа, что тот знал об их хозяине; побуждало его к этому не только простое любопытство. Нелегко было сочетать буйство и воинственный пыл отшельника при первом появлении с его кротким и скромным поведением в дальнейшем. Но еще труднее было примирить это с тем исключительным уважением, которым, насколько было известно Кеннету, отшельник пользовался в глазах самых просвещенных богословов христианского мира. Теодорик, энгаддийский отшельник, вел переписку со многими духовными лицами и даже соборами епископов. В своих письмах, полных пылкого красноречия, он описывал те несчастья и невзгоды, какие претерпевали латинские христиане на святой земле, гонимые неверными, и письма эти по своей выразительности не уступали проповедям Петра Пустынника на Клермонском соборе, когда он призывал к Первому крестовому походу. И когда христианский рыцарь увидел, как этот столь высокочтимый старец бесновался, словно безумный факир, он невольно призадумался — можно ли посвятить его в важные дела, доверенные ему вождями крестовых походов.

Одна из главных целей паломничества Кеннета, предпринятого таким необычным путем, заключалась именно в том, чтобы передать ему это важное послание. Однако то, что он увидел сегодня ночью, заставило его призадуматься, прежде чем приступить к выполнению своей миссии. От эмира он не мог получить много сведений; все же главнейшие сводились к следующему. По слухам, отшельник был когда-то храбрым и

доблестным воином, мудрым в советах и счастливым в битвах: последнему легко можно было поверить, видя ту силу и ловкость, которые он часто проявлял. Он прибыл в Иерусалим не как странник: он решил остаться в святой земле до конца дней своих. Вскоре он окончательно поселился в этой безлюдной пустыне, в которой они теперь нашли его. Латиняне уважали отшельника за его аскетическую жизнь и преданность вере, а турки и арабы — за случавшиеся с ним припадки сумасшествия, которые они принимали за религиозный экстаз. От них же он получил кличку Хамако, что означает на турецком языке — «вдохновенный безумец». Шееркоф, по-видимому, сам затруднялся, к какой категории людей следует отнести их хозяина. Он говорил, что отшельник — человек мудрый, что он часами мог произносить проповеди о добродетели и мудрости и никогда не заговаривался. Временами, однако, он становился свирепым и буйным; все же он никогда еще не видел его в таком бешенстве, в каком он предстал передними в этот день; по его словам, он впадал в такое бешенство, как только оскорбляли его религию. Сарацин поведал о том, как однажды странствующие арабы подвергли оскорблению его веру и разрушили его алтарь; он напал на этих арабов и убил их своей короткой дубинкой, заменявшей ему всякое другое оружие. Это событие наделало много шума, а страх перед окованной дубинкой отшельника и уважение к его особе заставили кочевников относиться с почтением к его жилищу и часовне. Слава о нем разнеслась так далеко, что Саладин издал даже особый приказ о том, чтобы его оберегали и защищали. Он сам и многие знатные мусульмане не раз посещали его келью, отчасти из любопытства, отчасти ожидая от этого ученого христианина Хамако откровений и предсказаний будущего.

— На большой высоте, — продолжал сарацин, — он построил башню вроде тех, что строят звездочеты, чтобы наблюдать за небесными светилами и планетами, ибо как христиане, так и мусульмане верят в то, что по их движению можно предсказать все события на земле и их предупредить.

Таковы были сведения, какими располагал эмир Шееркоф. У Кеннета они вызвали некоторое сомнение: он не мог решить, происходило ли подобное умопомешательство отшельника от чрезмерного религиозного рвения или это было просто

притворством, при помощи которого он хотел обеспечить себе неприкосновенность. Видно было однако, что неверные проявляли к нему очень большую терпимость, принимая во внимание фанатизм последователей Мухаммеда, среди которых жил он, заклятый враг их веры. Ему казалось, что между отшельником и сарацином существовало более близкое знакомство, чем это можно было заключить из слов последнего. От него не ускользнуло и то, что отшельник называл сарацина не тем именем, которое тот сам ему назвал. Все эти соображения подсказывали ему если не подозрительность, то, во всяком случае, осторожность. Он решил зорко наблюдать за своим хозяином и не спешить с исполнением своего важного поручения.

— Берегись, сарацин, — сказал он, — мне сдается, что путает он также и имена, не говоря уже о других вещах. Ведь тебя зовут Шееркоф, а он только что называл тебя другим именем.

— Дома, в отцовском шатре, — отвечал курд, — меня звали Ильдерим, и многие знают меня под этим именем. В походах и среди воинов мне дали прозвище Горный Лев: меч мой завоевал это имя. Но тише! Вот идет Хамако сказать нам, чтобы мы легли отдыхать. Я знаю его обычай: никто не имеет права смотреть, как он молится.

Отшельник действительно вошел в келью, скрестил руки на груди и торжественно сказал:

— Да будет благословенно имя того, кто ниспослал тихую ночь после трудового дня и покойный сон, чтобы дать отдых усталому телу и успокоить встревоженную душу!

Оба воина ответили: «Аминь» и, встав из-за стола, приготовились лечь в постели, на которые им хозяин указал мановением руки. Поклонясь каждому из них, он снова вышел из кельи.

Рыцарь Леопарда начал снимать с себя тяжелые доспехи. Сарацин любезно помог ему снять щит и отстегнуть застежки, пока он не остался в замшевой одежде, которую рыцари носили под своими панцирями. Сарацин, прежде восхищавшийся силой своего противника, закованного в броню, был не меньше поражен стройностью его мускулистой и хорошо сложенной фигуры. В свою очередь, рыцарь, в ответ на любезность, помог сарацину снять верхнюю одежду, чтобы ему было удобнее спать. Он также

удивлялся, как такое тонкое и гибкое тело могло гармонировать с той силой и ловкостью, какие он выказал в их схватке.

Каждый из них, прежде чем лечь, помолился. Мусульманин повернулся лицом к кебле, то есть к тому месту, куда каждый верующий в пророка должен возносить молитвы, и стал шептать слова языческих молитв. Христианин же, удалившись от нечестивого соседства неверного, водрузил перед собой свой меч с крестообразной рукоятью и, став перед ним на колени как перед символом спасения, начал перебирать четки с рвением, усиленным воспоминаниями о событиях минувшего дня и об опасностях, которых ему удалось избежать. Оба воина, утомленные трудной и длинной дорогой, каждый на своем соломенном ложе, вскоре уснули крепким сном.

Глава IV

Шотландец Кеннет не знал, сколько времени он был погружен в глубокий сон, когда он очнулся с ощущением, будто кто-то давит ему на грудь. Сначала ему казалось, что во сне он сражается с каким-то могучим противником, потом он окончательно проснулся. Он хотел было спросить, кто это, как вдруг, открыв глаза, увидел отшельника все с тем же свирепым выражением лица, как уже было сказано выше. Правую руку он положил ему на грудь, а левой держал небольшую серебряную лампаду.

— Тише! — сказал отшельник, видя удивление рыцаря. — Мне надо тебе сказать нечто такое, чего не должен слышать этот неверный.

Эти слова он произнес по-французски, а не на лингва-франка — той смеси западного и восточного наречий, на котором они до этого изъяснялись.

— Встань, — продолжал он, — накинь плащ и молча следуй за мной. — Кеннет встал и взял свой меч. — Он не понадобится тебе, — шепотом сказал отшельник. — Мы идем туда, где важнее всего духовное оружие, а телесное столь же излишне, как тростник или прогнившая тыква.

Рыцарь положил меч на прежнее место у постели и, вооружившись лишь кинжалом, с которым он в этой опасной

стране никогда не расставался, приготовился следовать за своим таинственным хозяином.

Отшельник медленно двинулся вперед. За ним шел рыцарь, недоумевая, не была ли эта фигура, показывающая ему дорогу, призраком, привидевшимся ему во сне. Как тени, перешли они в наружную часть хижины отшельника, не потревожив спящего эмира. Перед распятием и алтарем еще горела лампада и лежал раскрытый молитвенник, а на полу валялась веревочная плеть, переплетенная проволокой. На ней виднелись пятна крови: это свидетельствовало о суровой епитимье, которой отшельник подвергал себя. Теодорик встал на колени и велел рыцарю опуститься около себя на острые камни: по-видимому, они должны были сделать молитвенное бдение менее удобным. Он прочел несколько католических молитв и пропел тихим, но проникновенным голосом три покаянных псалма. Последние сопровождалась вздохами, слезами и судорожными стонами — видимо, он глубоко переживал читаемое. Шотландский рыцарь с глубоким сочувствием наблюдал за этими подвигами благочестия. Его мнение о старце начало понемногу меняться: он спрашивал себя, не следует ли ему, видя всю суровость епитимьи и тот пыл, с которым отшельник молился, счесть его за святого. Когда они поднялись, он почтительно склонил голову, как ученик перед чтимым наставником. В течение нескольких минут отшельник молча стоял около него, погруженный в размышления.

— Посмотри туда, сын мой, — сказал он, указывая на дальний угол кельи. — Там ты найдешь покрывало; принеси его сюда.

Рыцарь повиновался. В небольшой нише, высеченной в стене и прикрытой дверью, сплетенной из прутьев, он нашел требуемое покрывало. Поднеся его к свету, он заметил, что оно изорвано и покрыто темными пятнами. Отшельник с еле скрываемым волнением посмотрел на него, хотел что-то сказать, но судорожный стон сдавил ему горло. Наконец он произнес:

— Ты увидишь сейчас величайшее сокровище, каким когда-либо обладал мир. Горе мне! Глаза мои недостойны смотреть на него. Увы! Я, грубый и презренный, только веха, которая указывает усталому путнику мирный приют, но я сам не смею туда войти. Напрасно я удалился в самую глубину скал и в самое сердце иссушенной пустыни. Мой враг нашел меня: тот, от кого я отрекся,

преследовал меня до моей твердыни.

Он опять замолк на минуту, но потом, обернувшись к шотландскому рыцарю, спросил более твердым голосом:

— Ты привез мне привет от Ричарда, короля Англии?

— Я послан Советом христианских монархов, — сказал рыцарь. — Король Англии заболел, и я не был удостоен чести передать личное послание его величества.

— Твой пароль? — спросил отшельник.

Кеннет колебался: прежние подозрения и признаки сумасшествия, недавно выказанные отшельником, вдруг пришли ему на ум. Но как подозревать в чем-то человека, у которого был такой святой облик?

— Мой пароль, — произнес он наконец, — «Короли просили милостыни у нищего».

— Верно, — сказал отшельник, помолчав. — Я хорошо тебя знаю: но часовой на посту (а мой пост очень важен) должен окликнуть друга, так же как и врага.

Затем он пошел вперед со светильником, указывая дорогу в келью, которую они только что оставили. Сарацин все еще сладко спал. Отшельник остановился у постели и посмотрел на него.

— Он спит во тьме, — сказал он, — и не надо его будить.

И действительно, поза эмира говорила о полнейшем покое. Он полуобернулся к стене, и широкий и длинный рукав прикрывал большую часть лица. Виден был лишь широкий лоб. Черты его лица, столь подвижные, когда он бодрствовал, теперь как бы застыли. Лицо казалось высеченным из темного мрамора, и длинные шелковистые ресницы закрывали его пронзительные, ястребиные глаза. Откиннутая рука и глубокое, мерное дыхание говорили о крепком сне. Все это представляло собой весьма выразительную картину: спящий эмир — и худая высокая фигура отшельника в мохнатой козьей шкуре, держащего в руке светильник, с мрачным, аскетическим лицом, и рыцарь в замшевом камзоле с выражением тревожного любопытства на мужественном лице.

— Он крепко спит, — сказал отшельник, повторив слова так же глухо, как и раньше; лишь интонация голоса была иная, как бы придающая словам особое, скрытое значение. — Он спит во мраке, но и для него наступят светлые дни. Ах, Ильдерим, мысли твои,

когда ты бодрствуешь, так же суетны и безумны, как и сновидения, вихрем кружащиеся в твоём спящем мозгу. Но раздастся звук трубы, и сны исчезнут.

Сказав это и сделав рыцарю знак следовать за собой, отшельник подошел к алтарю и, обойдя его, нажал на пружину. Бесшумно растворилась железная дверца, вделанная в стенку пещеры; ее едва можно было разглядеть. Прежде чем настезь открыть дверцу, он накапал масла из светильника на петли. Когда дверца открылась, можно было разглядеть узкую лесенку, высеченную в скале.

— Возьми покрывало, — с грустью сказал отшельник, — и завяжи мне глаза. Я не должен смотреть на сокровище, которое ты сейчас увидишь, чтобы не поддаться греховной гордыне.

Рыцарь молча закрыл голову отшельника покрывалом, и последний начал подниматься по лестнице. Он, по-видимому, уже так хорошо знал этот путь, что ему не нужен был свет. Светильник он передал шотландцу, который следовал за ним по узкой лестнице вверх. Наконец они остановились на небольшой площадке несимметричной формы. В одном ее углу лесенка заканчивалась, а в другом виднелись дальнейшие ступеньки. В третьем углу была готическая дверь с очень грубыми украшениями в виде обычных колонн и резьбы. Эта дверь была защищена калиткой, окованной толстым железом и обитой большими гвоздями. К ней отшельник и направился; казалось, чем ближе подходил он к двери, тем нерешительнее становилась его поступь.

— Сними обувь, — сказал он своему спутнику. — Место, на котором ты стоишь, священно. Изгони из самых сокровенных тайников своего сердца все нечестивые и плотские помыслы: предаваться им в этом месте — смертный грех!

Рыцарь снял башмаки и отложил их в сторону, как ему было сказано. Отшельник тем временем стоял, погруженный в молитву. Затем, пройдя еще несколько шагов, он приказал рыцарю постучать в дверь три раза. Дверь открылась сама собой: во всяком случае, Кеннет никого не видел. Его ослепил луч яркого света, и он почувствовал сильный, почти дурманящий аромат дивных благовоний. Резкая перемена от мрака к свету заставила его сначала отступить на два-три шага.

Вступив в помещение, сплошь залитое ярким светом, Кеннет

заметил, что он исходил от множества серебряных лампад, наполненных чистым маслом и издающих острый аромат. Они висели на серебряных же цепочках, прикрепленных к потолку небольшой готической часовни, высеченной, как и большая часть этой странной кельи отшельника, в твердой скале. Но в то время как во всех других помещениях применялся обычный труд каменотесов, в этой часовне чувствовался резец самых искусных зодчих. Крестовые своды с каждой стороны поддерживали шесть колонн, высеченных с редким искусством. Соединения и пересечения этих вогнутых арок, украшенные орнаментами, отличались тончайшими расцветками, какие только могла дать архитектура того времени. Против каждой колонны были высечены шесть богато украшенных ниш, в каждой нише — статуя одного из двенадцати апостолов.

На возвышении с восточной стороны стоял алтарь. За алтарем расшитый золотом роскошный занавес из персидского шелка закрывал нишу, хранящую, очевидно, изображение или реликвию святого, в честь которого была воздвигнута эта небольшая часовня. Погруженный в благочестивые мысли, рыцарь приблизился к святыне и, став на колени, ревностно повторил слова молитвы. Но тут внимание его привлек занавес: чья-то невидимая рука распахнула его. В открывшейся нише он увидел раку из черного дерева и серебра с двустворчатыми дверцами, напоминающую готический храм в миниатюре. В то время как он с любопытством разглядывал священную реликвию, двустворчатые дверцы тоже распахнулись, и он увидел большой кусок дерева, на котором была надпись «Vera Crux» ⁶. В то же время хор женских голосов запел гимн «Gloria Patri» ⁷. Когда окончилось пение, рака закрылась, и занавес снова задернулся. Рыцарь, коленопреклоненный перед престолом, мог теперь спокойно продолжать молиться, воздавая хвалу святой реликвии, которая открылась его взору. Он предался молитвам, глубоко потрясенный этим величественным доказательством истины своей религии. Через некоторое время, закончив молитву, он поднялся и осмотрелся, ища глазами

6
Истинный крест (лат.)

7
Слава отцу (лат.)

отшельника, который привел его к этому святому и загадочному месту. Он вскоре увидел его; голова старца все еще была закрыта покрывалом, которым он сам его прикрыл, и он лежал расprostертый, как загнанная гончая, у порога часовни, видимо и не пытаясь его перейти. Весь его облик выражал строгое благоговение и искреннее покаяние, как будто человек этот был повержен на землю и пал под бременем своих страданий. Шотландцу казалось, что лишь чувство глубочайшего раскаяния, угрызения совести и смирение могли повергнуть ниц это мощное тело и эту пламенную душу.

Рыцарь приблизился к нему, как бы желая заговорить, но отшельник предупредил его, что-то бормоча из-под покрывала, которое окутывало его голову: «Подожди! Подожди! О, как ты счастлив! Видение еще не кончилось!» Голос его прозвучал как бы из-под савана покойника. Он поднялся, отошел от порога, где до этого лежал, и закрыл дверь часовни на пружинный засов. Стук этот глухо отдался по всей часовне. Дверь стала почти невидимой, слившись со скалой, в которой была высечена пещера, так что Кеннет едва мог различить, где находился выход. Он теперь остался один в освещенной часовне, хранившей в себе реликвию, которой он только что поклонялся. У него не было оружия, кроме кинжала, и он остался наедине со своими благочестивыми мыслями и отвагой.

Не зная, что может произойти дальше, но с твердым намерением перенести все, что бы с ним ни случилось, Кеннет в полном одиночестве стал ходить взад и вперед по часовне. Так продолжалось почти до пения первых петухов. В тишине, когда ночь встречается с утром, он услышал откуда-то нежный звон серебряного колокольчика, в который звонят во время возношения даров на литургии. В этот час и в таком месте звон этот показался ему необыкновенно торжественным. Несмотря на свою неустрашимость, рыцарь отошел в дальний угол часовни, против алтаря, откуда он мог наблюдать за зрелищем, которое должно было последовать за этим сигналом.

Ему не пришлось долго ждать — шелковый занавес опять раздвинулся, и реликвия вновь представилась его взору. Благоговейно преклонив колена, он услышал мелодию хвалебных гимнов, которые поются в католической церкви во время литургии.

Их пел хор женских голосов, который он уже слышал раньше. Рыцарь мог различить, что хор не стоял на месте, а приближался к часовне; пение становилось все громче. Внезапно на другом конце часовни открылась потайная дверь вроде той, через которую он сам вошел, и мощные звуки ворвались под стрельчатые своды.

Затаив дыхание, все еще стоя на коленях в молитвенной позе, подобающей этому священному месту, рыцарь стал всматриваться в открытую дверь и ожидать событий, которые должны были последовать за этими приготовлениями. Процессия приближалась к двери. Сперва появились четыре красивых мальчика; они шли парами, шеи, руки и ноги их были обнажены; бронзовая кожа резко выделялась на фоне белоснежных туник. Первая пара размахивала кадилами, это усиливало аромат, которым уже была полна часовня. Вторая пара разбрасывала цветы.

За ними в строгом порядке величественной поступью шли девушки, которые составляли хор. Шесть из них, судя по черным наплечникам и покрывалам, накинутым на белые одеяния, принадлежали к монахиням кармелитского ордена. Шесть с белыми покрывалами были или послушницами, или случайными обитательницами монастыря, еще не связанными обетом и не принявшими постриг. В руках первых были крупные четки. Остальные, более молодые, несли по букету белых и красных роз. Они шли вокруг часовни, казалось не обращая никакого внимания на Кеннета, хоть и проходили так близко, что их одежды почти касались его.

Слушая это пение, рыцарь решил, что находится в одном из тех монастырей, где в старину знатные христианские девушки открыто посвящали себя служению церкви. Большинство из них было закрыто, когда мусульмане вновь покорили Палестину, однако многие монастыри получили право на существование; задабривая власти подарками и всячески стараясь снискать их расположение, они все еще продолжали тайно соблюдать обряды, к которым их обязал данный ими обет. Однако, хотя Кеннет и сознавал, что все это происходит на самом деле, торжественная обстановка, неожиданное появление этих девственниц и их призрачное шествие так подействовали на его воображение, что ему трудно было представить, что эта процессия состояла из земных созданий, так напоминали они хор сверхъестественных

существ, прославляющих святыню, которой поклонялся весь мир.

Таковы были мысли рыцаря, когда процессия проходила мимо него, медленно двигаясь вперед. При этом неземном, мистическом свете, который лампы распространяли сквозь фимиам, слегка затуманивший часовню, монахини, казалось, не шли, а лишь тихо скользили по полу.

Проходя по часовне во второй раз мимо того места, где преклонил колена Кеннет, одна из девушек в белом одеянии, скользя мимо него, оторвала бутон розы из своей гирлянды и, может быть нечаянно, уронила к его ногам. Рыцарь вздрогнул, как будто пронзенный стрелой: когда разум напряжен до крайних пределов в ожидании чего-то, всякая неожиданность воспламеняет и без того уже возбужденное воображение. Однако он подавил волнение, говоря себе, что тут простая случайность, и эпизод этот показался ему необычным только благодаря тому, что нарушил монотонность движения монахинь.

Однако, когда процессия начала в третий раз обходить вокруг часовни, его взгляд и мысли неотступно следовали за той послушницей, которая уронила бутон розы. Нельзя было заметить каких-нибудь особых черт в ее облике: ее походка, лицо и фигура ничем решительно не отличали ее от других. Тем не менее сердце Кеннета забилося, как пойманная птица» рвущаяся из клетки, как бы желая внушить ему, что послушница во втором ряду справа дорожке для него не только всех присутствующих, но и вообще всех женщин на свете. Романтическая любовь, столь дорогая рыцарскому духу, прекрасно уживалась с не менее романтическими религиозными чувствами, и эти чувства не только не мешали друг другу, но скорее даже усиливали одно другое. И он испытывал светлую радость волнующего ожидания, граничащего с религиозным экстазом, когда ждал вторичного знака со стороны той, которая, как он твердо верил, бросила ему розу; его охватила дрожь, пробежав от груди до кончиков пальцев. Хоть и немного времени понадобилось процессии, чтобы совершить третий круг, но время это показалось ему вечностью! Наконец та, за которой он следил с таким благоговейным вниманием, приблизилась к нему. Эта девушка в белом одеянии ничем не отличалась от других девушек, плавно двигавшихся в той же самой процессии. Но когда она в третий раз проходила мимо коленопреклоненного

крестоносца, прелестная ручка, говорящая о столь же совершенном телосложении той, кому она принадлежала, мелькнула среди складок покрывала, словно лунный луч летней ночью сквозь серебристое облако, и опять бутон розы лег к ногам рыцаря Леопарда.

Этот второй знак не мог быть случайностью, не могло быть случайным и сходство этой промелькнувшей перед его взором прекрасной женской руки с той, которой однажды коснулись его уста. Целуя ее, он поклялся в верности ее прекрасной обладательнице. И если бы потребовалось еще одно доказательство, то этим доказательством было сверкание несравненного рубинового кольца на белоснежном пальце. Но для Кеннета малейшее движение этого пальца было бы дороже самого драгоценного перстня. Может быть, он случайно увидит непокорный локон темных кос, хоть и прикрытых покрывалом, каждый волосок которых был ему в сто раз дороже цепи из массивного золота. Да, то была дама его сердца! Но неужели она здесь в далекой, дикой пустыне, среди девственниц, живущих в этих диких местах и пещерах, чтобы тайно выполнять христианские обряды, не смея никому их показывать, неужели он видит все это наяву, а не во сне — все было слишком неправдоподобно, было лишь обманом, сказкой! В то время как эти мысли проносились в голове Кеннета, процессия медленно уходила в двери, через которые она вошла в часовню. Молодые иноки и монахини в своем черном одеянии прошли в открытую дверь. Наконец и та, от которой он дважды получал знаки внимания, тоже прошла мимо, но, проходя, хотя слегка, но все же заметно повернула голову в ту сторону, где он стоял как изваяние. Последнее колебание складок ее покрывала — и все исчезло! Мрак, непроницаемый мрак объял его душу и тело. Как только последняя монахиня перешагнула через порог и дверь с шумом захлопнулась, голоса поющих монахинь смолкли, огни в часовне сразу же погасли и Кеннет остался во тьме один. Но одиночество, мрак и непонятная таинственность происходящего — все это было ничто, не этим были заняты его мысли. Все это было ничто в сравнении с призрачным видением, которое только что проскользнуло мимо него, и знаками внимания, которыми он был награжден. Ощупать пол в поисках бутонов, которые она уронила,

прижать к губам, то каждый порознь, то вместе; припасть губами к холодным камням, по которым ступала ее нога, предаться сумасбродным поступкам, порожденным сильными чувствами, которыми иногда охвачены люди, — все это доказательство и следствие страстной любви, свойственной любому возрасту. В те романтические времена охваченный любовным экстазом рыцарь не мог и помышлять о том, чтобы следовать за предметом своего обожания. Она была для него божеством, которое удостоило показаться на мгновение своему преданному почитателю, чтобы вновь исчезнуть во мраке своего святилища, подобно тому как яркая звезда, блеснув на мгновение, вновь окутывается мглой. Все действия, все поступки его дамы сердца были в его глазах деяниями высшего существа, за которым он не смел следовать. Она радовала его своим появлением или огорчала своим отсутствием, воодушевляла своей добротой или приводила в отчаяние своей жестокостью, повинуюсь лишь собственным желаниям. А он подвигами стремился превознести ее славу, посвятив служению своей избраннице преданное сердце и меч рыцаря и видя цель своей жизни в исполнении ее приказаний.

Таковы были законы рыцарства и той любви, которая была его путеводной звездой. Но преданность Кеннета получила романтический оттенок по другим и совершенно особенным причинам. Он никогда даже не слышал голоса своей дамы сердца, хотя часто с восхищением любовался ее красотой. Она вращалась в кругу, к которому он по своему положению мог лишь приблизиться, но в который не мог войти. Хоть и высоко ценились его воинское искусство и храбрость, все же бедный шотландский воин принужден был лишь издалека поклоняться своему божеству, на таком расстоянии, какое отделяет перса от солнца, которому он поклоняется. Но разве гордость женщины, как бы высокомерна она ни была, способна скрыть от ее взора страстное обожание поклонника, на какой бы низкой ступени он ни стоял? Она наблюдала за ним на турнирах, она слышала, как прославляли его в рассказах о ежедневных битвах. И хотя ее благосклонности добивались графы, герцоги и лорды, ее сердце, быть может, против ее желания или даже бессознательно стремилось к бедному рыцарю Спящего Леопарда, который для поддержания своего достоинства не имел ничего, кроме своего меча. Когда она

смотрела на него и прислушивалась к тому, что о нем говорили, любовь, тайком прокрадываясь в ее сердце, становилась все сильнее. Если красота какого-нибудь рыцаря составляла предмет восхваления, то даже многие самые щепетильные дамы английского двора отдавали предпочтение шотландцу Кеннету. Часто случалось, что, несмотря на очень значительные щедрые дары, которыми вельможи оделяли менестрелей, такого певца охватывало вдохновение, просыпался дух независимости, и арфа воспевала героизм того, кто не имел ни красивого коня, ни пышных одежд, чтобы наградить прославлявшего его певца.

Те минуты, в которые благородная Эдит внимала прославлениям своего возлюбленного, становились для нее все более дорогими, помогая забыть лесть, слушать которую ей так надоело, и в то же время давая ей пищу для тайных размышлений о том, кто по общему признанию был достойнее других, превосходивших его богатством и знатностью. По мере того как внимание ее постепенно привлекал Кеннет, она все больше и больше убеждалась в его преданности и начала верить, что шотландец Кеннет предназначен ей судьбой, чтобы делить с ней в горе и в радости (а будущее казалось ей мрачным и полным опасностей) страстную любовь, которой поэты того времени приписывали такую беспредельную власть, а мораль и обычаи ставили наряду с благочестием.

Не будем скрывать правду от читателей. Когда Эдит отдала себе отчет в своих чувствах, так же носящих рыцарский отпечаток, как и подобало девушке, близко стоящей к английскому трону, хотя ее гордости льстили непрестанные, пусть даже молчаливые проявления поклонения со стороны избранного ею рыцаря, были моменты, когда ее чувства любящей и любимой женщины начинали роптать против ограничений придворного этикета и когда она готова была осуждать робость своего возлюбленного, который, по-видимому, не решался его нарушать. Этикет (употребляя современное выражение), налагаемый происхождением и рангом, очертил вокруг нее какой-то магический круг, за пределами которого Кеннет мог поклоняться и любоваться ею, но который он не имел права преступить, подобно тому как вызванный дух не может преступить границу, начертанную магической палочкой могущественного волшебника.

Невольно у нее зародилась мысль, что она сама должна преступить порог недозволенного хотя бы кончиком своей прелестной ножки; она надеялась, что сможет придать храбрости своему сдержанному и робкому поклоннику, если в знак своей благосклонности позволит ему коснуться устами бантика на ее туфельке. Тому уже был пример в лице «дочери венгерского короля», которая таким способом ободрила одного «оруженосца низкого происхождения». Эдит, хоть и королевской крови, все же не была королевской дочерью. Ее возлюбленный также не был низкого происхождения, так что судьба не ставила таких преград для их чувств. Однако какое-то смутное чувство в сердце девушки (вероятно, скромность, налагающая оковы даже на любовь) запрещало ей, несмотря на преимущества ее положения, сделать первый шаг, который, согласно правилам вежливости, принадлежит мужчине. Кроме того, Кеннет был в ее представлении рыцарем столь благородным, столь деликатным, столь благовоспитанным во всем, что касалось выражения чувств к ней, что, несмотря на сдержанность, с которой она принимала его поклонение, как божество, равнодушное к обожанию своих поклонников, кумир все же не решался слишком рано сойти с пьедестала, чтобы не унизиться в глазах своего преданного почитателя.

Однако преданный обожатель настоящего идола может найти знаки одобрения даже в суровых и неподвижных чертах лица мраморной статуи. Нет ничего удивительного в том, что в светлых, прекрасных глазах Эдит отразилось нечто такое, что можно было отнести к проявлению ее благосклонности. Красота ее заключалась не столько в правильных чертах или цвете лица, сколько в необычайной его выразительности. Несмотря на свою ревнивую бдительность, она все же чем-то проявила свое расположение. Иначе как бы мог Кеннет так быстро и с такой уверенностью распознать ее красивую руку, лишь два пальца которой виднелись из-под покрывала? Или как он с такой уверенностью мог бы утверждать, что оба оброненные ею цветка означали, что возлюбленная его узнала? Мы не беремся указать, благодаря каким приметам, по каким скрытым признакам, взглядам, жестам или инстинктивным знакам любви установилось взаимопонимание между Эдит и ее возлюбленным: ведь мы уже стары, и неприметные следы привязанности, быстро улавливаемые

молодыми глазами, ускользают от нашего взора. Достаточно сказать, что такое чувство зародилось между двумя людьми, которые никогда не обменялись ни единым словом, хотя у Эдит это чувство сдерживалось сознанием больших трудностей и опасностей, которые неизбежно должны были встретиться на их пути. А рыцарь должен был испытывать тысячи страхов и сомнений, боясь переоценить значение даже самых ничтожных знаков внимания его дамы сердца; они неминуемо чередовались с продолжительными периодами известной холодности с ее стороны. Причина тому крылась в боязни вызвать толки и этим подвергнуть опасности своего поклонника или выказать слишком большую готовность быть побежденной и потерять его уважение. Все это заставляло ее временами выказывать безразличие и как бы не замечать его присутствия.

Это повествование, может быть, несколько утомительно, но оно необходимо, ибо должно объяснить внутреннюю близость между влюбленными (если здесь можно употребить это слово) в тот момент, когда неожиданное появление Эдит в часовне произвело столь сильное впечатление на рыцаря.

Глава V

*Напрасно призраки толпой
Летят в наш лагерь боевой...
Мы остановим их полет:
Прочь, Термагант! Прочь, Астарот!*
Уортон

Глубокая тишина и полный мрак царили в часовне больше часа. Рыцарь Леопарда все еще стоял на коленях и возносил благодарственные молитвы, мысленно благодаря свою даму сердца за милость, которая была ему оказана. Мысль о собственной безопасности, о собственной судьбе, о чем он никогда особенно не беспокоился, стала сейчас легче пылинки. Он находился рядом с леди Эдит, он получил доказательства ее благоволения; он находился в месте, увенчанном самыми священными реликвиями. Христианин-воин, преданный любовник, он не мог больше ничего

бояться, не мог ни о чем думать, кроме своего долга перед богом и служения даме сердца.

По прошествии часа вдруг раздался резкий свист, похожий на свист охотника, приманивающего сокола. Звук этот не очень гармонировал со святостью места и напомнил Кеннету, что он должен всегда быть начеку.

Он быстро поднялся с колен и схватился за рукоять кинжала. Затем послышался скрип каких-то винтов или блоков; яркий луч света озарил часовню снизу, указывая на то, что в полу открылась потайная дверь. Меньше чем через минуту из этого отверстия показалась полуобнаженная костлявая рука, прикрытая рукавом из красной парчи. Она высоко держала светильник. Человек, которому принадлежала эта рука, шаг за шагом поднялся по лестнице до уровня пола часовни. Появившееся существо оказалось безобразным карликом с огромной головой и причудливо разукрашенным колпаком с тремя павлиньими перьями. Его платье из яркой парчи, богатый убор, который еще больше подчеркивал его уродство, было украшено золотыми нарукавниками и браслетами; к белому шелковому поясу был пристегнут кинжал с золотой рукоятью. В левой руке это странное существо держало нечто вроде метлы. Некоторое время оно стояло не двигаясь и, вероятно, чтобы лучше показать себя, стало медленно водить перед собой светильником, освещая свирепые и причудливые черты лица и уродливое мускулистое тело. Однако при всем своем безобразии карлик не производил впечатления калеки. При виде этого уroda Кеннету припомнилось поверье о гномах или подземных духах, жителях подземных пещер. Внешность карлика до такой степени соответствовала его представлению об этих созданиях, что он смотрел на него с отвращением, к которому примешивался не страх, а тот благоговейный ужас, какой охватывает даже самых смелых в присутствии сверхъестественного существа.

Карлик снова свистнул, вызывая еще кого-то из подземелья. Второе существо появилось так же, как и первое. Но на этот раз это была женская рука, державшая светильник над подземельем, из которого она поднималась, и из-под пола медленно появилась женщина, телосложением очень напоминавшая карлика; она медленно выходила из отверстия в полу. Ее платье было тоже из

красной парчи, с оборками и причудливо скроенное, будто она нарядилась для пантомимы или каких-то фокусов. Неторопливо, как и ее предшественник, она поднесла светильник к лицу и телу, которое могло бы поспорить в уродстве с карликом. С непривлекательным наружным видом связывалась одна общая для обоих особенность, которая предупреждала, что их надо весьма остерегаться. Поражал какой-то особенный блеск их глаз, глубоко сидящих под нависшими густыми бровями; подобно блеску в глазах жабы, он до некоторой степени сглаживал их ужасную уродливость.

Кеннет стоял как зачарованный, пока эта уродливая пара, двигаясь рядом, не начала подметать часовню, исполняя как бы роль уборщиков. Пол от этого чище не становился, ибо они работали лишь одной рукой, как-то странно ею жестикулируя. Это вполне соответствовало их фантастической наружности. Они постепенно приблизились к рыцарю и перестали мести. Став против Кеннета, они медленно подняли светильники, чтобы он мог лучше рассмотреть их лица, не ставшие вблизи более привлекательными, и чтобы он мог видеть необычайно яркий блеск их черных глаз, отражавших свет лампад. Затем они навели свет на рыцаря и, подозрительно посмотрев на него, а потом друг на друга, разразились громким, воющим смехом, который звонко отдался в его ушах. Смех этот был настолько ужасен, что Кеннет содрогнулся и спешно спросил их, во имя неба, кто они и как смеют осквернять это святое место своими кривляньями и выкриками.

— Я — карлик Нектабанус, — ответил уродец голосом, вполне подходящим к его фигуре и похожим больше на пронзительный крик какой-то ночной птицы; такой звук в дневное время не услышишь.

— А я — Геневра, дама его сердца, — ответила женщина еще более пронзительно и дико.

— Зачем вы здесь? — спросил опять рыцарь, не вполне уверенный, действительно ли он видит человеческие существа.

— Я двенадцатый имам, — отвечал карлик с напускной важностью и достоинством. Я — Мухаммед Мохади, вождь правоверных. Сто оседланных коней стоят наготове для меня и моей свиты в святом городе и столько же — в городе спасения. Я

— тот, который свидетельствует о пророке, а это одна из моих гурий.

— Ты лжешь, — отвечала карлица, обрывая его тоном еще более пронзительным. — Совсем я не твоя гурия, да и ты совсем не тот оборвыш Мухаммед, о котором ты говоришь. Да будет проклят его гроб! Говорю тебе, иссахарский осел, ты Артур, король Британии, которого феи похитили с Авалонского поля. А я — Геневра, прославленная своей красотой.

— Сказать по правде, благородный сэр, — сказал карлик, — мы обнищавшие монархи, жившие под крылышком короля Гвидо Иерусалимского до тех пор, пока он не был изгнан из своего гнезда погаными язычниками, да поразят их громы небесные!

— Тише! — послышался голос со стороны двери, в которую вошел рыцарь. — Тише, дураки, убирайтесь вон! Ваша работа кончена!

Услышав это приказание, карлики сейчас же погасили свои светильники и, что-то нашептывая друг другу, оставили рыцаря в полном мраке, к которому, как только в отдалении замерли их шаги, присоединилась его верная спутница — мертвая тишина.

С уходом этих злосчастных созданий рыцарь почувствовал облегчение. Их речь, манеры и внешность не оставляли ни малейшего сомнения в том, что они принадлежали к числу тех несчастных, которые из-за своего уродства и слабоумия становились как бы жалкими нахлебниками в больших семействах, где их внешность и глупость давали пищу для насмешек всем домочадцам.

Шотландский рыцарь был по своему образу мыслей несколько не выше своей эпохи, а потому в другое время мог бы позабавиться маскарадом этих жалких подобию человека. Однако теперь их появление, жестикуляция и речь прервали его глубокие размышления, и он искренне порадовался исчезновению этих злополучных созданий.

Через несколько минут после их ухода дверь, в которую вошел рыцарь, тихонько приоткрылась и пропустила слабый луч света от фонаря, поставленного на порог. Этот неверный, мигающий огонек слабо озарял темную фигуру у порога. Подойдя ближе, Кеннет узнал отшельника, остановившегося в той же самой униженной позе, в какой он находился с самого начала, в то время как его

гость оставался в часовне.

— Все кончено, — сказал отшельник, услышав шаги рыцаря, — и самый недостойный из всех грешников должен покинуть это место вместе с тем, кто может считать себя счастливейшим из смертных. Возьми светильник и проводи меня вниз: я только тогда могу развязать глаза, когда буду далеко от этого святого места.

Шотландский рыцарь молча повиновался; торжественность и глубокое значение всего, что он видел, заставили его пересилить свое любопытство. Он уверенно шел вперед по потайным коридорам и лестницам, по которым они только что поднялись, пока не очутились во внешней келье пещеры отшельника.

— Осужденный преступник возвращен в свое подземелье. Здесь он влачит свое существование изо дня в день до той поры, пока его страшный судия не повелит свершить над ним заслуженный приговор.

Произнося эти слова, отшельник откинул покрывало, которым были завязаны его глаза, посмотрел на рыцаря с подавленным вздохом и положил обратно в нишу, откуда раньше его вынул шотландец; затем он торопливо и строго сказал своему спутнику:

— Иди, иди, отдохни, отдохни! Ты можешь, ты должен уснуть, а я не могу и не смею.

Повинуясь взволнованному тону, с каким это было сказано, рыцарь удалился во внутреннюю келью. Однако, обернувшись при выходе из наружной пещеры, он увидел, как отшельник с неистовой поспешностью срывал с себя козью шкуру, и, прежде чем тот успел прикрыть тонкую дверь, разделявшую обе половины пещеры, Кеннет услышал удары плетью и стоны кающегося под самобичеванием. Холодная дрожь пробежала по телу рыцаря, когда он подумал о том, как ужасен должен быть совершенный отшельником грех и какие глубокие угрызения совести он должен был испытывать. Даже такая суровая епитимья не могла ни искупить этот грех, ни успокоить угрызения совести. Он помолился, перебирая четки. Взглянув на все еще спящего мусульманина, он бросился на свою жесткую постель и заснул сном ребенка, утомленный дневными и ночными приключениями. Проснувшись утром, он побеседовал с отшельником о некоторых важных делах, причем выяснилось, что он должен остаться в пещере еще дня на два. Как и подобает пилигриму, он

добросовестно предавался молитве, но никогда больше не получил доступа в часовню, где видел столько чудес.

Глава VI

*Смените декорации — пусть трубы
Звучат, чтоб льва из логовища выгнать.*
Старинная пьеса

Как было сказано, действие теперь должно перенестись в другое место: из диких пустынных гор Иордана — в стан Ричарда, короля Англии. Тогда он находился между Аккрой и Аскалоном с армией, с которой Львиное Сердце решил выступить и идти триумфальным маршем на Иерусалим. Вероятно, он и преуспел бы в этом, если бы ему не помешала зависть христианских рыцарей, участвовавших в походе; мешало этому и необузданное высокомерие английского монарха и его явное презрение к своим собратьям-властелинам. Хотя они и считали себя равными ему, они значительно уступали ему в смелости, неустрашимости и военном искусстве. Эти раздоры, в особенности между Ричардом и Филиппом, королем Франции, влекли за собой пререкания и создавали недоразумения и преграды, которые препятствовали всем начинаниям смелого, но пылкого Ричарда. А ряды крестоносцев редели с каждым днем, и не только из-за дезертирства, но и потому, что целые отряды, возглавляемые феодалами, решили больше не принимать участия в походе, в успех которого они перестали верить.

Как и следовало ожидать, непривычный климат оказался губительным для северных воинов, тем более что распущенное поведение крестоносцев, противоречащее их принципам и целям войны, еще легче делало их жертвами палящей жары и холодной росы. Помимо болезней, значительный урон наносил им меч неприятеля. Саладин, величайшее имя, самый прославленный из полководцев в истории Востока, узнал по горькому опыту, что его легко вооруженные всадники не были способны в рукопашном бою противостоять закованным в латы франкам; в то же время ему внушал ужас отважный характер его противника Ричарда. Но если

его армии и были не раз разбиты в больших сражениях, численность его войск давала сарацину преимущество в мелких схватках, столь частых в этой войне.

По мере того как уменьшалась наступающая армия, численность войск султана увеличивалась; они становились смелее, все чаще прибегая к партизанской войне. Лагерь крестоносцев был окружен и почти осажден лавинами легкой кавалерии, напоминающими осиные рои, — их легко уничтожить, когда они пойманы, но у каждой осы есть крылья, чтобы ускользнуть от более сильного противника, и жало, чтобы причинить ему боль. Происходили постоянные безрезультатные стычки передовых постов и фуражиров, которые стоили жизни не одному храброму воину, перехватывались обозы, перерезывались пути сообщения. Средства для поддержания жизни крестоносцам приходилось покупать ценой самой жизни. А вода, подобно воде Вифлеемского источника, предмету вождения одного из древних вифлеемских монархов — царя Давида, как и раньше, покупалась лишь ценою крови.

В большинстве случаев непреклонная решимость и неутомимая энергия короля Ричарда спасали крестоносцев от поражения. Вместе со своими лучшими рыцарями он всегда был на коне, готовый ринуться туда, где была наибольшая опасность. Он не только часто оказывал неожиданную помощь христианам, но и наносил поражения и расстраивал ряды мусульман в тот момент, когда они уже были уверены в победе. Но даже железное здоровье Львиного Сердца не могло безнаказанно выдержать перемен этого губительного климата при таком умственном и физическом напряжении. Его поразила одна из изнурительных и ползучих лихорадок, столь характерных для азиатских стран. Несмотря на большую силу и еще большее мужество, он уже не мог сесть на коня. Позднее он уже не мог и посещать военные советы, временами созываемые крестоносцами. И когда военный совет принял решение заключить с султаном Саладином перемирие на тридцать дней, трудно сказать, почувствовал ли английский монарх облегчение или его вынужденное бездействие стало для него еще более нестерпимым. И если, с одной стороны, неизбежная задержка в осуществлении великой миссии крестоносцев приводила Ричарда в ярость, с другой — его немного успокаивала

мысль, что и остальные его соратники, в то время как он оставался прикованным к постели, тоже не пожнут лавров.

Меньше всего Львиное Сердце мог примириться с общим бездействием, которое наступило в стане крестоносцев, как только болезнь его приняла серьезный характер. Из ответов своих приближенных, которые они весьма неохотно давали на его настойчивые расспросы, он понимал, что по мере усиления его болезни, гасли и надежды среди воинов. Для него было ясно, что перемирие это было заключено не в целях пополнить войско, поднять его дух и укрепить волю к победе, не для того, чтобы сделать необходимые приготовления для быстрого и решительного наступления на священный город, что являлось целью всего похода, но чтобы укрепить лагерь, занятый все уменьшающимся числом его последователей, при помощи рвов, палисадов и других укреплений. Все эти приготовления делались скорее с целью отражения атаки сильного противника, атаки, которой следовало ожидать, как только военные действия возобновятся, нежели для победоносного наступления гордых завоевателей.

Получая такие донесения, английский король приходил в сильное раздражение, подобно пойманному льву, вззирающему на добычу сквозь железные прутья своей клетки. Пылкий и опрометчивый по натуре, он становился жертвой своей собственной раздражительности. Он внушал страх своим приближенным, и даже его лекари не решались пользоваться властью, которую врач должен проявлять по отношению к своему пациенту для его же блага. Лишь один барон из всего его окружения, быть может благодаря сходству своего характера с характером короля, был слепо предан ему. Он один отваживался становиться между драконом и его яростью и спокойно, но решительно подчинял своей власти грозного больного, чего не осмелился бы сделать никто другой. Томас де Малтон поступал так потому, что жизнь и честь своего повелителя он ценил выше, чем его милость, не обращая внимания на риск, которому мог бы подвергнуться, ухаживая за столь упрямым пациентом, нерасположение которого было всегда чревато последствиями.

Томас, лорд Гилсленд из Камберленда, в те времена, когда прозвища и титулы не жаловали по заслугам, как теперь, был прозван норманнами лордом де Во, а англосаксы, верные своему

родному языку и гордившиеся тем, что в жилах этого прославленного воина текла англосаксонская кровь, звали его Томасом или просто Томом из Гилла либо Томом из Узких Долин — по названию его обширных поместий.

Этот воин принимал участие почти во всех войнах, которые возникали между Англией и Шотландией, а также во всех ратных распрях, раздиравших тогда страну. Он отличался своим военным искусством и храбростью. В остальном же это был грубый солдат с небрежными, резкими манерами, молчаливый и даже угрюмый в обществе, не признававший ни правил вежливости, ни этикета. Находились, правда, люди, считавшие себя глубокими знатоками человеческой души, которые утверждали, что де Во не только резок и смел, но также хитер и честолюбив. Они утверждали, что он подражает смелой, но грубоватой натуре самого короля, чтобы снискать его благоволение и осуществить свои честолюбивые планы. Однако никто не стремился перечить его планам, если они вообще существовали, и соперничать с ним в его опасном занятии. Де Во каждый день проводил у постели больного, болезнь которого считали заразной. Из приближенных за это никто не брался, памятуя, что больной был не кто другой, как Львиное Сердце: ведь его одолевало бешеное нетерпение воина, которого не пускают в бой, или властелина, временно лишённого власти. Рядовой же воин (по крайней мере английской армии) думал, что де Во ухаживает за королем лишь по-товарищески, с тем честным и бескорыстным прямодушием солдатской дружбы, какое устанавливается между людьми, ежедневно подвергающимися общей опасности.

Однажды, когда южный день уже клонился к вечеру, Ричард лежал прикованный к своей постели, истомленный докучливой болезнью, терзавшей его душу и тело. Его ясные голубые глаза, всегда сиявшие необыкновенной пронизательностью и блеском, казались еще более живыми из-за этой лихорадки и скрытого нетерпения. Они сверкали из-под длинных вьющихся локонов его светлых волос, как последние лучи солнца сквозь тучи надвигающейся грозы, позолоченные этими лучами. Изнурительная болезнь оставила следы на его мужественном лице. Его всклокоченная борода закрывала губы и подбородок. То ворочаясь с боку на бок, то хватаясь за покрывало, то сбрасывая

его, лежал он на своей измятой постели; его беспокойные жесты указывали одновременно на энергию и еле сдерживаемое нетерпение человека, привыкшего к кипучей деятельности.

Около постели стоял Томас де Во; вид и поза его являли полный контраст с обликом страдающего монарха. Своим гигантским ростом и гривой волос он напоминал Самсона, правда лишь после того, как локоны этого израильского богатыря были острижены, филистимлянами, чтобы их можно было удобнее носить под шлемом. Блеск его больших карих глаз напоминал рассвет осеннего утра, взгляд их только тогда выражал беспокойство, когда его внимание привлекали бурные вспышки нетерпения Ричарда. Его крупные, как и вся фигура, черты лица можно было бы назвать красивыми, если бы они не были обезображены шрамами. По норманскому обычаю, верхнюю губу закрывали темные усы, слегка тронутые сединой: длинные и густые, они доходили до висков. Видно было, что он легко переносил усталость и жаркий климат. Он был худощав, у него была широкая грудь и длинные мускулистые руки. Он уже три ночи подряд не снимал свою кожаную куртку с крестообразными разрезами на плечах, пользуясь лишь теми моментами отдыха, какие урывками мог себе позволить, охраняя покой больного монарха. Барон лишь изредка делал движение, чтобы подать Ричарду лекарство или питье, которое никто из приближенных не сумел бы убедить его проглотить. Было что-то трогательное в том, как он любовно, хотя довольно неуклюже, исполнял свои обязанности, столь чуждые его грубым солдатским привычкам и манерам.

Шатер, в котором они находились, в соответствии с духом того времени и характером самого Ричарда, отличался не столько королевской роскошью, сколько обилием принадлежностей воинского ремесла. Повсюду было развешано оружие, как наступательное, так и оборонительное, иногда странной формы и, как видно, нового образца. Шкуры зверей, убитых на охоте, покрывали пол и украшали стены шатра. На одной груде этих лесных трофеев лежали три больших белоснежных алана, как их тогда называли, то есть борзых самой крупной породы. Морды их со шрамами от когтей и клыков как бы указывали на то, что они участвовали в добывании трофеев, на которых лежали.

Потягиваясь и зевая, они изредка поглядывали на постель Ричарда, как бы выказывая ему свою преданность и жалуясь на вынужденное бездействие. То были соратники короля-солдата и охотника. На маленьком столе у постели лежал чеканный щит из кованой стали треугольной формы с изображением трех идущих львов — герб, впервые присвоенный королем-рыцарем. Перед ним лежал золотой обруч, напоминавший герцогскую корону, только спереди он был выше, чем сзади. Вместе с пурпурной бархатной расшитой тиарой он был символом английского владычества. Около него, как бы наготове для защиты этой королевской эмблемы, лежала тяжелая секира, которую вряд ли смогла бы поднять рука какого-либо воина, кроме Львиного Сердца.

В другой половине шатра находились два-три офицера королевской внутренней службы. Вид у них был подавленный: они были встревожены состоянием здоровья повелителя, а равно и своей судьбой в случае его кончины. Их мрачные опасения как бы передавались наружным часовым, шагавшим кругом в молчаливом раздумье или неподвижно стоявшим на постах, опираясь на свои алебарды; они были похожи скорее на каких-то вооруженных кукол, чем на живых воинов.

— Значит, у тебя нет добрых вестей для меня, сэра Томас? — сказал король после длительного и тревожного молчания, снедаемый лихорадочным волнением, которое мы пытались описать. — Все наши рыцари обратились в баб, наши дамы стали монахинями, и нигде не видно ни искры мужества, ни доблести, ни храбрости, чтобы оживить наш стан, в котором собран цвет европейского рыцарства.

— Перемирие, государь, — сказал де Во с терпением, с которым он уже двадцать раз повторял эту фразу, — перемирие мешает нам действовать как подобает воинам. Как известно вашему величеству, я не поклонник пиров и разгула и не часто склонен менять сталь и кожу на бархат и золото. Но, насколько я знаю, наши милые красавицы отправились с ее королевским величеством и принцессами в паломничество в Энгаддийский монастырь, чтобы исполнить обет и помолиться об избавлении вашего величества от болезни.

— А разве, — сказал Ричард с видимым раздражением к гневом, — наши почтенные дамы и девушки могут подвергать себя

такому риску, отправляясь в страну, оскверненную этими собаками, у которых так же мало правды для людей, как и веры в бога?

— Но ведь Саладин поручился за их безопасность, — возразил де Во.

— Верно, верно, — отвечал Ричард, — я несправедлив к этому султану-язычнику — я у него в долгу. Если бы только бог дал мне возможность сразиться с ним на глазах и христиан и язычников!

С этими словами Ричард вытянул правую руку, обнаженную до плеча, и, с трудом приподнявшись на постели, потряс сжатым кулаком, как будто сжимал рукоять меча или секиры, размахивая им над украшенным драгоценностями тюрбаном султана. Де Во пришлось прибегнуть к силе. Этого король не снес бы ни от кого другого, но де Во, выполняя роль сиделки, заставил своего властелина лечь обратно в постель и укрыл его мускулистую руку, шею и плечи так же заботливо, как мать укладывает нетерпеливого ребенка.

— Ты добрая, хоть и грубая нянька, де Во, — сказал король с горьким смехом уступая силе, которой не мог противостоять. — Думаю, что чепчик кормилицы подошел бы к твоему угрюмому лицу, как мне — детский капор. При виде такого младенца и такой няньки все девушки разбежались бы в страхе.

— В свое время мы наводили страх на мужчин, — сказал де Во, — и думаю, что еще поживем, чтобы снова внушить им ужас. Приступ лихорадки — это пустяки; надо лишь иметь терпение, чтобы от него избавиться.

— Приступ лихорадки! — воскликнул Ричард вспыхнув. — Ты прав, меня одолел приступ лихорадки. А что же случилось со всеми остальными христианскими монархами — с Филиппом Французским, с этим глупым австрийцем, с маркизом Монсерратским, с рыцарями госпитальеров, с тамплиерами? Что с ними со всеми? Так знай же: это застойный паралич, летаргический сон, болезнь, которая отняла у них речь и способность действовать, — какой-то червь, который вгрызается в сердце всего, что есть благородного, рыцарского и доблестного. И это сделало их лживыми даже в выполнении рыцарского обета и заставило пренебречь своей славой и забыть бога.

— Ради всего святого, ваше величество, — сказал де Во, — не

принимайте это близко к сердцу. Здесь ведь нет дверей, и вас услышат; а такие речи уже можно услышать и среди воинов; это вносит ссоры и распри в христианское войско. Не забывайте, что ваша болезнь теперь главная пружина их начинаний. Скорее баллиста будет стрелять без винта и рычага, чем христианское войско — без короля Ричарда.

— Ты льстишь мне, де Во, — сказал Ричард: он все же не был безразличен к похвалам. Он опустил голову на подушку с намерением отдохнуть, более решительным, чем выказывал до сих пор. Однако Томас де Во не принадлежал к числу льстивых царедворцев: эта фраза как-то случайно сорвалась у него с языка. Он не сумел продолжать разговор на столь приятную тему, чтобы продлить созданное им хорошее настроение, и замолк. Король, опять впадая в мрачные размышления, резко сказал: — Боже мой! Ведь это сказано только для того, чтобы успокоить больного. Разве подобает союзу монархов, объединению дворянства, собранию всего рыцарства Европы падать духом из-за болезни одного человека, хотя бы и короля Англии? Почему болезнь Ричарда или его смерть должна остановить наступление тридцати тысяч таких же смельчаков, как он сам? Когда олень-вожак убит, стадо ведь не разбегается. Когда сокол убьет журавля-вожака, другой продолжает вести стаю. Почему державы не соберутся, чтобы избрать кого-нибудь, кому они могут доверить руководство войском?

— Это верно. Но если вашему величеству угодно знать, — сказал де Во, — то я слышал, что по этому поводу уже были встречи между королями.

— Ага! — воскликнул Ричард, и его честолюбие сразу проснулось, дав иное направление его раздражительности. — Я уже забыт союзниками прежде, чем принял последнее причастие? Они уже считают меня мертвым? Но нет, нет, — они правы. А кого же они выбрали вождем христианского воинства?

— По чину и достоинству, — сказал де Во, — это король Франции.

— Вот оно что! — отвечал Ричард. — Филипп Французский и Наваррский, Дени Монжуа — его наихристианнейшее величество — все это пустые слова. Здесь, правда, может быть риск: он

способен перепутать слова en arriere и en avant ⁸ и увести нас обратно в Париж, вместо того чтобы идти на Иерусалим. Этот политик уже заметил, что можно достигнуть большего, притесняя своих вассалов и обирая своих союзников, чем воюя с турками за гроб господень.

— Они могут также избрать эрцгерцога Австрийского, — сказал де Во.

— Как? Только потому, что он велик ростом, статен как ты сам, Томас, и почти столь же тупоголов, но без твоего презрения к опасности и равнодушия к обидам? Говорю тебе, что во всей этой австрийской туше не больше смелости и решительности, чем у злобной осы или храброго кобчика. Вон его! Разве может он быть предводителем рыцарей и вести их к победе? Дай ему лучше распить флягу рейнвейна вместе с его дармоедами и ландскнехтами.

— Есть еще гроссмейстер ордена тамплиеров, — продолжал барон, не жалея, что отвлек внимание своего властелина от его болезни, хотя это и сопровождалось нелестными замечаниями по адресу принцев и монархов.

— Есть гроссмейстер тамплиеров, — продолжал он, — неустрашимый, опытный, храбрый в бою и мудрый в совете. К тому же он владеет королевством, которое могло бы отвлечь его от завоевания святой земли. Что думает ваше величество о нем как о предводителе христианской рати?

— Да, — отвечал король, — возражений против брата Жилия Амори нет: он знает, как построить войска в боевом порядке, и сам всегда сражается в первых рядах. Но, сэр Томас, справедливо ли было бы отнять святую землю у язычника Саладина, отличающегося всеми добродетелями, которые могут быть и у неверного, и потом отдать ее Жилию Амори? Он хуже язычника: идолопоклонник, последователь сатаны, колдун. Он совершает во мраке своих подвалов самые жуткие и жестокие преступления.

— А гроссмейстер ордена госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского? Его слава не запятнана подозрениями в ереси или в магии, — сказал Томас де Во.

— Этот жалкий скряга? — поспешно возразил Ричард. — Разве

его не подозревали (даже больше, чем подозревали) — в продаже неверным наших секретов, которые они никогда не получили бы силой оружия? Ну уж нет, барон! Лучше предать армию, продав ее венецианским шкиперам и ломбардским торгашам, чем доверить ее гроссмейстеру ордена святого Иоанна.

— Тогда я решусь сделать другое предложение, — сказал барон де Во.

— Что вы скажете о доблестном маркизе Монсерратском? Он так умен, изящен и в то же время хороший воин.

— Умен? Хитер, ты хочешь сказать, — отвечал Ричард, — изящен в дамских покоях, если хочешь. Конрад Монсерратский — кто не знает этого щеголя? Шаткий политик, он способен менять свои намерения так же часто, как ленты своего камзола. Никогда нельзя угадать, что он хочет сказать — откровенен он или это только маска? Воин? Нет, прекрасный наездник и ловок на турнирах и в скачках с препятствиями, когда мечи притуплены, а на копья надеты деревянные наконечники. Тебя ведь не было со мной, когда я раз сказал весельчаку маркизу: «Нас здесь трое добрых христиан, а вот там вдали десятков пять-шесть сарацин; что, если мы их внезапно атакуем? На каждого рыцаря придется лишь по двадцать басурман».

— Да, помню его ответ, — сказал де Во, — он сказал, что тело его из плоти, а не из железа, и что он предпочел бы иметь сердце человека, а не хищного зверя, хотя бы и льва. Но я знаю, на чем мы порешим: мы закончим тем, с чего начали. Нет никакой надежды, что мы сможем помолиться у гроба господня, пока небо не пошлет исцеление королю Ричарду.

Услышав эти мрачные слова, Ричард весело рассмеялся, чего с ним давно не случалось.

— Великая вещь совесть, — сказал он, — если даже ты, тупоголовый северный лорд, можешь заставить своего короля сознаться в безумии. Поистине, если бы они не считали себя способными занять мое место, я и не подумал бы о том, чтобы срывать шелковые украшения с кукол, которых ты мне показал. Что мне до того, в какой мишуре они щеголяют, но я не могу допустить, чтобы они соперничали со мной в благородном деле, которому я себя посвятил. Да, де Во, я сознаюсь в своей слабости, упрямстве и честолюбии. Несомненно, в нашем христианском

лагере найдется немало рыцарей получше Ричарда Английского, и было бы благоразумно назначить одного из них вождем войска. Но, — продолжал воинственный монарх, приподнимаясь на постели и срывая повязку с головы; его глаза сверкали, словно он чувствовал себя накануне сражения, — но если бы такой рыцарь водрузил знамя крестоносцев на Иерусалимском храме в то время, как я прикован к постели и не в состоянии принять участие в этом благородном подвиге, то как только я смог бы снова держать копьё, я вызвал бы его на поединок за то, что он отнял мою славу и достиг цели раньше меня. Но слушай, что это за трубные звуки вдали?

— Это, вероятно, трубы короля Филиппа, — сказал дородный англичанин.

— Ты туг на ухо, Томас, — сказал король, стараясь приподняться. — Разве ты не слышишь шум и лязг оружия? Боже мой, ведь это турки вошли в стан — я слышу их военный клич.

Он опять попытался встать с постели, и де Во должен был приложить всю свою могучую силу, да еще позвать на помощь приближенных из внутреннего шатра, чтобы удержать его.

— Ты вероломный изменник, де Во, — сказал разъяренный монарх, когда, с трудом переводя дыхание и измученный борьбой, он вынужден был покориться силе и снова улечься. — Ох, если бы... если бы я был настолько силен, чтобы разmozжить тебе голову секирой!

— Как бы я хотел, чтобы вы обладали такой силой, государь, — сказал де Во, — даже с риском стать ее жертвой. Христианский мир только выиграл бы, если б Томас Малтон был убит, а Ричард Львиное Сердце вновь стал самим собой.

— Мой верный и преданный слуга, — сказал Ричард, протянув руку, которую барон почтительно поцеловал, — прости своему государю его нетерпение. Это пылающая во мне лихорадка, а не твой добрый король Ричард Английский бранит тебя. Но прошу — пойди и узнай, что это за чужестранцы появились в лагере: это шум не от христианского войска.

Де Во вышел из шатра исполнить поручение, приказав камергерам, пажам и слугам удвоить внимание к государю на время своего краткого отсутствия и угрожая им наказанием в случае неповиновения. Однако угрозы эти скорее увеличили, чем

уменьшили робость, которую они испытывали при исполнении своего долга, так как гнева сурового и неумолимого лорда Гилсленда они боялись едва ли меньше, чем гнева самого монарха.

Глава VII

Кто когда-нибудь видел на границе двух стран

*Встречу горцев и англичан,
Тот видел, как кровь их бежала струей,
Словно с гор поток дождевой.*

«Битва при Оттерборне»

Большой отряд шотландских воинов присоединился к крестоносцам, став под знамена английского монарха. Как и его собственные войска, большинство из них были саксонцами и норманнами и говорили на тех же языках. Некоторые владели поместьями в Англии и Шотландии, многие были в кровном родстве между собой. Период этот предшествовал тому времени, когда жадный и властолюбивый Эдуард I придал войнам между этими двумя нациями столь жестокий и неумолимый характер: англичане воевали за покорение Шотландии, а шотландцы отстаивали свою независимость с решимостью и упорством, столь характерными для этой нации, сражаясь в самой неблагоприятной обстановке, не останавливаясь ни перед чем, подвергаясь величайшим опасностям. До сих пор войны между двумя нациями, как бы часты и жестоки они ни были, велись с соблюдением принципов справедливости, и каждый стремился проявить благородство и уважение к своему великодушному противнику, что смягчало и ослабляло ужасы войны. Поэтому в мирное время, в особенности когда обе нации, как сейчас, вступали в войну, преследуя общую цель, цель эта становилась им близкой еще и потому, что они исповедовали одну и ту же веру. Искатели приключений из обеих стран часто сражались бок о бок; соперничество двух наций лишь возбуждало у них стремление превзойти друг друга на поле брани, в борьбе против общего врага.

Великодушный, но воинственный характер Ричарда, не делавшего никакого различия между своими подданными и подданными Вильгельма Шотландского и различавшего их лишь по поведению на поле сражения, во многом способствовал примирению между ними. Однако из-за его болезни и неблагоприятных условий, в которых находились крестоносцы, между различными группами войск понемногу возникала национальная рознь совершенно так же, как старые раны снова дают себя чувствовать под влиянием болезни или слабости.

Шотландцы и англичане, в равной мере ревностные и отважные, не способны сносить обиды, в особенности первые, как нация более бедная и слабая, и начали предаваться междоусобным распрям, когда перемирие запрещало им совместно вымещать свою злобу на сарацинах. Подобно враждовавшим вождям древнего Рима, шотландцы не желали признавать ничьего превосходства, а их южные соседи не терпели никакого равенства в отношениях. Возникли раздоры и распри. Как воины, так и все их начальники, дружившие во время победного наступления, стали угрожать друг другу несмотря на то, что их единение, казалось, должно было бы стать теперь нерушимым, как никогда, для успеха общего дела, а также для безопасности всей армии. Такая же рознь начала чувствоваться между французами и англичанами, итальянцами и германцами и даже датчанами и шведами. Но здесь речь будет идти прежде всего о том, что разъединяло две нации, жившие на одном острове. Казалось, что именно эта причина усугубляла их взаимную вражду.

Из всех знатных англичан, последовавших в Палестину за своим королем, де Во был одним из наиболее ярых противников шотландцев. Они были его ближайшими соседями, с которыми он всю жизнь вел тайную и открытую войну, кому он причинил немало страданий и от которых сам немало претерпел.

Его любовь и преданность королю походила на преданность старого пса своему хозяину. Он был резок и неприступен в обращении даже с теми, к кому был равнодушен, а к навлекшим его нерасположение был груб и придирчив. Де Во не мог без чувства негодования и ревности относиться к проявлению симпатии и внимания короля к представителям нечестивой, вероломной и жестокой, по его мнению, нации, родившейся по ту

сторону реки или за какой-то воображаемой чертой, проведенной через дикую, пустынную местность. Он даже сомневался в успехе крестового похода, в котором было разрешено участвовать этим людям; по его мнению, они были немногим лучше сарацин, с которыми он пришел сражаться. Можно добавить, что, будучи прямым и откровенным англичанином, не привыкшим утаивать ни малейшего проявления любви или неприязни, он считал искренние выражения вежливости и обходительности со стороны шотландцев, которым они научились, или подражая своим частым союзникам — французам, или выказывая эти черты благодаря гордости и скрытности своего характера, лишь опасным проявлением вероломства и хитрости по отношению к их соседям, над которыми, как он думал со свойственной англичанам самоуверенностью, они никогда не возвысятся, несмотря на свою храбрость.

Однако, хотя де Во питал эти чувства ко всем своим северным соседям, лишь немного смягчая их по отношению к участникам крестового похода, его почитание короля и чувство долга, диктуемое обетами крестоносца, не позволяли ему обнаружить их публично. Он постоянно избегал общения со своими шотландскими собратьями по оружию. Когда ему приходилось встречаться с ними, он хранил угрюмое молчание, а при встрече во время похода или в лагере окидывал их презрительным взглядом. Шотландские бароны и рыцари не могли не замечать и не оставлять без ответа подобные знаки презрения, и все считали де Во заклятым врагом этой нации, которую на самом деле он только недолго любил, выказывая ей свое пренебрежение. Более того: внимательными наблюдателями было замечено, что хоть он и не испытывал к ним провозглашенного писанием милосердия, прощающего обиды и не осуждающего ближнего, ему нельзя было отказать в более скромной добродетели, помогающей ближнему в нужде. Богатство Томаса Гилсленда позволяло ему заботиться о приобретении продовольствия и медикаментов, часть которых как-то попадала и в лагерь шотландцев. Такая угрюмая благотворительность руководствовалась принципом: после друга важнее всех для тебя твой враг, а все остальные люди слишком безразличны, чтобы о них думать. Эти пояснения необходимы, чтобы читатель мог понять то, о чем будет речь впереди.

Едва Томас де Во успел сделать несколько шагов, покинув королевский шатер, как услышал то, что сразу же различил более острый слух английского монарха, отличного знатока искусства менестрелей, а именно, что звуки музыки, достигшие их слуха, производились дудками, свирелями и литаврами сарацин. В конце дороги, между линиями палаток, ведущих к шатру Ричарда, он различил толпу праздных воинов, собравшихся там, откуда слышалась музыка, почти в самом центре стана. К своему удивлению, среди разных шлемов крестоносцев всех наций он увидел белые тюрбаны и длинные копья, что указывало на появление вооруженных сарацин, а также возвышавшиеся над толпой безобразные головы нескольких верблюдов-дромадеров с несуразно длинными шеями.

Неприятно удивленный при виде столь неожиданного зрелища (по установившемуся обычаю, все парламентерские флаги оставались за пределами стана), барон осмотрелся, думая найти кого-нибудь, у кого он мог бы разузнать о причинах этого опасного новшества. В первом, кто шел ему навстречу, он тотчас же по надменной осанке признал испанца или шотландца и невольно пробормотал:

— Да, это шотландец, рыцарь Леопарда. Я видел, как он сражался — не так уж плохо для уроженца этой страны.

Не желая обращаться к нему, он собрался было уже пройти мимо с угрюмым и недовольным видом, как бы говоря: «Я тебя знаю, но не намерен вступать в разговоры». Однако его намерение было расстроено северным рыцарем, который сразу направился к нему и, отдав учтивый поклон, сказал:

— Милорд де Во Гилсленд, мне нужно поговорить с вами.

— Вот как, — ответил английский барон, — со мной? Но что вам угодно? Говорите скорее: я иду по поручению короля.

— Мое дело касается короля Ричарда еще ближе, — отвечал Кеннет. — Я надеюсь, что верну ему здоровье.

Окинув его недоверчивым взглядом, лорд Гилсленд отвечал:

— Но ведь ты же не лекарь, шотландец, я скорее поверил бы тебе, если б услышал, что ты несешь королю богатство.

Раздраженный ответом барона, Кеннет все же спокойно ответил:

— Здоровье Ричарда — это слава и счастье всего христианства.

Однако время не ждет! Скажите, могу я видеть короля?

— Конечно нет, дорогой сэра, — сказал барон, — пока ты не изложишь яснее, что у тебя за поручение. Шатер больного короля не может быть открыт для каждого, словно шотландская харчевня.

— Милорд, — сказал Кеннет, — на мне такой же крест, как и на вас, а важность того, что я имею вам сказать, вынуждает меня не придавать значения вашему вызывающему поведению, которого в ином случае я бы не снес. Одним словом, я привез с собой мавританского лекаря, который берется излечить короля Ричарда.

— Мавританского лекаря? — повторил де Во. — А кто поручится, что он не привез какую-нибудь отраву вместо лекарства?

— Его собственная жизнь, милорд, которую он предлагает в залог.

— Знавал я не одного отчаянного головореза, — сказал де Во, — ценившего свою жизнь не больше того, что она стоила, и готового шагать на виселицу так же весело, как если бы палач был его партнером в танцах.

— Совершенно верно, милорд, — отвечал шотландец. — Саладин, которому никто не откажет в мужестве и благородстве, прислал своего лекаря с почетной свитой, стражей и конвоем, подобающим тому высокому положению, которое эль-хаким ⁹ занимает при дворе султана, с плодами и напитками для королевского стола и с посланием, достойным благородных врагов. Он шлет ему пожелания скорейшего избавления от лихорадки, с тем чтобы он мог принять султана с обнаженной саблей в руке и конвоем в сто тысяч всадников. Не соблаговолите ли вы, как член королевского Тайного совета, приказать развьючить верблюдов и распорядиться о приеме ученого лекаря?

— Поразительно! — сказал де Во как бы про себя. — А кто поручится за Саладина, если он прибегнет к хитрости и захочет сразу избавиться от своего самого могущественного противника?

— Я сам, — сказал Кеннет, — ручаюсь за него своей честью, жизнью и состоянием.

— Странно, — воскликнул де Во, — север ручается за юг, шотландец — за турка! Могу ли я спросить вас, сэра рыцарь, а вы-то

9

лекарь. (Прим. автора.)

как вмешались в это дело?

— Мне было поручено, — сказал Кеннет, — вовремя паломничества по святым местам вручить послание отшельнику энгаддийскому.

— Может ли мне быть доверено его содержание, сэра Кеннет, а также ответ святого отца?

— Нет, милорд, — ответил шотландец.

— Но я член Тайного совета Англии, — надменно возразил англичанин.

— Этой стране я не подвластен, — сказал Кеннет. — Хотя я добровольно следовал в войне за знаменами английского короля, все же я был послан от Совета королей, принцев и высших полководцев воинства святого креста, и только им я отдам отчет.

— Ах, вот как! — сказал гордый барон де Во. — Так знай же, посланец королей и принцев, как ты себя называешь, что никакой лекарь не приблизится к постели короля Ричарда Английского без согласия Томаса Гилсленда, и жестоко поплатится тот, кто нарушит этот запрет.

С надменным видом он повернулся, чтобы уйти, но шотландец, подойдя к нему ближе, спокойным голосом, в котором также звучала гордость, спросил, считает ли его лорд Гилсленд джентльменом и благородным рыцарем.

— Все шотландцы рождаются джентльменами, — с некоторой иронией отвечал Томас де Во. Но, почувствовав свою несправедливость и видя, что Кеннет покраснел, он добавил: — Грешно было бы сомневаться в твоих достоинствах. Я сам видел, как смело ты исполняешь свой воинский долг.

— Но в таком случае, — сказал шотландский рыцарь, довольный искренностью, прозвучавшей в этом признании, — позвольте мне поклясться, Томас Гилсленд, что как верный шотландец, гордящийся своим происхождением и предками, и как рыцарь, пришедший сюда, чтобы обрести славу в земной жизни и заслужить прощение своих грехов в жизни небесной, именем святого креста, что я ношу, я торжественно заявляю, что желаю лишь спасения Ричарда Львиное Сердце, когда предлагаю ему услуги этого мусульманского лекаря.

Англичанин, пораженный этой торжественной клятвой, с большей сердечностью ответил ему:

— Скажи мне, рыцарь Леопарда: признавая, что ты сам уверен в искренности султана (в чем я не сомневаюсь), правильно ли бы я поступил, если бы предоставил этому неизвестному лекарю возможность испробовать свои зелья на том, кто так дорог христианству, в стране, где искусство отравления людей — такое же обычное дело, как приготовление пищи?

— Милорд, — отвечал шотландец, — на это я могу ответить лишь так: мой оруженосец, единственный из моих приближенных, которого оставила мне война и болезни, недавно заболел такой же лихорадкой, которая в лице доблестного короля Ричарда поразила сердце нашего святого дела. Не прошло и двух часов, как этот лекарь, эль-хаким, дал ему свои лекарства, а он уже впал в спокойный, исцеляющий сон. Что эль-хаким в состоянии излечить эту губительную болезнь — я не сомневаюсь; что он готов это сделать — я думаю, доказывается тем, что он послан султаном, который настолько правдив и благороден, насколько может им быть ослепленный неверный. В случае успеха лекаря ждет щедрая награда, при намеренной ошибке — наказание — вот что может послужить достаточной гарантией.

Англичанин слушал, опустив взор, как бы в сомнении, хотя, видимо, он готов был поверить словам своего собеседника.

Наконец он поднял глаза и спросил:

— Могу я повидать вашего больного оруженосца, дорогой сэръ?

Шотландский рыцарь задумался и смутился, но затем ответил:

— Охотно, милорд Гилсленд, но вы должны помнить, когда увидите мое скромное жилище, что кормимся мы не так обильно, спим не на мягком и не заботимся о столь роскошном жилище, как это свойственно нашим южным соседям. Я живу в бедности, милорд Гилсленд, — добавил он с подчеркнутой выразительностью. И как бы нехотя он пошел вперед, показывая дорогу к своему временному жилищу.

Каковы бы ни были предубеждения де Во против нации, к которой принадлежал его новый знакомый, и хотя мы не склонны отрицать, что причиной их была ее всем известная бедность, он был слишком благороден, чтобы радоваться унижению этого храбреца, открыто признавшего свою нищету, которую из гордости он хотел бы скрыть.

— Воину-крестonosцу, — сказал де Во, — стыдно мечтать о

мирском великолепии или роскошном жилье, когда он идет в поход для покорения святого города. Хоть нам и не сладко живется, но все же мы живем лучше, чем те мученики и святые, что странствовали по этим местам, а теперь предстоят на небесах с горящими золотыми светильниками и пальмовыми ветвями.

То была одна из самых метафорических и напыщенных речей, когда-либо произнесенных Томасом Гилслендом: тем более что она далеко не выражала его собственных чувств: сам он любил хороший стол, веселые пиры и роскошь. Тем временем они подошли к тому месту, где расположился лагерь рыцаря Леопарда.

Действительно, внешний вид его жилища говорил о том, что законы аскетизма, которым, по словам Гилсленда, должны следовать крестоносцы, здесь не были нарушены. Согласно правилам крестоносцев, для рыцаря была оставлена свободной площадь, достаточная, чтобы раскинуть тридцать шатров. Из тщеславия рыцарь потребовал себе такой участок, якобы для первоначальной своей свиты. Половина участка осталась свободной, а на другой половине стояло несколько убогих хижин, сплетенных из прутьев и прикрытых пальмовыми ветвями; все они казались пустыми, а некоторые были полуразрушены. Над главной хижинкой, предназначенной для вождя, на вершине копья было водружено знамя в форме ласточкиного хвоста. Его длинные складки, как бы увядшие под палящими лучами азиатского солнца, неподвижно свисали вниз. Но возле этой эмблемы феодального могущества и рыцарского достоинства не было видно ни одного пажа или оруженосца, ни даже одинокого часового. Стражем, охранявшим его от оскорбления, была лишь репутация его владельца.

Кеннет окинул печальным взором все кругом, но, поборов свои чувства, вошел в хижину, сделав знак барону Гилсленду следовать за ним. Де Во также окинул хижину пытливым взглядом, выразившим отчасти жалость, отчасти презрение, которому это чувство, быть может, так же сродни, как любви. Слегка нагнувшись, чтобы не задеть высоким шлемом за косяк, он вошел в низкую хижину и, казалось, заполнил ее всю своей тучной фигурой.

Большую часть хижины занимали две постели. Одна была пуста; сделана она была из листьев и покрыта шкурой антилопы.

По доспехам, разложенным рядом, и серебряному распятию, с благоговением воздвигнутому у изголовья, видно было, что то была постель самого рыцаря. На соседней лежал больной, о котором говорил Кеннет. Это был хорошо сложенный человек с суровыми чертами лица; он, по-видимому, перешагнул за средний возраст. Его постель была более мягкой, чем постель его господина; было ясно, что парадные одежды, которые рыцари носили при дворе в мирное время, а также различные мелочи в одежде и украшения были предоставлены Кеннетом для удобства его больного слуги. Недалеко от входа английский барон заметил мальчика: он сидел на корточках перед жаровней, наполненной древесным углем, обутый в грубые сапоги из оленьей шкуры, в синей шапке и сильно потертом камзоле. Он жарил на железном листе лепешки из ячменной муки, которые в то время, да и теперь еще, являлись любимой едой шотландцев. Часть туши антилопы была развешана на подпорках хижины. Нетрудно догадаться, как она была поймана: большая борзая, превосходившая породой даже тех, что стерегли постель больного короля Ричарда, лежала тут же, наблюдая за тем, как пеклись лепешки. Чуткий пес, завидя вошедших, глухо зарычал: это рычание походило на раскаты отдаленного грома. Но при виде хозяина он завилял хвостом и вытянул голову, как бы воздерживаясь от бурного выражения своего приветствия: казалось, благородный инстинкт заставлял его вести себя тише в присутствии больного.

Рядом с постелью, на подушке, сделанной тоже из шкур, по восточному обычаю скрестив ноги, сидел мавританский лекарь, о котором говорил Кеннет. При тусклом свете его трудно было разглядеть; можно было лишь разобрать, что нижняя часть его лица была скрыта длинной черной бородой, свисавшей на грудь, и что на нем была круглая татарская барашковая шапка такого же цвета и темный широкий турецкий кафтан. Во тьме виднелись лишь два пронизательных глаза, светившихся необычайным блеском.

Английский лорд молча стоял с выражением почтительного благоговения. Несмотря на его обычную грубость, вид нищеты и страданий, переносимых без жалоб и ропота, всегда внушал Томасу де Во больше уважения, чем великолепие королевских покоев, если только покои не принадлежали самому королю

Ричарду. Не было ничего слышно, кроме тяжелого, но мерного дыхания больного, который спал глубоким сном.

— Он не спал уже шесть ночей, — сказал Кеннет, — как мне говорил тот малыш, что за ним ухаживает.

— Мой благородный шотландец, — сказал Томас де Во, схватив руку шотландского рыцаря и сжимая ее с сердечностью, какую не решался придать своим словам, — так не может продолжаться. У твоего оруженосца слишком скудная пища, и за ним плохой уход.

Последние слова он произнес обычным решительным тоном, невольно повысив голос. Больной беспокойно зашевелился.

— Господин мой, — пробормотал он как бы в полусне, — благородный сэра Кеннет, как отрадно утолить жажду холодной водой Клайда после соленых источников Палестины...

— Это он грезит о родной земле и, видно, счастлив в своих грезах, — шепнул Кеннет Томасу де Во. Едва он произнес эти слова, как лекарь, внимательно наблюдавший за пульсом больного, осторожно опустил его руку на постель, встал, подошел к обоим рыцарям, знаком призывая их хранить молчание, и, взяв их под руки, вывел из хижины.

— Во имя Иссы бен-Мариам, — сказал он, — того, кого мы чтим так же, как и вы, хоть и не с таким слепым суеверием, не мешайте действию святого снадобья, которое он принял. Разбудить теперь означало бы умертвить его, или он может лишиться рассудка. Возвращайтесь в тот час, когда муэдзин будет с минарета призывать верующих для вечерних молитв в мечети. Если никто не нарушит его сна, я обещаю вам, что этот франкский воин без вреда для здоровья сможет уже говорить с вами и ответить на вопросы, которые захочет задать ему его хозяин.

Рыцари ушли, уступая настояниям лекаря, видимо вполне понимавшего все значение восточной пословицы: «Комната болящего — царство лекаря».

Они стояли около входа в хижину: Кеннет — ожидая, что посетитель с ним простится, а де Во, видимо, обдумывал что-то, не решаясь уйти. Пес выбежал за ними из хижины и ткнулся длинной мордой в руку хозяина, как бы требуя от него внимания. Услышав ласковое слово своего господина и почувствовав легкое прикосновение его руки, он, видимо, спеша выказать

признательность за благоговение и радость по поводу возвращения хозяина, стал носиться взад и вперед, виляя хвостом, мимо полуразрушенных хижин по эспланаде, о которой мы упомянули. При этом он ни разу не нарушил ее границ, как будто умное животное понимало, что они охраняются знаменем его хозяина. После нескольких прыжков пес, подойдя к хозяину, оставил свой игривый пыл, вернувшись к обычной важности и словно стыдясь, что поддался слабости и не сдержал себя.

Оба рыцаря с удовольствием смотрели на него. Кеннет справедливо гордился своим благородным животным. Английский барон тоже был страстным любителем охоты и большим знатоком борзых.

— Ловкий, сильный пес, — сказал он. — Думаю, дорогой мой, что у короля Ричарда нет собаки, которая могла бы помериться с ним, если верность его не уступает его ловкости. Но я позволю себе спросить — при всем уважении и добрых чувствах, которые я к тебе питаю, разве ты не слышал о приказе, запрещающем всем ниже ранга графа держать в лагере собак без королевского разрешения? Полагаю, что у тебя нет такого разрешения, сэра Кеннет? Я говорю это как королевский шталмейстер.

— А я отвечаю как свободный шотландский рыцарь, — с достоинством ответил Кеннет. — В настоящее время я следую за знаменем Англии, но не припомню, чтобы я когда-нибудь подчинялся охотничьим законам этого королевства, и я не настолько их уважаю, чтобы им подчиниться. Но как только протрубят сбор — моя нога уже в стремени, не позже других, а едва прозвучит сигнал к атаке — копьё мое никогда еще не было среди последних. Что же касается моего досуга и свободы, то король Ричард не вправе ставить им преграды.

— Все-таки, — сказал де Во, — это безумие не слушаться приказов короля. Итак, с вашего позволения, так как это поручено мне, я пришлю вам охранную грамоту на этого красавца.

— Благодарю вас, — сказал шотландец холодно, — но он хорошо знает отведенное мне место, и здесь я сам могу его защитить. Однако, — сказал он, внезапно меняя тон, — негоже мне так отвечать на вашу сердечность. От души спасибо вам, милорд. Но конюшие и доезжачие короля могу схватить Росваля. Я отвечу обидой на обиду, а это может привести к неприятностям. Вы

видели так много в моем хозяйстве, милорд, — добавил он с улыбкой, — что мне не стыдно признаться! Росваль — наш главный фуражир. Надеюсь, что наш лев Ричард не будет похож на льва в сказке менестрелей, который на охоте всю добычу присвоил себе. Я не думаю, чтобы он сердился на бедного джентльмена, его верного соратника, если тот в свободное время добудет себе немного дичи, в особенности когда другой пищи и не достанешь.

— Поистине, ты лишь отдаешь должное королю, — сказал барон, — однако это слово — «дичь» — сможет вскружить голову нашим норманским баронам.

— Мы недавно слышали, — сказал шотландец, — от менестрелей и пилигримов, что ваши йомены, объявленные вне закона, образовали целые банды в графствах Йорк и Ноттингем, а их вождь — отважный стрелок по прозвищу Робин Гуд со своим помощником Маленьким Джоном. По-моему, лучше бы Ричард смягчил свои охотничьи законы в Англии, вместо того чтобы навязывать их святой земле.

— Это сумасшествие, сэра Кеннет, — ответил де Во, пожимая плечами, видимо желая избежать неприятного и опасного разговора. — Мы живем в сумасшедшем мире, сэра. Я должен теперь вас покинуть, так как мне нужно вернуться в королевский шатер. Во время вечерних молитв я, с вашего разрешения, посету ваше жилище и переговорю с этим мусульманским лекарем. Если вы не обидитесь, я охотно пришлю что-нибудь, чтобы улучшить ваши трапезы.

— Благодарю, вас, сэра, — сказал Кеннет, — не нужно. Росваль уже наготовил мне припасов недели на две, а ведь солнце Палестины хоть и приносит болезни, но в то же время сушит нам оленину.

Два воина расстались лучшими друзьями, чем при встрече. Однако, прежде чем разойтись, Томас де Во разузнал наконец о подробностях появления восточного лекаря и получил от шотландского рыцаря верительные грамоты Саладина, чтобы вручить их королю Ричарду.

Глава VIII

*Врач, от недугов знающий лекарства,
Важней солдат для блага государства.*

«Илиада» Попа

— Странная история, сэра Томас, — сказал больной король, выслушав доклад верного барона Гилсленда. — Ты уверен в благонадежности этого шотландца?

— Утверждать не могу, милорд, — ответил ревностный житель границы.

— Я живу слишком близко к шотландцам, чтобы мог на них полагаться; люди эти бывают и откровенны и лживы. Но, судя по его поведению, сказать по совести, будь он или сам сатана, или шотландец, он человек правдивый.

— А что ты скажешь о его поведении как рыцаря? — спросил король.

— Это скорее дело вашего величества, чем мое, но я уверен, что вы и сами видели, как себя ведет этот рыцарь Леопарда. И слава о нем хорошая.

— Это правда, Томас, — сказал король. — Мы сами видели его в бою. Мы намеренно идем в первые ряды, чтобы видеть, как сражаются наши вассалы и подданные, а вовсе не для того, как думают многие, чтобы обрести себе славу. Мы знаем всю тщету человеческих похвал: это дым. И не за этим поднимаем мы оружие.

Де Во не на шутку встревожился, услышав подобные признания короля, которые так не соответствовали его натуре. Сначала он решил, что лишь близость смерти заставила монарха говорить в столь откровенно пренебрежительном тоне о военной славе, необходимой ему как воздух, но, вспомнив, что, входя в шатер, он встретил королевского духовника, он был достаточно проницателен, чтобы понять, что временное самоуничижение было продиктовано внушением священника. Поэтому он ничего не ответил.

— Да, — продолжал Ричард, — я заметил, как он исполняет свой долг. Если бы он ускользнул от моего наблюдения, мой предводительский жезл не стоил бы и погремушки шута. Я давно оказал бы ему знаки моей милости, если бы не заметил его

вызывающе гордый вид и самоуверенность.

— Ваше величество, — сказал барон Гилсленд, видя, как меняется выражение лица короля. — Боюсь, это я навлеку на себя ваш гнев, если скажу, что слегка потворствовал его поступкам.

— Как, де Малтон, ты? — сказал король, нахмутив брови и негодующим тоном выражая свое изумление. — Ты мог потворствовать его дерзости? Этого не может быть.

— С разрешения вашего величества, — сказал де Во, — я беру на себя смелость напомнить, что мне дано право разрешать людям наиболее знатного происхождения содержать по одной или две борзых в пределах стана для поощрения благородного искусства псовой охоты: да и кроме того, было бы грехом искалечить или уничтожить такого замечательного и благородного пса.

— У него действительно такой красивый пес? — спросил король.

— Самое совершенное создание, — сказал барон, большой любитель охоты, — и притом самой благородной северной породы: широкая грудь, крепкая спина, черная шерсть с сероватыми пятнами на груди и ногах, сила — хоть быка повалит, быстрота — загонит антилопу.

Король рассмеялся, услышав эту восторженную речь.

— Ну, раз ты разрешил ему держать этого пса, то не будем больше говорить об этом. Но все-таки будь осторожен в выдаче разрешений таким рыцарям-авантюристам, которые не подчиняются никакому государю или вождю: на них нет никакой управы, и они, пожалуй, не оставят больше дичи в Палестине. Ну, а теперь вернемся к ученому язычнику. Ты говоришь, что шотландец встретил его в пустыне?

— Нет, ваше величество; вот что рассказывает шотландец. Он был послан к старому Энгаддийскому отшельнику, о котором столько говорят.

— Проклятие! — воскликнул Ричард, вскакивая с постели. — Кем он послан и для чего? Кто посмел послать туда кого бы то ни было, когда наша королева была в Энгаддийском монастыре, совершая паломничество и молясь о нашем выздоровлении?

— Его послал Совет крестоносцев, милорд, — отвечал барон де Во. — Он отказался сообщить мне, по какому делу. Думаю, мало кому известно, что ваша августейшая супруга отправилась в

паломничество: и даже монархи едва ли знали об этом, так как королева лишена была возможности быть с вами, потому что из любви к ней вы запретили ей ухаживать за вами, боясь заразы.

— Ну хорошо, об этом я разузнаю, — сказал Ричард. — Итак, ты говоришь, что этот шотландец встретился с кочующим лекарем в Энгаддийской пещере?

— Не совсем так, ваше величество, — ответил де Во. — Но, кажется, в тех местах он встретил сарацинского эмира; по дороге они вступили в бой и померились силами, состязаясь в храбрости. Признав его достойным спутником, он, как это принято среди странствующих рыцарей, вместе с ним отправился к Энгаддийской пещере.

Здесь де Во умолк: он не принадлежал к тем, кто способен сразу рассказать длинную историю.

— И там они встретили лекаря? — нетерпеливо спросил король.

— Нет, ваше величество, не там, — отвечал де Во, — но сарацин, узнав о том, что ваше величество тяжело больны, добился, чтобы Саладин прислал к вам личного лекаря, известного своим искусством. Он пришел в пещеру, где шотландский рыцарь прождал его несколько дней. Он окружен большим почетом, словно владетельный государь; барабаны, трубы, конный и пеший конвой. Он привез верительные грамоты от Саладина.

— Джакомо Лоредани прочел их?

— Перед тем как принести их сюда, я показал их переводчику, и вот английский текст.

Ричард взял свиток, на котором были начертаны следующие слова: «Благословение аллаха и его пророка Мухаммеда».

— Нечестивый пес! — воскликнул Ричард, сплюнув в знак презрения. «Саладин, король королей, султан Египта и Сирии, светоч и оплот земли, посылает приветствие великому Мелеку Рику — Ричарду, королю Англии. Так как мы были осведомлены, что тяжкий недуг одолел тебя, нашего высочайшего брата, и что при тебе находятся лишь лекари — назареяне и иудеи, не осененные благословением аллаха и нашего святого пророка („Безумец“! — опять пробормотал английский монарх), то мы посылаем для ухода за тобой нашего личного лекаря Адонбека эль-хакима, перед которым ангел смерти Азраил простирает

крылья и тотчас же покидает шатер болящего. Ему известны все свойства трав и камней, пути солнца, луны и звезд, и он может спасти человека от всего, что не начертано роком на его челе. Поступая так, мы просим тебя от души принять его и использовать его знания и опытность. Мы не только хотели бы оказать услуги тебе, чья доблесть составляет славу всех народов Франгистана: мы этим можем привести к окончанию всей распри между нами либо путем заключения достойного соглашения, либо поединком в открытом поле. Мы сознаем, что неуместно тебе, носителю столь высокого сана и обладающему такой доблестью, умирать смертью раба, как бы замученного своим надсмотрщиком. Слава наша не может допустить, чтобы такой недуг сразил столь храброго противника. Поэтому да позволено будет святому... »

— Стой, стой, — сказал Ричард, — хватит с меня об этом псе — пророке. Мне противно думать, что храбрый и достойный султан может верить в дохлую собаку. Да, я приму его лекаря; я отдам себя на попечение этого хакима, я не останусь в долгу перед великодушием благородного султана, я встречу с Саладином в открытом поле, как он мне предлагает, и не дам ему повода называть Ричарда, короля Англии, неблагодарным: своей булавой я сброшу его на землю. Ударами, какие он редко на себе испытывал, я обращу его в христианскую веру. Я заставлю его отречься от своих заблуждений перед моим мечом с крестом-рукоятью, и я окрещу его на поле брани из собственного шлема, хоть очистительная вода, может быть, и будет смешана с кровью. Торопись, де Во, что же ты медлишь с выполнением столь приятного поручения? Приведи сюда хакима.

— Милорд, — отвечал барон; он чувствовал, что в потоке этих признаний может усилиться лихорадка. — Подумайте о том, что султан — язычник и что вы — его опасный враг.

— И потому тем более он обязан оказать мне услугу, если только эта подлая лихорадка не положит конец спорам между двумя такими королями. Говорю тебе: он любит меня, и я его, как могут любить друг друга два благородных противника. Клянусь честью, было бы грешно сомневаться в его добрых намерениях и честности.

— Все же, милорд, было бы лучше дождаться результата действия этих лекарств на шотландского оруженосца, — сказал

лорд Гилсленд. — Моя собственная жизнь зависит от этого. Если бы я поступил неосторожно в этом деле, я погубил бы христианство и заслуживал бы смерти, как собака.

— До сих пор я не знал, что ты способен опасаться за свою жизнь, — укоризненно произнес Ричард.

— Я не колебался бы и сейчас, — отвечал смелый барон, — если бы и ваша жизнь также не подвергалась опасности.

— Ну хорошо. Иди, недоверчивый человек, — отвечал Ричард, — и посмотри, как действует это лекарство. Я хотел бы, чтобы оно скорее или убило, или исцелило меня; уж очень тяжело мне валяться здесь, как быку, издыхающему от чумы, да еще в то время, когда бьют барабаны, слышится топот коней и звуки труб.

Барон поспешил удалиться, решив, однако, посоветоваться с кем-нибудь из духовенства. Он все же чувствовал на себе бремя ответственности при мысли о том, что его господин будет пользоваться услугами неверного.

Свои сомнения он прежде всего поведал архиепископу Тирскому, зная, какое влияние тот оказывает на короля Ричарда, любившего и уважавшего этого рассудительного прелата. Архиепископ выслушал сомнения, которые ему изложил де Во, выказывая свойственные римско-католическому духовенству остроту мысли и проницательность. Он не считал религиозные сомнения де Во достойными особого внимания, насколько это допускало приличие в беседе с мирянином, и отнесся к этому очень легко.

— Лекари, — сказал он, — и их снадобья часто приносили пользу, несмотря на то, что сами они по рождению и манерам являют собой все, что есть низменного в человечестве, а их снадобья извлекаются из самых скверных веществ. Люди могут прибегать к помощи язычников и неверных в своих нуждах, — продолжал он, — и есть основания полагать, что одна из причин, почему им разрешается продолжать свое существование на земле, — это то, что они оказывают помощь правоверным христианам. Таким образом, мы на законном основании превращаем пленных язычников в рабов. Скажу еще, — продолжал прелат, — что нет сомнения в том, что первобытные христиане пользовались услугами некрещеных язычников. Так, например, на корабле, на котором святой апостол Павел плыл из Александрии в

Италию, матросы были, без сомнения, язычниками. А что сказал святой, когда явилась в них нужда? *Nisi hi in navi manserint, vos salvi fieri non potestis* — «вы не можете быть спасены, если эти люди не останутся на судне». Для христиан евреи — такие же неверные, как и мусульмане. Но ведь в стране большинство лекарей — евреи, и их услугами пользуются без колебаний. Поэтому мы можем пользоваться услугами лекарей-мусульман, *quod erat demonstrandum*. ¹⁰

Доводы эти окончательно устранили сомнения Томаса де Во. Особенно сильное впечатление произвели на него латинские цитаты, хотя он не понял в них ни одного слова.

Архиепископ проявил гораздо меньше сговорчивости при обсуждении вопроса о возможности злого умысла со стороны сарацина. Тут он не пришел к быстрому решению. Барон показал ему верительные грамоты. Он прочел их, перечитал еще раз и сравнил перевод с оригиналом.

— Это блюдо приготовлено на славу, — сказал он, — оно придется по вкусу королю Ричарду, и потому у меня есть подозрения в отношении этого хитрого сарацина. В искусстве отравлять они очень изворотливы и могут так приноровить отраву, что она начнет действовать лишь через несколько недель, а преступник тем временем может легко исчезнуть. Они даже могут напитать тончайшим ядом материю, кожу, бумагу и пергамент. Да простит мне божья мать! А я, зная это, почему-то держу эти письма близко к лицу! Возьмите их, сэр Томас, уберите скорее...

Он поспешно отдал грамоты барону, держа их как можно дальше от лица.

— Но пойдете, милорд де Во, — продолжал он, — проводите меня в хижину болящего оруженосца: мы узнаем, действительно ли хаким обладает искусством исцеления, как он уверяет, прежде чем решим, можно ли безопасно испытать его лечение на короле Ричарде. Однако постойте, я захвачу с собой свой лекарственный ящик: ведь эти лихорадки весьма заразительны. Я советовал бы вам употреблять розмарин, смоченный в уксусе, милорд. Я ведь тоже кое-что смыслю в искусстве врачевания.

— Благодарю вас, ваше преосвященство, — отвечал Томас

10

Что и требовалось доказать (лат.)

Гилсленд. — Если бы я был восприимчив к лихорадке, я бы давно ее схватил, находясь у постели моего повелителя.

Архиепископ Тирский покраснел, ибо сам избегал общения с больным королем. Он попросил барона показать ему дорогу. Остановившись перед убогой хижинкой, в которой жили рыцарь Леопарда и его слуга, архиепископ сказал де Во:

— Наверно, милорд, эти шотландские рыцари меньше заботятся о своих приближенных, чем мы — о своих собаках. Этот рыцарь, говорят, храбр в бою и удостоен важными поручениями во время перемирия, а жилище его оруженосца хуже самой последней собачьей конуры в Англии. Что вы скажете о ваших соседях?

— А то, что хозяин только тогда действительно заботится о своем слуге, когда помещает его там же, где живет сам, — сказал де Во и вошел в хижину.

Архиепископ с явной неохотой последовал за ним; хоть он и не лишен был некоторого мужества, оно несколько умерялось постоянной заботой о собственной безопасности. Он вспомнил однако, что прежде всего ему необходимо лично составить себе суждение об искусстве арабского лекаря, а потому вошел в хижину с важным и величественным видом, который, как он думал, должен был внушить почтение чужестранцу.

По правде сказать, фигура прелата была довольно приметна и внушительна. В молодости он отличался красотой и, даже достигнув зрелых лет, старался казаться таким же красивым. Его епископская одежда отличалась роскошью: она была оторочена ценным мехом и отделана вышивкой. За кольца на его пальцах можно было бы купить целое графство; клобук, хоть и отстегнутый и свешивавшийся назад из-за жары, имел застежки из чистого золота, которыми закреплялся под подбородком. Его длинная борода, посеребренная годами, закрывала грудь. Один из двух прислужников, находившихся при нем, держал над его головой зонт из пальмовых листьев, создавая искусственную тень, как принято на Востоке, тогда как другой, махая веером из павлиньих перьев, навевал на него прохладу.

Когда архиепископ Тирский вошел в хижину шотландского рыцаря, хозяина там не было. Мавританский лекарь, на которого он пришел посмотреть, сидел около своего пациента в той же позе, в какой де Во оставил его несколько часов тому назад; он сидел на

циновке из скрученных листьев, поджав под себя ноги. Больной, казалось, был погружен в глубокий сон, и лекарь время от времени щупал его пульс. Архиепископ в течение двух-трех минут молча стоял перед ним, как бы ожидая почтительного приветствия; он думал, что сарацин по крайней мере будет поражен при виде его внушительной фигуры. Но Адонбек эль-хаким едва обратил на него внимание, бросив в его сторону лишь беглый взгляд. Когда же прелат приветствовал его на франкском языке, принятом в этой стране, лекарь ответил лишь обычным восточным приветствием: *Salam alicum* — «да будет мир с тобой».

— Это ты лекарь-язычник? — спросил архиепископ, слегка обиженный холодным приемом. — Я хотел бы поговорить с тобой о твоём искусстве.

— Если бы ты что-нибудь смыслил в медицине. — отвечал эль-хаким, — тебе было бы известно, что лекари не вступают в разговоры в комнате своих пациентов. Слышишь, — добавил он, когда из хижины донеслось глухое рычание борзой, — даже пес может поучить тебя уму-разуму: ведь чутье учит его не лаять, чтобы не тревожить больного. Выйдем из хижины, — сказал он, встав и идя к выходу, — если у тебя есть что мне сказать.

Несмотря на убогость одежды сарацинского лекаря и его малый рост по сравнению с фигурой прелата и гигантским ростом английского барона, в его облике и выражении лица было нечто такое, что удерживало Тирского архиепископа от того, чтобы резко выразить свое неудовольствие по поводу столь бесцеремонного нравоучения. Выйдя из хижины, он молча в течение нескольких минут пристально смотрел на Адонбека, прежде чем избрать надлежащий тон для продолжения разговора. Никаких волос не видно было из-под высокой шапки араба, которая скрывала часть его высокого и широкого лба без единой морщины. На гладких щеках, видневшихся из-под длинной бороды, также не было видно морщин. Выше мы уже говорили о пронзительном взгляде его темных глаз.

Прелат, пораженный молодостью эль-хакима, наконец прервал молчание (лекарь, видимо, не торопился его нарушить) и спросил араба, сколько ему лет.

— Годы простых людей, — сказал сарацин, — исчисляются количеством морщин, годы мудрецов — их ученостью. Я не смею

считать себя старше, чем сто круговращений хиджры. 11

Барон Гилсленд, приняв эти слова за чистую монету и считая, что ему и впрямь минуло сто лет, нерешительно посмотрел на прелата, который, лучше уразумев значение слов эль-хакима, с таинственным видом покачал головой, как бы отвечая на его вопросительный взгляд. Снова приняв важный вид, он властным голосом спросил Адонбека, как может он доказать, что обладает такими познаниями.

— На это ты имеешь поручительство могущественного Саладина, — сказал ученый, в знак уважения притронувшись к своей шапке. — Он никогда не изменяет своему слову, будь то друг или недруг. Чего же, назареянин, ты еще хочешь от меня?

— Я бы хотел собственными глазами увидеть твое искусство, — сказал барон, — без этого ты не сможешь приблизиться к постели короля Ричарда.

— Выздоровление больного, — сказал араб, — вот в чем заключается похвала лекарю. Посмотри на этого воина: кровь его иссохла от лихорадки, которая усеяла ваш лагерь скелетами и против которой искусство ваших назареянских лекарей можно сравнить лишь с шелковым плащом, выставленным против стальной стрелы. Посмотри на его пальцы и руки, похожие на когти и ноги журавля. Еще сегодня утром смерть сжимала его в своих объятиях. Но она не вырвала его духа из тела, ибо я стоял на одной стороне его постели, а Азраил по другую сторону. Не мешай мне, не спрашивай меня больше ни о чем, но жди решительной минуты и с молчаливым удивлением смотри на чудесное исцеление.

Взяв в руки астрлябию, этот оракул восточных мудрецов, лекарь с серьезным видом стал делать свои вычисления. Когда настала пора вечерних молитв, он опустился на колени, повернувшись лицом к Мекке, и начал произносить вечерние молитвы, которыми мусульмане заканчивают трудовой день. Тем временем архиепископ и английский барон смотрели друг на друга, и взгляд их выражал презрение и негодование, однако ни один не решался прерывать эль-хакима в его молитвах, какими бы святотатственными они их ни считали.

11

Это означало, что его познания могли быть приобретены в течение ста лет. (Прим. автора.)

Распростертый на земле араб поднялся и, войдя в хижину, где лежал больной, вынул из маленькой серебряной шкатулки губку, очевидно смоченную какой-то ароматной жидкостью. Он приложил ее к носу спящего, тот чихнул, проснулся и мутными глазами посмотрел вокруг себя. Когда он, почти голый, приподнялся на постели, он был похож на привидение. Сквозь кожу были видны его кости и хрящи, как будто они никогда не были облечены плотью. Длинное лицо было изборождено морщинами, его блуждающий взгляд постепенно принимал более осмысленное выражение. Видимо, он отдавал себе отчет в присутствии высоких посетителей, так как слабым жестом пытался в знак уважения обнажить голову, стараясь глухим голосом позвать своего хозяина.

— Узнаешь ты нас, вассал? — спросил лорд Гилсленд.

— Не совсем, милорд, — слабым голосом отвечал оруженосец. — Я спал так долго и видел столько снов. Но я узнаю в вас знатного английского лорда, это видно по красному кресту. А это святой прелат; я прошу благословить меня, бедного грешника.

— Даю тебе его: *Benedictio Domini sit vobiscum* ¹², — сказал прелат, осеняя его крестным знаменем, но не приближаясь к постели больного.

— Ваши глаза — свидетели, — сказал араб, — лихорадка прекратилась. Говорит он спокойно и разумно, пульс бьется так же ровно, как ваш, попробуйте сами.

Прелат отклонил это предложение, но Томас Гилсленд, желая довести опыт до конца, взял руку больного и убедился, что лихорадка действительно исчезла.

— Поразительно, — сказал рыцарь, посмотрев на архиепископа, — этот человек, несомненно, выздоровел. Я должен сейчас же отвести лекаря в шатер короля Ричарда. Как вы думаете, ваше преосвященство?

— Подождите немного, дайте мне закончить одно лечение, прежде чем начать другое, — сказал араб. — Я пойду с вами, как только дам пациенту вторую чашку этого священного эликсира.

Сказав это, он достал серебряную чашку и, налив в нее воды из стоявшей около постели тыквы, взял маленький, отороченный

12

Да будет с вами благословение божье (лат.)

серебром вязаный мешочек, содержимое которого присутствующие не могли разглядеть. Погрузив его в чашку, он в течение пяти минут молча смотрел на воду. Как им показалось, сначала слышалось какое-то шипение, но оно скоро исчезло.

— Выпей, — сказал лекарь больному, — усни и проснись уже совсем здоровым.

— И таким простым питьем ты хочешь вылечить монарха? — спросил архиепископ Тирский.

— Я излечил нищего, как вы можете видеть, — отвечал мудрец. — Разве короли Франгистана сделаны из другого теста, чем самые последние из их подданных?

— Отведем его немедленно к королю, — сказал барон Гилсленд. — Он показал, что обладает секретом, чтобы вернуть Ричарду здоровье. Если это ему не удастся, я отправлю его туда, где ему не поможет никакая медицина.

Как только они собрались уходить, больной, пересиливая слабость, воскликнул:

— Святой отец, благородный рыцарь и вы, мой добрый лекарь, если мне нужно уснуть, чтобы поправиться, то скажите, умоляю вас, что случилось с моим хозяином?

— Он отправился в дальний путь, друг мой, — ответил прелат, — с печальным поручением и задержится на несколько дней.

— Зачем обманывать бедного малого? — сказал барон Гилсленд. — Друг мой, хозяин твой вернулся в лагерь, и ты его скоро увидишь.

Больной как бы в знак благодарности воздел исхудалые руки к небу и, не в силах больше противостоять действию снотворного эликсира, погрузился в спокойный сон.

— Вы более искусный лекарь, чем я, сэра Томас, — сказал прелат, — такая успокоительная ложь лучше для больного, чем неприятная истина.

— Что вы хотите этим сказать, уважаемый лорд? — сказал де Во раздраженно. — Вы думаете, я способен солгать, чтобы спасти десяток таких жизней, как его?

— Вы говорите, — отвечал архиепископ с видимыми признаками беспокойства, — что хозяин оруженосца, этот рыцарь Спящего Леопарда, вернулся?

— Да, он вернулся, — сказал де Во. — Я говорил с ним всего несколько часов назад. Этот ученый лекарь приехал с ним вместе.

— Святая дева Мария! Что же вы мне ничего не сказали о его возвращении? — сказал архиепископ в явном смущении.

— Разве я не сказал, что рыцарь Леопарда вернулся вместе с этим лекарем? Я думал, что говорил вам об этом, — небрежно проронил де Во.

— Но какое значение имеет его возвращение для искусства лекаря и для выздоровления его величества?

— Большое, сэр Томас, очень большое, — сказал архиепископ, стиснув кулаки, топнув ногой и невольно выражая признаки нетерпения. — Где же он теперь, этот рыцарь? Боже мой, здесь может произойти роковая ошибка.

— Его слуга, — сказал де Во, удивляясь волнению архиепископа, — вероятно, может сказать нам, куда ушел его хозяин.

Мальчика позвали. На еле понятном языке он в конце концов объяснил, что какой-то воин разбудил его хозяина и повел в королевский шатер незадолго до их прихода. Беспокорство архиепископа, казалось, достигло апогея, и де Во это ясно понял, хоть и не отличался наблюдательностью и, подозрительностью. По мере того как росла его тревога, все сильнее становилось желание побороть ее и скрыть от окружающих. Он поспешно простился с де Во. Тот удивленно посмотрел ему вслед, молча пожал плечами и повел арабского лекаря в шатер короля Ричарда.

Глава IX

*Он — князь врачей: чума, и лихорадка,
И ревматизм, лишь взглянут на него,
Вмиг жертву выпускают из когтей.*

Неизвестный автор

Полный тревожных дум, барон Гилсленд медленно шел к королевскому шатру. У него не было веры в свои способности — доверял он им только на поле битвы. Сознавая, что не обладает особенной остротой ума, он довольствовался тем, что принимал

события лишь как должное там, где другой, с более живым разумом, старался бы вникнуть в суть дела или по крайней мере поразмыслить о нем. Но даже ему показалось странным, что такое незначительное событие, как путешествие какого-то нищего шотландского рыцаря, могло так внезапно отвлечь внимание архиепископа от удивительного исцеления, свидетелями которого они были и которое сулило возвращение здоровья и Ричарду. Среди людей благородной крови Томас Гилсленд не смог бы назвать человека более ничтожного и презренного, чем Кеннет. Несмотря на привычку равнодушно относиться ко всяким мимолетным событиям, он напрягал свой ум, стараясь уяснить себе причину столь странного поведения прелата.

Наконец у него блеснула мысль, что все это могло быть заговором против короля Ричарда, исходящим из лагеря союзников: не было ничего невероятного в том, что архиепископ, которого некоторые считали хитрым и неразборчивым в средствах политиком, мог принимать в нем участие. По его мнению, лишь его властелин обладал высшими нравственными качествами. Ведь Ричард являл собою цвет рыцарства, он возглавлял все христианское воинство и исполнял все заповеди церкви. Дальше этого представления де Во о совершенстве не шли. Все же он знал, что по воле судьбы эти благородные свойства характера его господина не только рождали уважение и преданность, но также, хотя и совершенно незаслуженно, навлекали на него упреки и даже ненависть. В том же самом стане среди монархов, связанных присягой крестоносцев, было много таких, которые с радостью отказались бы от надежды победить сарацин, лишь бы погубить или хотя бы унижить Ричарда, короля английского.

«Поэтому, — сказал себе барон, — нет ничего невероятного в том, что исцеление — или мнимое исцеление — шотландского оруженосца эль-хакимом лишь хитрый обман, к которому причастен рыцарь Леопарда и где может быть замешан архиепископ Тирский».

Однако такое предположение не легко было согласовать с беспокойством, которое выказал архиепископ при известии о неожиданном возвращении крестоносца в стан. Но де Во прислушивался лишь к голосу своих предрассудков, который подсказывал ему, что хитрый итальянский прелат, коварный

шотландец и лекарь-мусульманин — заговорщики, от которых можно ожидать лишь зла, а не добра. Он решил высказать напрямик свои соображения королю, ум которого ставил почти так же высоко, как его доблесть.

Между тем дальше все пошло совсем не так, как думал Томас де Во. Едва он покинул королевский шатер, как Ричард под влиянием свойственной ему нетерпеливости, усугубленной лихорадкой, начал выражать недовольство его отсутствием и настойчивое желание, чтобы он скорее вернулся. Он уже не способен был сам бороться с раздражительностью, которая усиливала его недуг. Он надоедал своим приближенным, требуя развлечений: но ни требник священника, ни рыцарские романы чтеца, ни даже арфа любимого менестреля — ничто не могло успокоить его. Наконец часа за два до захода солнца, задолго до того времени, когда он мог бы ожидать доклада о результате лечения, предпринятого этим мавром или арабом, он послал за рыцарем Леопарда, решив получить от него более подробный отчет как о причине его отсутствия из стана, так и о встрече со знаменитым лекарем.

Следуя повелению монарха, шотландский рыцарь вошел в королевский покой с видом человека, привыкшего к такой обстановке. Английскому королю он был почти неизвестен, даже по виду. Держась с достоинством, хотя пользуясь своим знатным происхождением, верный в тайном поклонении своей даме сердца, он не упускал случая, когда щедрость и гостеприимство открывали доступ ко двору монарха тем, кто занимал известное положение в рыцарстве. Король пристально смотрел на приближавшегося Кеннета. Рыцарь преклонил колено, затем поднялся и встал так, как подобает в присутствии монарха, в позе почтительного внимания, но отнюдь не покорности или слепого подчинения.

— Тебя зовут, — сказал король, — Кеннет, рыцарь Леопарда? Кто посвятил тебя в рыцари?

— Я был посвящен мечом Вильгельма Льва, короля Шотландского, — ответил шотландец.

— Оружие, — сказал король, — достойное этой почетной церемонии, и плечо, которого оно коснулось, вполне заслужило эту честь. Мы видели, как ты проявлял свою рыцарскую доблесть в пылу сражения, в самых опасных схватках. Ты уже давно мог бы

узнать, что мы ценим твои заслуги, если бы не твое высокомерие. Твоя гордость так непомерна, что лучшей наградой за твои подвиги может быть лишь прощение твоих проступков! Что ты на это скажешь?

Кеннет хотел было заговорить, но не мог связно выразить свои мысли. Сознание несоответствия между его скромным положением и высоким положением его дамы сердца, а также пронзительный, соколиный взгляд, которым, как ему казалось, Львиное Сердце проникал в самую глубину его души, приводили его в замешательство.

— Но хотя воины, — продолжал король, — обязаны подчиняться приказам, а вассалы — быть почтительны к своим властителям, мы могли бы простить храброму рыцарю еще больший проступок, чем борзого пса, хотя это и запрещено нашим особым указом.

Ричард не спускал глаз с лица шотландца и, увидев, какое облегчение испытал рыцарь при том обороте, который он придал своей обвинительной речи, едва мог сдержать улыбку.

— С вашего позволения, милорд, — сказал шотландец, — ваше величество должны снисходительно отнестись к нам, бедным благородным шотландцам. Мы ведь находимся вдали от дома, у нас скудные доходы, и мы не можем жить на них, как ваши богатые лорды, пользующиеся кредитом у ломбардцев. Если мы иногда и съедим кусок сушеной оленины с нашими овощами и ячменными лепешками, то тем больше почувствуют сарацины наши удары.

— Ты не нуждаешься в моем разрешении, — сказал Ричард, — ведь Томас де Во, который, как и все мои приближенные, поступает так, как ему заблагорассудится, уже дал тебе разрешение на охоту с борзой и с соколом.

— Только с борзой, если вам угодно знать, — сказал шотландец, — но если вашему величеству угодно будет пожаловать мне разрешение охотиться также с соколом и если бы вы пожелали одарить меня соколом на руку, я надеюсь, что мог бы доставить к королевскому столу отборную дичь.

— Боюсь, что, дай тебе сокола, — сказал король, — ты едва ли дождался бы разрешения охотиться. Я знаю, что о нас, потомках династии Анжу, говорят, что мы так же сурово караем нарушение

нашего охотничьего устава, как измену нашей короне. Однако храбрым и достойным людям мы могли бы простить как тот, так и другой проступок. Но довольно об этом. Я хочу знать, сэр, зачем и с чьего разрешения вы предприняли путешествие к Энгаддийской пещере, что в пустыне у Мертвого моря?

— По повелению Совета монархов святого крестового похода, — отвечал рыцарь.

— А кто посмел дать такой приказ, когда я, не последний в этом союзе, ничего не знал об этом?

— Не подобало мне, ваше величество, — сказал шотландец, — расспрашивать о таких вещах. Я, воин креста, несу службу под знаменем вашего величества, гордясь разрешением ее нести. Но все же я один из тех, кто возложил на себя символ креста для защиты прав христиан, и, чтобы отвоевать гроб господень, я обязан беспрекословно подчиняться приказам государей и военачальников, стоящих во главе этого святого похода. Вместе со всем христианским миром я печалюсь о том, что ваша болезнь — надеюсь, не надолго — лишает вас возможности участвовать в советах, где голос ваш звучит с такой силой. Однако как воин я обязан подчиняться тем, на кого возлагается законное право повелевать, иначе я подал бы плохой пример христианскому войску.

— Ты говоришь правильно, — сказал король Ричард, — и вина ложится не на тебя, а на тех, с кем я сведу счеты, если небу угодно будет, чтобы я встал с этого проклятого ложа страдания и бездействия. В чем заключалась твоя миссия?

— Мне кажется, ваше величество, — ответил Кеннет, — лучше было бы спросить об этом тех, кто меня послал и кто мог бы объяснить, зачем я был послан. Я же лишь вкратце могу рассказать о своем путешествии.

— Не криви душой, шотландец, если хочешь сохранить свою жизнь, — сказал рассерженный монарх.

— Когда я давал обет участвовать в этом походе, милорд, — твердо отвечал рыцарь, — я меньше всего думал о сохранении своей жизни и больше заботился о своей бессмертной душе, чем о своем брэнном теле.

— Поистине ты храбрый малый, — сказал король Ричард. — Я люблю шотландский народ, мой благородный рыцарь: он смел,

хоть и упрям; на шотландцев можно положиться, хоть иногда обстоятельства заставляли их хитрить. И с вашей стороны я заслуживаю признательности, ибо добровольно сделал для вас то, что вы не могли бы вырвать у меня с помощью оружия и тем более у моих предшественников. Я восстановил крепости Роксбург и Берик, находившиеся в залоге у англичан, я восстановил ваши прежние границы, и, наконец, я отказался от обязательств с вашей стороны приносить клятву верности английской короне, ибо это было навязано вам силой. Я стремился сделать из вас уважаемых и независимых друзей, тогда как прежние короли Англии старались лишь поработить непокорных и мятежных вассалов.

— Все это вы сделали, ваше величество, — сказал Кеннет, почтительно склонив голову. — Все это вы сделали, заключив договор с нашим государем в Кентербери. Поэтому я и множество других, более достойных шотландцев сражаемся против язычников под вашими знаменами. В противном случае мы бы нападали на ваши границы в Англии. Если нас теперь не много, то лишь потому, что мы не щадили своей жизни и погибали.

— Признаю, что все это правда, — сказал король. — Вы не должны забывать все то, что я сделал для вашей страны и что я — предводитель христианского союза. Я вправе знать о переговорах в среде моих союзников. Расскажите мне откровенно обо всем, что я имею право знать; я уверен, что от вас я скорее узнаю всю правду, чем от кого-либо другого.

— Раз вы настаиваете, милорд, — сказал шотландец, — я скажу вам всю правду. Я искренне верю, что ваши намерения, что касается главной цели вашего похода, откровенны и честны, чего нельзя сказать о других членах священного союза. Поэтому знайте, что мне было поручено при посредстве Энгаддийского отшельника, этого святого человека, уважаемого и защищаемого самим Саладином...

— ... предложить продолжить перемирие, не сомневаюсь в этом, — прервал его Ричард.

— Нет, клянусь святым Андреем, нет, мой повелитель, — сказал шотландский рыцарь, — но установить длительный мир и вывести наши армии из Палестины.

— Святой Георгий! — воскликнул удивленный Ричард. — Хоть и нехорошо я думал о них, но все же не мог представить, что

они унизят себя до такого позора. Скажите, сэр Кеннет, с каким чувством вы передали это послание?

— С горячим одобрением, милорд, — сказал Кеннет. — Когда мы потеряли нашего благородного вождя, под эгидой которого я надеялся на победу, я не видел, кто мог бы ему наследовать и, как он, вести нас к победе. Поэтому я считал, что лучше избежать поражения, заключив мир.

— А на каких условиях пришлось бы нам заключить этот благословенный мир? — спросил король Ричард, еле сдерживая душивший его гнев.

— Об этом мне не дано знать, милорд, — отвечал рыцарь Спящего Леопарда. — Я передал отшельнику послание в запечатанном пакете.

— А за кого вы принимаете этого почтенного отшельника: за дурака, сумасшедшего, изменника или святого? — спросил Ричард.

— Его дурачество притворное, государь, — отвечал хитрый шотландец,

— и я думаю, что он лишь хочет снискать благоволение и уважение со стороны неверных, которые считают такое средство ниспосланным с неба. Мне казалось, что это находит на него лишь случайно, и я не счел это за подлинное безумие, которое расстраивает ум.

— Тонкий ответ! — сказал монарх, снова откинувшись на постель. — Ну, а теперь — о его покаянии.

— Покаяние его, — продолжал Кеннет, — мне кажется искренним и является следствием угрызений совести из-за какого-то ужасного преступления, за которое, по его мнению, он осужден на вечное проклятие.

— А какова его политика? — спросил король Ричард.

— Мне сдается, милорд, — сказал шотландский рыцарь, — что он отчаялся в защите Палестины так же, как и в собственном спасении. Он считает, что должно только ждать чуда, в особенности в то время, когда рука Ричарда Английского перестала сражаться за это дело.

— Значит, трусливая политика этого отшельника схожа с политикой злосчастных монархов, которые, позабыв честь рыцарства и верность слову, проявляют решимость, лишь когда дело идет об отступлении, а не тогда, когда нужно идти против

вооруженных сарацин. Они предпочитают бежать и в своем бегстве топтать умирающего союзника!

— Позволю себе заметить, ваше величество, — сказал шотландский рыцарь, — что этот разговор может лишь усилить вашу болезнь — врага, которого христиане боятся больше, чем вооруженных полчищ сарацин.

Действительно, лицо короля Ричарда еще больше покраснело, жесты стали лихорадочно резкими. Стиснутые кулаки, вытянутые руки и блестящие глаза указывали на страдание как от физической боли, так и от душевных мук. Однако это волнение заставляло его продолжать разговор, пренебрегая страданием.

— Вы можете мне льстить, сэр, — сказал он, — по вы от меня не уйдете. Я должен узнать от вас больше того, что вы мне сказали. Вы видели мою царственную супругу, когда были в Энгадди?

— Мне кажется, что нет, милорд, — сказал Кеннет с видимым смущением: ему припомнилась ночная процессия в часовне на горе.

— Я спрашиваю, — сказал король более сурово, — были ли вы в часовне Энгаддийского монастыря и видели ли там Беренгарию, королеву Англии, и ее придворных дам, которые отправились туда в паломничество?

— Милорд, — сказал Кеннет, — я чистосердечно признаюсь вам, как на исповеди! В подземной часовне, куда отшельник привел меня, я видел женский хор, поклонявшийся святым реликвиям. Их лиц я не видел, а их голоса слышал только, когда они пели церковные гимны, и я не могу сказать, была ли среди них королева Англии.

— И ни одна из этих женщин не показалась вам знакомой?

Кеннет молчал.

— Я вас спрашиваю, — сказал Ричард, приподнимаясь и опираясь на локоть, — как рыцаря и джентльмена и по вашему ответу узнаю, как вы цените эти звания: была ли среди этих паломниц хоть одна знакомая вам женщина?

— Милорд, — сказал Кеннет не без колебания, — я могу только догадываться...

— Я тоже, — сказал король, угрюмо нахмутив брови. — Но довольно об этом! Вы — Леопард, сэр, но берегитесь львиной лапы. Лишь сумасшедший мог бы влюбиться в луну, но прыгать с

зубчатых стен высокой башни в сумасбродной надежде достичь далекого светила — это безумие самоубийцы.

В этот момент у входа в шатер послышался какой-то шум, и король, быстро меняя тон на более обычный, сказал:

— Довольно, идите. Поспешите к де Во и пришлите его сюда вместе с арабским лекарем. Моя жизнь доверяется султану! Если бы он только отрекся от своей ложной веры, я бы сам своим мечом помог ему прогнать эту французскую и австрийскую нечисть из его владений; я думаю, Палестина могла бы благоденствовать под его властью, как в те времена, когда цари ее были помазанниками самого неба.

Рыцарь Леопарда удалился. Затем камергер доложил, что его величество хотят видеть послы от совета.

— Хорошо, что они еще считают меня живым, — последовал ответ. — Кто эти уважаемые посланцы?

— Гроссмейстер ордена тамплиеров и маркиз Монсерратский.

— Наш французский собрат не любит посещать больных, — сказал Ричард. — Вот если бы Филипп был болен, я уж давно стоял бы у его постели. Джослин, приведи в порядок мою постель: она взбаламучена, как бурное море. Дай мне стальное зеркало, причеши гребнем волосы и бороду. Они и впрямь больше похожи на львиную гриву, чем на локоны христианина. Принеси воды.

— Милорд, — сказал дрожащим голосом камергер, — лекари говорят, что от холодной воды можно умереть...

— К черту лекарей! — ответил монарх. — Если они не могут меня вылечить, неужели ты думаешь, что я позволю им мучить меня? Ну вот, — сказал он, завершив омовение, — зови этих уважаемых посланцев. Я думаю, теперь они едва ли заметят, каким неряшливым сделала Ричарда болезнь.

Прославленный гроссмейстер ордена тамплиеров был высокий, худой, закаленный в сражениях воин, с тяжелым, но пронизательным взглядом и лицом, на котором бесчисленные темные замыслы оставили свои следы. Он стоял во главе этого необычайного союза, для членов которого сам орден был все, а люди — ничто. Орден этот, домогаясь лишь распространения своей власти с риском поколебать религию, для защиты которой это братство первоначально было основано, обвиняемый в ереси и колдовстве, хотя он состоял из христианских священников,

подозреваемый в секретном союзе с султаном, хотя дал присягу охранять святой храм, — весь этот орден, как и его глава гроссмейстер, являл собой полную загадку, перед которой содрогалось все. Гроссмейстер был облачен в пышные белые одежды, в руках он держал мистический жезл, своеобразная форма которого порождала много догадок и внушала подозрение, что знаменитое братство христианских рыцарей олицетворяло собою самые бесстыдные символы язычества.

Наружность Конрада Монсерратского была гораздо привлекательней, чем вид сопровождающего его смуглого и загадочного воина-монаха. Это был красивый мужчина старше средних лет, храбрый на полях сражений, рассудительный в совете, приветливый и веселый в часы досуга. С другой стороны, его обвиняли в непостоянстве, в мелком и эгоистическом честолюбии, в заботе об увеличении своих владений за счет латинского королевства в Палестине и, наконец, в тайных переговорах с Саладином в ущерб христианским союзникам.

По окончании обычных приветствий этих высоких особ и учтивого ответа короля Ричарда маркиз Монсерратский начал говорить о причинах их визита: они, по его словам, были посланы обеспокоенными королями и принцами, которые составляли Совет крестоносцев, чтобы «осведомиться о здоровье их могущественного союзника, храброго короля Англии».

— Нам известно, насколько важным для общего дела считают члены совета вопрос о нашем здоровье, — отвечал король, — и как они страдали, подавляя в себе любопытство в течение четырнадцати дней, боясь, без сомнения, усилить нашу болезнь, если они обнаружат свое беспокойство.

Так как этот ответ прервал поток красноречия маркиза и привел его в замешательство, его более суровый товарищ возобновил разговор и серьезным и сухим тоном, насколько это допускал высокий сан того, к кому он обращался, вкратце сообщил королю, что они пришли от имени совета и всего христианского мира просить, чтобы он не давал пробовать на себе снадобья лекаря-язычника, который, как говорят, послан Саладином, пока совет подтвердит или отвергнет подозрения, которые вызывает эта личность.

— Гроссмейстер святого и храброго ордена тамплиеров и вы,

благородный маркиз Монсерратский, — ответил Ричард, — если вам угодно будет пройти в соседний шатер, вы увидите, какое значение мы придаем дружественным увещаниям наших королевских соратников в этой священной войне.

Маркиз и гроссмейстер удалились. Через несколько минут после этого в шатер вошел восточный лекарь в сопровождении барона Гилсленда и Кеннета.

Барон, однако, немного задержался, прежде чем войти, видимо, отдавая приказание стоящим перед шатром стражникам.

Входя, арабский лекарь по восточному обычаю приветствовал маркиза и гроссмейстера, на высокое звание которых указывали их одежда и осанка.

Гроссмейстер ответил приветствием с холодным презрением, маркиз — с обычной вежливостью, с какой он неизменно обращался к людям различных званий и народностей. Воцарилось молчание. Ожидая прихода де Во, шотландский рыцарь не счел себя вправе войти в шатер английского короля.

Тем временем гроссмейстер с суровым видом обратился к мусульманину:

— Неверный! Хватит ли у тебя смелости показать свое искусство на помазаннике божьем — повелителе христианского войска?

— Солнце аллаха, — отвечал мудрец, — светит как на назарейян, так и на правоверных, и служитель его не смеет делать различия между ними, коль скоро он призван применить свое искусство исцеления.

— Неверный хаким, — сказал гроссмейстер, — или как там тебя, некрещеного слугу тьмы, еще называют, ты должен помнить, что будешь разорван дикими конями, если король Ричард умрет от твоего лечения.

— Суровая расправа, — отвечал лекарь. — Но ведь я могу пользоваться только человеческими средствами, а исход врачевания записан в книге света.

— Нет, уважаемый и храбрый гроссмейстер, — сказал маркиз Монсерратский, — не забывайте, что этот ученый муж незнаком с решением нашего совета, принятым во славу божью и ради благополучия его помазанника. Да будет тебе известно, мудрый лекарь, в искусстве которого мы не сомневаемся, что для тебя было

бы лучше всего предстать перед советом нашего союза и разъяснить мудрым и ученым лекарям способ лечения, которым ты собираешься исцелить нашего высокопоставленного больного. Так ты избежнешь опасности, которой легко можешь подвергнуться, беря на себя ответственность в таком важном деле.

— Милорды, — сказал эль-хаким, — я вас прекрасно понял. Но наука так же имеет своих поборников, как и ваше военное искусство, и даже своих мучеников, подобно мученикам за веру. Мой повелитель султан Саладин приказал мне исцелить короля назарейн, и, с благословения пророка, я подчиняюсь его приказаниям. Если меня постигнет неудача, вы пустите в ход мечи, жаждущие крови правоверных, и я подставлю свое тело под удары вашего оружия. Но я не буду спорить ни с одним несведущим о достоинствах снадобий, которыми я научился пользоваться по милости пророка, и прошу вас без промедления допустить меня к больному.

— Кто говорит о промедлении? — сказал барон де Во, поспешно входя в шатер. — У нас их и так было немало. Приветствую вас, лорд Монсерратский, и вас, храбрый гроссмейстер, но мне нужно провести этого ученого лекаря к постели моего повелителя.

— Милорд, — сказал маркиз на франко-норман-ском наречии, или на языке уи, как его тогда называли. — Известно ли вам, что мы пришли сюда, чтобы от имени Совета монархов и принцев-крестоносцев обратить ваше внимание на тот большой риск, который возникнет, если язычнику и восточному лекарю будет позволено играть драгоценным здоровьем вашего повелителя короля Ричарда.

— Благородный маркиз, — резко ответил англичанин, — я не могу сейчас тратить много слов и не имею ни малейшего желания выслушать их. Кроме того, я склонен больше доверять тому, что видели мои глаза, чем тому, что слышали мои уши. Я убежден, что этот язычник может излечить короля Ричарда, и я верю и надеюсь, что он сделает все возможное. Нам дорого время. Если бы сам Мухаммед — да будет он проклят богом! — стоял у порога шатра с тем же искренним намерением, как этот Адонбек эль-хаким, я считал бы грехом хоть на минуту удерживать его.

— Итак, прощайте, милорд.

— Но ведь сам король хотел, чтобы мы присутствовали при лечении, — сказал Конрад Монсерратский.

Барон пошептался с камергером, вероятно, чтобы узнать, правду ли сказал маркиз, и затем ответил:

— Милорды, если вы проявите достаточно терпения, вы можете войти с нами. Но если вы действием либо угрозами станете мешать этому искусному лекарю в исполнении его обязанностей, да будет вам известно, что, невзирая на ваше высокое положение, я силой выведу вас из шатра Ричарда. Знайте: я настолько уверовал в лекарства этого человека, что даже если бы Ричард отказался их принять, я думаю, что нашел бы в себе силы заставить его сделать это даже против его желания. Иди вперед, эль-хаким.

Последние слова были сказаны на лингва-франка; лекарь немедленно подчинился. Гроссмейстер угрюмо посмотрел на бесцеремонного старого воина, но, обменявшись взглядом с маркизом, постарался смягчить суровое выражение лица, и оба пошли за де Во и арабом в шатер, где лежал Ричард. Последний ждал их с нетерпением, с каким больной всегда прислушивается к шагам своего лекаря. Сэр Кеннет, присутствию которого не противились, хотя никто и не просил его уйти, чувствовал, что обстоятельства дают ему право следовать за этими высокопоставленными лицами; однако, помня о своем подчиненном положении и ранге, он держался в некотором отдалении.

Как только они вошли, Ричард воскликнул:

— Ох, добрые друзья пришли посмотреть, как Ричард совершит прыжок во мрак! Мои благородные союзники, приветствую вас, представителей нашего братства. Или Ричард будет опять среди вас в своем прежнем виде, или вы опустите в могилу его бранные останки. Де Во, останусь я жив или умру, прими благодарность твоего государя. Здесь есть еще кто-то, но я плохо вижу, лихорадка затуманила мне глаза... Храбрый шотландец, который хотел без лестницы взобраться на небо, приветствую также и его., Подойди ко мне, сэр хаким, и... к делу, к делу!

Лекарь, уже успевший узнать о различных симптомах болезни короля, долго и с большим вниманием щупал его пульс. Все кругом стояли молча, ожидая с затаенным дыханием. Мудрец

наполнил чашку ключевой водой и погрузил в нее небольшой красный мешочек, который он вытащил из-за пазухи. Когда он решил, что вода достаточно насыщена, он хотел было предложить ее монарху, но последний воспротивился, сказав:

— Подожди минуту. Ты испробовал мой пульс. Позволь мне положить палец на твою руку. Я, как подобает настоящему рыцарю, тоже кое-что смыслю в твоём искусстве.

Не задумываясь, араб дал свою руку, и его длинные, тонкие темные пальцы на одно мгновение скрылись, как бы утонув в широкой ладони короля Ричарда.

— Пульс его бьется ровно, как у ребенка, — сказал король. — Не таков он у тех, кто собирается отравить государя. Де Во, останемся мы жить или умрем, отпусти этого хакима с честью и с миром. Передай, приятель, наш привет благородному Саладину. Если мне суждено умереть, я умру с верой в его честность, останусь жить — сумею отблагодарить его как подобает воину.

Затем он приподнялся, взял в руку чашу и, обернувшись к маркизу и гротмейстеру, сказал:

— Запомните мои слова, и пусть царственные собратья выпьют кипрского вина за мое здоровье. Пью за бессмертную славу того крестоносца, который первым вонзит копье или меч в ворота Иерусалима, и да будет покрыт позором и вечным бесчестьем тот, кто повернет вспять от начатого дела и бросит плуг, за который взялась его рука.

Он залпом осушил чашу до дна и передал ее арабу, откинувшись на подушки, как бы обессиленный. Затем лекарь выразительным жестом дал понять, чтобы все покинули шатер, за исключением де Во, которого никакие увещания не могли заставить отойти от больного, Шатер опустел.

Глава X

*Теперь я тайную раскрою книгу
И к вашему, как видно, огорченью
Прочту о важном и опасном деле.
«Генрих IV», ч. I*

Маркиз Монсерратский и гроссмейстер ордена тамплиеров стояли перед королевским шатром, где произошла вышеописанная сцена, глядя на стражу со стрелами и алебардами, поставленную у шатра, чтобы никто не потревожил спящего монарха. Молча, опустив угрюмые лица и склоняя оружие, словно на похоронах, стражники ступали так осторожно, что не было слышно ни шума щитов, ни звона мечей, несмотря на то что вокруг шатра непрерывно сновали вооруженные воины. Когда знатные посетители проходили мимо их рядов, воины с глубоким почтением склоняли перед ними свое оружие, ничем не нарушая тишину.

— Видно, приуныли эти собаки островитяне, — произнес гроссмейстер, обращаясь к Конраду, когда они миновали стражу Ричарда. — Какое шумное веселье царило раньше перед этим шатром! Только и слышен был лязг железа, удары мяча, борьба, хриплые песней, звон кубков и бутылей, как будто эти дюжие йомены справляли сельский храмовой праздник, собравшись вокруг майского дерева вместо королевского знамени.

— Мاستифы — порода преданная, — сказал Конрад, — и их хозяин король снискал их любовь тем, что готов бороться, спорить, пировать со своими любимцами, как только на него найдет веселье.

— Он полон причуд и веселья, — сказал гроссмейстер. — Вы слышали, какой заздравный тост он произнес вместо молитвы, осушая свою чашу?

— Он нашел бы этот напиток слишком крепким и пряным, — сказал маркиз, — если бы Саладин был похож на прочих турок, носящих тюрбан и обращающих лица к Мекке при криках муэдзина. Но Саладин только притворяется верным, честным и великодушным, как будто эта некрещеная собака может подражать христианским добродетелям рыцаря. Говорят, что он обратился к Ричарду с просьбой, чтобы его посвятили в рыцари.

— Святой Бернард! — воскликнул гроссмейстер. — Тогда остается только скинуть пояса и шпоры, сэра Конрад, и уничтожить наши гербы, если эта высочайшая честь христианства будет оказана некрещеному турку, не стоящему и десяти пенсов.

— Вы слишком низко цените султана, — отвечал маркиз, — но, хоть он и красивый мужчина, я видел еще более красивого язычника, проданного в рабство за сорок пенсов.

Тем временем они приблизились к своим коням, Находившимся недалеко от шатра, где они гарцевали среди блестящей свиты оруженосцев и пажей. Помолчав, Конрад предложил воспользоваться прохладой вечера, отпустить свиту и коней и пройти до своих шатров по широко раскинувшемуся христианскому лагерю. Гроссмейстер согласился, и они пошли пешком, как бы по молчаливому уговору минуя более населенные части палаточного городка, по широкой эспланаде между шатрами и наружными укреплениями, где могли тайно вести беседу, незамеченные никем, кроме караульных, мимо которых они проходили.

Разговор шел о военных делах и приготовлениях к защите лагеря, но, видимо, он мало интересовал собеседников и скоро прекратился. Воцарилось длительное молчание. Его нарушил маркиз Монсерратский: он вдруг остановился, как человек, принявший внезапное решение. Всмотриваясь в неподвижное и мрачное лицо гроссмейстера, он наконец обратился к нему с такими словами:

— Если это совместимо с вашим достоинством и священным саном, уважаемый сэра Жиль Амори, я бы просил вас хоть раз приподнять темное забрало и побеседовать с другом с открытым лицом.

Тамплиер улыбнулся.

— Есть светлые маски, — сказал он, — как и темные забрала, но и те и другие одинаково скрывают естественное выражение лица.

— Будь по-вашему, — сказал маркиз, коснувшись рукой подбородка и быстро отдернув ее, как бы срывая с себя маску. — Вот и я без маски. А теперь — что вы думаете о судьбе вашего ордена и об исходе крестового похода?

— Вы срываете покрывало с моих мыслей, не обнаруживая

своих, — сказал гроссмейстер. — Я отвечу вам притчей, которую слышал от одного святого пустынного: некий земледелец молил небо о ниспослании дождя и роптал, когда дождь был не слишком сильным. В наказание за его нетерпение аллах, так рассказывал мне пустынный, направил реку Евфрат на его хижину, и он погиб вместе со всем своим скарбом, хоть его желание и было исполнено.

— Очень верно сказано, — сказал маркиз Конрад, — хоть бы океан поглотил девятнадцать частей из вооружения этих западных принцев! Оставшаяся часть могла бы лучше служить делу благородных иерусалимских христиан и спасти жалкие остатки Латинского иерусалимского королевства. Предоставленные самим себе, мы либо склонились бы перед бурей, либо, получив небольшую подмогу деньгами и войском, принудили бы Саладина уважать нашу честь и достоинство, согласиться на мир и даровать нам свое покровительство. Но этот крестовый поход грозит Саладину серьезными опасностями. Если они его минуют, он не потерпит, чтобы мы сохранили владения или княжества в Сирии, и, конечно, не допустит существования военных христианских братств, которые причинили ему столько зла.

— Да, но эти отважные крестоносцы, — сказал тамплиер, — могут достичь своей цели и водрузить крест на стенах Сиона.

— Но какую пользу принесет это ордену тамплиеров и Конраду Монсерратскому? — спросил маркиз.

— Вам это может принести пользу, — ответил гроссмейстер, — Конрад Монсерратский может стать Конрадом, королем Иерусалимским.

— Это звучит не так уж плохо, — сказал маркиз, — но все же это лишь звук пустой. Готфрид Бульонский может избрать терновый венец своей эмблемой. Должен сознаться, гроссмейстер, что мне очень нравится восточная форма правления: чистая и простая монархия должна состоять лишь из короля и подданных. Это самая примитивная структура: пастух и его стадо. А вся связующая внутренняя цепь феодальной зависимости создается искусственно: она слишком сложна. Я предпочел бы держать жезл моего убогого маркизата, но твердой рукой, и управлять им как я хочу, чем держать скипетр монарха, ограниченный и униженный гордыми феодальными баронами, владеющими землей под

защитой иерусалимского кодекса. ¹³ Король должен править свободно, гроссмейстер, а не под контролем: здесь — канава, там — забор, тут — феодальная привилегия, там — закованный в латы барон, о мечом в руке отстаивающий эти привилегии. Словом, я убежден, что притязания Гвидо де Лузиньяна на престол будут иметь предпочтение перед моими, если Ричард поправится и получит голос при избрании иерусалимского государя.

— Довольно, — сказал гроссмейстер. — Ты меня убедил в своей искренности. Другие могут быть того же мнения, но не всякий, за исключением Конрада Монсерратского, имеет смелость признаться, что же лает не восстановления Иерусалимского королевства, но хотел бы владеть частью его обломков, как варвары-островитяне, которые не пытаются спасти прекрасное судно от волн, а думают лишь о том, как бы обогатиться за счет кораблекрушения.

— Уж не хочешь ли ты донести о моем намерении? — спросил Конрад, подозрительно и сурово глядя на собеседника. — Так знай же, что мой язык никогда не выдаст моей головы, а моя рука не дрогнет, защищая их. Если хочешь, обвиняй меня публично, я готов защищаться, приняв вызов храбрейшего тамплиера, когда-либо бравшего в руки копьё.

— Ты наскакиваешь на меня, как сорвавшийся конь, — сказал гроссмейстер. — Но клянусь святым храмом, который наш орден поклялся защищать, что я, как верный товарищ, буду всегда советоваться с тобой.

— Каким это храмом? — спросил маркиз Монсерратский, который любил пошутить и часто забывал сдержанность и осторожность. — Ты клянешься храмом на горе Сион, который был построен царем Соломоном, или этим символическим, аллегорическим зданием, которое, как слышно, члены ваших тайных советов считают символом расширения вашего доблестного и почетного ордена?

Тамплиер бросил на него уничтожающий взгляд, но спокойно

13

Иерусалимский кодекс — сборник феодальных законов, составленный Готфридом Бульонским для правительства латинских владений в Палестине после отвоевания у сарацин. Он был составлен при участии патриарха и баронов, духовенства и мирян и, как говорит историк Гиббон, «является ценным памятником феодального законодательства, основанного на принципах свободы, характерных для этой системы». (Прим. автора.)

ответил:

— Каким бы храмом я ни клялся, будь уверен, маркиз, моя клятва священна. Хотел бы я знать, как связать тебя такой же клятвой.

— Клянусь моей графской короной, — сказал, смеясь, маркиз, — которую я надеюсь до окончания этих войн обратить во что-нибудь более драгоценное. Эта легкая корона холодит мой лоб. Теплая герцогская корона лучше бы охраняла его от этого ночного ветерка, что сейчас дует, а королевская корона, отороченная теплым горностаем и бархатом, была бы еще лучше. Одним словом, наши общие интересы связывают нас. И не подумай, лорд-гроссмейстер, что если эти государи завоюют Иерусалим и посадят своего короля, они потерпят существование вашего ордена, а также моего жалкого маркизата. Нам не удержать независимость, которой мы теперь пользуемся. Клянусь пресвятой девой — этого не будет. Ведь тогда гордые рыцари Святого Иоанна должны будут опять накладывать пластыри и лечить чумные язвы в госпиталях. А вы, могучие и почтенные рыцари ордена тамплиеров, должны будете стать простыми воинами, спать втроем на жалкой постели, садиться по двое на одного коня, словом — жить по старому обычаю, запечатленному на вашей печати.

— Достоинства, привилегии и богатство нашего ордена избавят нас от унижения, которым вы нам угрожаете, — с гордостью возразил тамплиер.

— В этом и заключается ваше несчастье, — сказал Конрад Монсерратский, — и вы, досточтимый гроссмейстер, как и я, знаете, что если союзные государи одержат верх в Палестине, первым делом они постараются сломить независимость вашего ордена. Если его святейшество папа вам не покровительствовал бы и крестоносцы не нуждались бы в вашей помощи при завоевании Палестины, это давно бы уже произошло. Одержите они победу, и вас вышвырнут вон, как осколки сломанного копья за пределы турнирной арены.

— Может быть, и есть доля правды в том, что вы говорите, — сказал тамплиер, хмуро улыбаясь, — но на что мы могли бы надеяться, если союзники отступят со своими войсками и оставят Палестину во власти Саладина?

— Уверенный в своем могуществе, — отвечал Конрад, — султан согласился бы отдать в качестве лена свои обширные владения, чтобы иметь хорошо вооруженных франкских всадников. В Египте и Персии сотня таких иноземных воинов, приданная его легкой кавалерии, обеспечила бы победу над самым страшным противником. Но такая зависимость была бы лишь временной (может быть, лишь при жизни этого предприимчивого султана), но ведь на Востоке империи растут как грибы. Предположим, что он умрет, а мы будем усиливаться благодаря постоянному притоку смелых и отважных воинов из Европы. Что бы только мы ни создали, избавившись от монархов, которые затмевают нас своим величием. И если они останутся здесь и успешно закончат поход, они всегда будут держать нас в унижении и навяжут нам вечную зависимость.

— Вы прекрасно все это говорите, маркиз, — сказал гроссмейстер, — и ваши слова находят отзвук в моем сердце. Но мы должны быть осторожны: мудрость Филиппа Французского не уступает его доблести.

— Верно! И потому нетрудно будет убедить его отказаться от участия в походе, к которому он так опрометчиво примкнул, подчиняясь мимолетному порыву или уговорам своих приближенных. Он завидует королю Ричарду, своему заклятому врагу, и жаждет вернуться, чтобы осуществить свои честолюбивые замыслы ближе к Парижу, чем к Палестине. Любой благовидный предлог послужит ему поводом, чтобы сойти со сцены, ибо здесь он лишь попусту тратит силы своего королевства.

— А эрцгерцог австрийский? — спросил тамплиер.

— Что касается эрцгерцога, — отвечал Конрад, — то самодовольство и глупость приведут его к тому же решению, что и хитрость и мудрость Филиппа. Он считает, что с ним поступили неблагородно, потому что людская молва — и даже его собственные миннезингеры ¹⁴ — только и восхваляют короля Ричарда, которого он боится и ненавидит и несчастьем которого он радовался бы, подобно тому, как трусливые дворняжки, видя, что волк схватил ту, что впереди, скорее сами схватят ее сзади, чем придут ей на помощь. Все это я говорю, чтобы ты понял, как

14

Так называли германских менестрелей. (Прим. автора.)

искренне я желаю, чтобы этот союз распался и страна освободилась бы от этих великих монархов со всем их войском. И ты отлично знаешь и видишь сам, что все эти владетельные и могущественные монархи, за исключением одного, горят желанием заключить с султаном мир.

— Согласен, — сказал тамплиер. — Слеп был бы тот, кто не заметил бы этого во время последних обсуждений. Но приподними еще немного свою маску и расскажи, где кроется истинная причина того, что ты навязал совету этого северного англичанина, или шотландца, или как там еще называют этого рыцаря Леопарда, для передачи мирных предложений?

— Тут есть веские причины, — заметил итальянец. — Как уроженец Британии, он удовлетворял требованиям Саладина, который знал, что он служит в войске Ричарда, но его шотландское происхождение и личное нерасположение к нему Ричарда делают маловероятным, чтобы наш посланец по возвращении мог получить доступ к постели больного короля, для которого его присутствие всегда было невыносимым.

— Какая хитрая политика, — сказал гроссмейстер. — Поверь мне, вам никогда не опутать итальянской паутиной этого неостриженного Самсона с Британских островов; хорошо, если вам удастся связать его новыми веревками, да и то самыми крепкими. Разве вы не видите, что посланец, которого вы избрали с таким старанием, привез нам лекаря, чтобы вылечить этого англичанина с львиным сердцем и бычьей шеей, дабы он мог продолжать свой крестовый поход? А коль скоро он еще раз будет способен ринуться вперед, кто из монархов посмеет остаться позади? Они должны из чувства стыда последовать за ним, хотя с таким же удовольствием они стали бы сражаться под знаменем сатаны.

— Не беспокойтесь, — сказал Конрад Монсерратский. — Прежде чем лекарь своими волшебными зельями вылечит Ричарда, и если только ему не будут помогать сверхъестественные силы, можно будет вызвать раздор между французом, австрийцем и его английскими союзниками, да так, что брешь эту уже нельзя будет заделать. Если Ричард и встанет с одра болезни, то он сможет командовать лишь своими собственными войсками, но никогда больше, как бы энергичен он ни был, он не сможет возглавить весь крестовый поход.

— Ты искусный стрелок, — сказал тамплиер, — но, Конрад Монсерратский, лук твой слишком слаб, чтобы домчать стрелу до такой цели.

Тут он остановился и подозрительно оглянулся, чтобы убедиться, что его никто не подслушивает. Взяв Конрада за руку, он крепко сжал ее, испытующе всматриваясь в лицо итальянца, и медленно произнес:

— Ричард встанет с постели, говоришь ты? Конрад, он не должен встать никогда!

Маркиз Монсерратский вздрогнул:

— Что? Так ты говоришь о Ричарде Английском, Львином Сердце, защитнике христианства?

Он побледнел, и колени у него задрожали. Тамплиер посмотрел на него холодным взглядом, и презрительная улыбка искривила его лицо.

— Знаешь, на кого ты похож в этот момент, сэр Конрад? Не на расчетливого и храброго маркиза Монсерратского, руководящего Советом монархов и вершащего судьбы империй, а на новичка, который, наткнувшись на заклинания в волшебной книге своего учителя, вызвал дьявола, совершенно не думая о нем, и теперь в ужасе стоит перед появившимся духом.

— Я согласен с тобой, — сказал Конрад, приходя в себя, — что если только нет другого надежного пути, то ты намекнул на тот, что ведет прямо к нашей цели. Но святая дева Мария! Мы станем проклятием всей Европы, проклятием каждого — от папы на его троне до жалкого нищего: сидя на церковной паперти, в лохмотьях, покрытый проказой, испивший до дна чашу людских страданий, он будет благословлять небеса, что имя его не Жиль Амори и не Конрад Монсерратский.

— Если так, — сказал гроссмейстер с прежним хладнокровием, — будем считать, что между нами ничего не было, что мы разговаривали во сне: проснулись, и видение исчезло.

— Оно никогда не исчезнет, — отвечал Конрад.

— Ты прав, — сказал гроссмейстер, — видения герцогских и королевских корон не легко отогнать.

— Ну что ж, — ответил Конрад, — прежде всего я попытаюсь посеять раздор между Австрией и Англией.

Они расстались. Конрад стоял, провожая взглядом

развевающийся белый плащ тамплиера; он медленно удалялся и скоро исчез в темноте быстро надвигавшейся восточной ночи. Гордый, честолюбивый, неразборчивый в средствах и расчетливый, маркиз Монсерратский не был жестоким по натуре. Слостолюбивый эпикуреец, он, как и многие люди этого типа, не любил причинять боль другим даже из эгоистических побуждений и чувствовал отвращение ко всяким проявлениям жестокости. Ему удалось также сохранить уважение к своей собственной репутации, которое иногда возмещало отсутствие более высоких принципов, поддерживающих репутацию.

«Да, я действительно вызвал демона и получил по заслугам, — подумал он, устремляя взгляд туда, где в последний раз мелькнул плащ тамплиера. — Кто бы мог подумать, что этот строгий аскет гроссмейстер, чье счастье и несчастье так слиты с его орденом, способен сделать для его процветания больше, чем могу я в заботах о своих выгодах? Правда, я хотел положить конец этому безумному крестовому походу, но я не дерзал и помыслить о том плане, который этот непреклонный жрец осмелился предложить мне. Но это самый верный, быть может, самый безопасный путь».

Таковы были размышления маркиза, когда его немой монолог был нарушен донесшимся издали звуком человеческого голоса, возвещавшего зычным тоном герольда: «Помни о гробе господнем! »

Призыв этот, словно эхо, передавался от одного часового к другому; повторять его входило в обязанности часовых, чтобы все крестоносцы помнили о той цели, ради которой они взялись за оружие. Хотя Конрад был знаком с этим обычаем и привык часто слышать этот предостерегающий голос, в эту минуту он так гармонировал с его собственными мыслями, что ему показалось, будто он слышит голос с неба, предостерегающий его от злодеяния, которое он замышлял. Он с тревогой посмотрел вокруг, словно, подобно древнему патриарху, хотя и при совсем других обстоятельствах, ожидал увидеть запутавшегося в чаще ягненка — замену той жертвы, которую его сообщник предлагал ему принести, но не всевышнему, а Молоху их собственного честолюбия. Озираясь кругом, он увидел широкие складки английского знамени, развевающегося под дуновением слабого ночного ветерка. Оно стояло на искусственном холме почти в

центре лагеря. Быть может, в древние времена какой-нибудь еврейский вождь или воин воздвиг этот памятник на месте, избранном им для своего вечного успокоения. Как бы то ни было, древнее его название было забыто; крестоносцы назвали его холмом святого Георгия, ибо на этой высоте английское знамя царило над знаменами всех знатных и благородных вельмож и даже королей, как бы олицетворяя верховную власть короля Англии.

В остром уме Конрада мысли рождались с быстротой молнии. Один взгляд на знамя сразу развеял его нерешительность. Быстрыми и твердыми шагами направился он к своему шатру с видом человека, решившего осуществить свой план. Он отпустил великолепную свиту, которая ждала его возвращения. Улегшись в постель, он повторил про себя уже несколько измененное намерение сначала испробовать более мягкие средства, прежде чем прибегнуть к более решительным.

— Завтра я буду сидеть за столом у эрцгерцога австрийского. Посмотрим, нельзя ли осуществить нашу цель, не прибегая к жестоким замыслам тамплиера.

Глава XI

*Известно в нашей северной стране,
Что знатность, мужество, богатство,
ум
Друг другу уступают по значенью.
Но зависть, что идет за ними вслед,
Как гончая за молодым оленем,
По очереди всех их низлагает.
Сэр Дэвид Линдсей*

Леопольд, великий герцог Австрии, был первым властителем этой благородной страны, обладавшим столь высоким титулом. Он получил герцогский титул в Германской империи благодаря близкому родству с императором Генрихом и владел самыми прекрасными провинциями, орошаемыми Дунаем. Репутация его была запятнана вероломным поступком, совершенным в связи с

походом в святую землю. Запятнал он свою репутацию, взяв Ричарда в плен, когда последний, переодетый и без всякой свиты, возвращался на родину через его владения. Поступок этот не соответствовал, однако, характеру Леопольда. Его скорее можно было назвать слабохарактерным и тщеславным, чем честолюбивым и деспотическим правителем. Его умственные способности гармонировали с его внешностью. Он был высок ростом, красив и силен, на белой коже его лица играл яркий румянец. Длинные светлые волосы ниспадали на плечи красивыми локонами. Однако в его походке была заметна какая-то неловкость, как будто ему не хватало силы, чтобы приводить в движение свое статное тело, и хотя он носил роскошные одежды, казалось, что они ему не к лицу. Как правитель он недостаточно сознавал свое достоинство; часто не зная, как заставить приближенных подчиняться своей власти, он прибегал к грубым выражениям и даже стремительным насильственным действиям, чтобы вновь завоевать потерянную территорию, которую легко можно было бы сохранить, выказав больше присутствия духа при возникновении конфликта.

Эти недостатки были видны не только окружающим: сам эрцгерцог иной раз с горечью сознавал, что не вполне подходит к несению своих высоких обязанностей. К этому надо добавить нередко мучившее его, иногда вполне оправданное подозрение, что окружающие не уважают его.

Впервые присоединившись к крестовому походу со своей великолепной свитой, Леопольд пожелал установить дружбу и близкие отношения с Ричардом. Для этого он предпринял действия, на которые английский король должен был ответить. Однако эрцгерцог, хоть и не лишенный храбрости, совершенно не обладал дерзновенной пылкостью характера Львиного Сердца, который искал опасности, как влюбленный юноша домогается благосклонности своей возлюбленной. Король очень скоро почувствовал к нему презрение.

Кроме того, Ричард, норманский властитель (а этому народу вообще была свойственна умеренность), презирал германцев за склонность к веселым пиршествам, а в особенности за их пристрастие к вину. По этим, а также другим личным причинам король Англии вскоре стал смотреть на австрийского принца с презрением, которое даже не старался скрывать или смягчать. Это

немедленно было замечено подозрительным Леопольдом, который ответил ему глубокой ненавистью. Вражда искусно разжигалась тайными интригами Филиппа Французского, одного из самых дальновидных монархов того времени. Последний, опасаясь вспыльчивого и властного характера Ричарда и видя в нем своего главного соперника, чувствовал себя оскорбленным тем, что Ричард, имевший владения на континенте и будучи поэтому вассалом Франции, относился по-диктаторски к своему сюзерену. Филипп старался укрепить свою партию и ослабить партию Ричарда, привлекая к себе менее влиятельных монархов-крестоносцев с целью убедить их не подчиняться королю Англии. Таковы были расчеты и настроения эрцгерцога австрийского, когда Конрад Монсерратский решил разжечь его ненависть к Англии и тем привести союз крестоносцев если не к распаду, то по крайней мере к ослаблению.

Для визита был избран полдень; он явился под предлогом преподнести эрцгерцогу кипрского вина, которое незадолго до того попало ему в руки, чтобы тот мог убедиться в его преимуществе перед венгерским и рейнским. В ответ на это эрцгерцог любезно пригласил Конрада к столу. Все было сделано, чтобы пиршество оказалось достойным единовластного государя. Но итальянец, обладавший утонченным вкусом, увидел в обилии яств, от которых ломился стол, не изысканность и блеск, а скорее обременительную роскошь.

Хотя германцы унаследовали воинственный и открытый характер своих предков, покоривших Рим, они сохранили немало следов былого варварства. Рыцарские обычаи и законы не достигли среди них утонченности, свойственной французским и английским рыцарям. Они не соблюдали строго предписанных правил поведения в обществе, которые свидетельствовали о высокой культуре и воспитании французов и англичан. Сидя за столом эрцгерцога, Конрад был ошеломлен, его со всех сторон оглушали звуки тевтонских голосов. Все это отнюдь не гармонировало с торжественностью роскошного банкета. Их платье тоже казалось ему вычурным. Многие из знатных австрийцев сохраняли свои длинные бороды и носили короткие куртки разных цветов, скроенные и разукрашенные по образцу, не принятому в Западной Европе.

Большое число приближенных, старых и молодых, прислуживало в шатре, иногда вмешиваясь в разговор. Они получали остатки пиршества и поглощали их тут же за спинами гостей. Было там и много шутов, карликов и менестрелей, которые вели себя шумнее и развязнее, чем это им было бы позволено в более светском обществе. Так как им разрешалось принимать участие в попойке (а вино там лилось рекой), то их бесчинства становились все более непристойными.

Во время пира, среди говора и суматохи; что делало шатер больше похожим на немецкую таверну во время ярмарки, эрцгерцогу все же прислуживали согласно этикету. Это говорило о том, что он стремился сохранить торжественный церемониал, к которому его обязывало высокое положение. Ему прислуживали с колена, и притом лишь пажи дворянского происхождения; еда подавалась ему на серебряных блюдах, токайское и рейнское вино он пил из золотого кубка. Его герцогская мантия была роскошно оторочена горностаем, а корона могла бы поспорить с королевской. Ноги его, обутые в бархатные сапоги, длиной вместе с острыми концами около двух футов, покоились на скамеечке из массивного серебра. Желая оказать внимание и честь маркизу Монсерратскому, он посадил его с правой стороны от себя. Тем не менее он обращал больше внимания на своего Spruchsprecher'a, то есть рассказчика, стоящего справа, позади него.

Этот человек был пышно одет в плащ и камзол из черного бархата, украшенный золотыми и серебряными монетами в память щедрых монархов, которые осыпали его подарками. В руках у него был короткий жезл, к которому тоже была прикреплена связка серебряных монет, соединенных кольцами. Им он бряцал, чтобы обратить на себя внимание, когда собирался что-то сказать. Его положение при дворе эрцгерцога было чем-то средним между личным советником и менестрелем. Он был то льстецом, то поэтом, то оратором; и тот, кто хотел снискать расположение герцога, обычно сперва старался заслужить благоволение этого рассказчика.

Чтобы избыток мудрости этой особы не слишком утомлял герцога, слева от него стоял его Hofnarr, или придворный шут, по имени Йонас Шванкер. Он так же звенел своим шутовским колпаком с колокольчиками и бубенчиками, как рассказчик своим

жезлом.

Слушая мудрые нелепости одного и смешные прибаутки другого, смеясь и хлопая в ладоши, хозяин их тщательно наблюдал за выражением лица своего знатного гостя, чтобы угадать, какое впечатление производят на него австрийское красноречие и остроумие. Трудно сказать, что больше содействовало общему веселью и что больше ценил герцог — мудрые изречения рассказчика или прибаутки шута. Во всяком случае, те и другие находили у гостей отменный прием. Иногда они перебивали друг друга, побрякивая своими бубенцами и бойко соперничая друг с другом. Но в общем они, видимо, были в приятельских отношениях и так привыкли подыгрывать друг другу, что рассказчик снисходил до разъяснения острот шута, чтобы сделать их более понятными, а шут не оставался в долгу, то и дело оживляя скучную речь рассказчика меткой шуткой.

Каковы бы ни были его настоящие чувства, Конрад был озабочен лишь тем, чтобы выражение его лица говорило о полном удовольствии от всего, что он слышит; он улыбался и усердно аплодировал, как и сам эрцгерцог, напыщенным глупостям рассказчика и тарабарщине шута. На самом деле он лишь настороженно выжидал того момента, когда тот или другой коснется темы, которая имела отношение к его плану.

Вскоре шут заговорил об английском короле. Он привык прохаживаться насчет Дикона, рыцаря Метлы (таков был непочтительный эпитет, которым он наградил Ричарда Плантагенета). Это всегда было неисчерпаемой темой насмешек. Рассказчик сначала молчал. Лишь когда Конрад обратился к нему, он заметил, что Тениста, или дрок, служит эмблемой скромности, и хорошо было бы, чтоб об этом помнил тот, кто носит это имя.

Намек на знаменитый герб Плантагенета стал, таким образом, достаточно очевидным, и Йонас Шванкер заметил, что только скромность возвышает человека.

— Воздадим честь всем, кто ее заслужил, — отозвался маркиз Монсерратский. — Мы все участвовали в этих походах и сражениях, и я думаю, что и другие монархи могли бы получить хоть долю славы, которую воздают ему менестрели и миннезингеры. Не споет ли кто-нибудь песню во славу эрцгерцога Австрии, нашего высокого хозяина?

Три менестреля, соперничая друг с другом, выступили вперед с арфами. Двух из них рассказчик, игравший роль церемониймейстера, с трудом заставил замолчать, когда воцарилась тишина. Наконец поэт, которому было отдано предпочтение, стал петь по-немецки строфы, которые можно перевести так:

Кто из рыцарей достоин
Здесь главою стать над всеми?
Лучший всадник, лучший воин,
Гордый, с перьями на шлеме!

Тут оратор, бряцая жезлом, остановил певца, чтобы дать объяснения тем, кто мог не понять, что под смелым полководцем подразумевается высокий хозяин. Полный кубок пошел по рукам, слышались приветственные возгласы: «*Noch lebe der Herzog Leopold!*» 15

Далее последовала еще одна строфа:

Не дивись, что поднимает
Австрия всех выше знамя:
Диво ль, что орел летает
Выше всех над облаками?

— Орел, — сказал толкователь, — это эмблема его светлости, нашего благородного эрцгерцога, его королевского высочества, сказал бы я, и орел парит выше всех, ближе всех пернатых к солнцу.

— Лев прыгнул выше орла, — небрежно заметил Конрад.

Эрцгерцог покраснел и уставился на говорившего, а рассказчик после минутного молчания ответил:

— Да простит мне маркиз, но лев не может летать выше орла, ибо у него нет крыльев.

— За исключением льва святого Марка, — откликнулся шут.

— Это венецианское знамя, — сказал эрцгерцог. — Но ведь эта земноводная порода — полудворяне, полукупцы — не посмеет

15

Да здравствует герцог Леопольд! (нем.)

равняться с нами?

— Нет, я говорил не о венецианском льве, — сказал маркиз Монсерратский, — но о трех идущих львах английского герба; говорят, что раньше это были леопарды, а теперь они стали настоящими львами и должны главенствовать над зверьми, рыбами и птицами. Горе тому, кто станет перечить им.

— Вы это серьезно говорите, милорд? — спросил австриец, раскрасневшийся от вина. Вы думаете, что Ричард Английский претендует на превосходство над свободными монархами, его добровольными союзниками в этом крестовом походе?

— Я сужу по тому, что вижу, — отвечал Кок-рад. — Вон там, в середине нашего лагеря, красуется его знамя, как будто он король — главнокомандующий всем христианским войском.

— И вы с этим спокойно миритесь и хладнокровно об этом говорите? — сказал эрцгерцог.

— Нет, милорд, — отвечал Конрад, — я, бедный маркиз Монсерратский, не могу бороться против несправедливости, которой покорно подчинились такие могущественные государи, как Филипп Французский и Леопольд Австрийский. Бесчестие, которому подчиняетесь вы, не может быть позором для меня.

Леопольд сжал кулак и яростно ударил по столу.

— Я говорил об этом Филиппу, — сказал он. — Я часто говорил ему, что наш долг защищать ниже нас стоящих монархов против притязаний этого островитянина. Но он всегда холодно отвечал мне, что таковы взаимоотношения между суверенными монархами и вассалами и что неполитично, с его точки зрения, идти в такое время на открытый разрыв.

— Мудрость Филиппа известна всему свету, — сказал Конрад. — Свою покорность он будет объяснять политическими соображениями. Вы же, милорд, можете полагаться лишь на собственную политику. Но я не сомневаюсь, что у вас есть веские причины подчиняться английскому господству.

— Мне — подчиняться? — сказал Леопольд с негодованием. — Мне, эрцгерцогу австрийскому, опоре Священной Римской империи, подчиняться этому королю половины острова, этому внуку норманского ублюдка? Нет, клянусь небом, весь стан и все христианство увидят, как я могу постоять за себя и уступлю ли я хоть вершок земли этому

английскому догу. Вставайте, мои вассалы и друзья! За мной! Не теряя ни минуты, мы заставим австрийского орла взлететь так высоко, как никогда не реяли эмблемы короля или кайзера.

С этими словами он вскочил с места и под бессвязные крики своих гостей и приближенных направился к двери шатра. Затем он схватил свое собственное знамя, развевавшееся перед шатром.

— Остановитесь, милорд, — сказал Конрад, делая вид, что хочет помешать ему, — не нужно поднимать переполох в лагере в такой час. Может быть, лучше еще немного потерпеть, примирившись с английской узурпацией, чем...

— Ни часа, ни минуты дольше! — крикнул эрцгерцог и со знаменем в руке, провожаемый восклицаниями гостей и приближенных, быстро направился к холму, где развевалось английское знамя. Там он схватил рукой древко, как бы желая вырвать его из земли.

— Господин мой, дорогой господин — сказал Йонас Шванкер, обнимая эрцгерцога, — берегитесь: у львов есть зубы.

— А у орлов — когти, — сказал эрцгерцог, не выпуская из рук древка, но еще не решаясь выдернуть его из земли.

Рассказчик, несмотря на то, что выдумки были его профессией, временами проявлял и здравый рассудок. Он загремел жезлом, что заставило Леопольда по привычке обернуться к своему советчику.

— Орел — царь пернатых, — сказал рассказчик. — А лев — царь зверей на земле. Каждый имеет свои владения, отдаленные друг от друга, как Англия от Германии. Благородный орел не причиняет никакого бесчестия царственному льву, но пусть оба ваши знамени остаются здесь и мирно развеваются рядом.

Леопольд выпустил из рук древко и обернулся, ища глазами Конрада Монсерратского. Но маркиза и след простыл, ибо как только он увидел, что надвигается беда, он тотчас же скрылся, выразив некоторым из присутствующих сожаление, что эрцгерцог избрал столь поздний час после обеда, чтобы отплатить за обиду, которую, как он считал, нельзя было стерпеть. Не видя своего гостя, с которым ему так хотелось обменяться мыслями, эрцгерцог громко объявил, что, не желая вносить раскол в армию крестоносцев, он отстаивает лишь свои привилегии и право быть на равной ноге с королем Англии, но не желает ставить свое знамя, которое он унаследовал от императоров, своих предков, выше

знамени потомка каких-то графов Анжу. Закончив свою речь, он приказал принести бочонок вина. Под барабанный бой и музыку гости осушили не один кубок в честь австрийского знамени.

Их буйное веселье сопровождалось шумом, который переполошил весь лагерь.

Настал решительный час, когда, как предсказал: лекарь, согласно правилам своего искусства, можно, было спокойно разбудить царственного пациента. Для этого он поднес к его лицу губку. Через некоторое время он объявил барону Гилсленду, что лихорадка окончательно покинула короля и что, принимая во внимание его крепкую натуру, уже не надо, как обычно, давать ему вторую дозу этого сильного снадобья. Ричард был, по-видимому, того же мнения: сидя на постели и протирая глаза, он спросил де Во о том, сколько денег в королевской казне.

Барон не мог назвать точную цифру.

— Это ничего не значит, — сказал Ричард, — сколько бы там ни было, отдай всё этому ученому лекарю, который, как я верю, возвратил меня к делам крестового похода. Если там меньше тысячи безантов, дополни сумму драгоценностями.

— Я не продаю мудрость, которой меня наделил аллах, — отвечал арабский лекарь, — и знай, великий государь, что то божественное лекарство, которое ты на себе испытал, утратило бы свою силу в моих недостойных руках, если бы я обменял ее на золото или бриллианты.

«Лекарь отказывается от вознаграждения! — подумал де Во. — Это еще более удивительно, чем то, что ему сто лет».

— Томас де Во, — сказал Ричард, — как ты знаешь, храбрость — это удел войны, а щедрость и добродетель — удел рыцарства. А вот этот мавр, отказывающийся принять награду, может быть поставлен в пример всем тем, кто считает себя цветом рыцарства.

Сложив руки на груди с видом человека, исполненного чувством собственного достоинства, и вместе с тем выказывая знаки глубокого уважения, мавр произнес:

— Для меня достаточная награда слышать, что великий король Мелек Рик 16 так говорит о своем слуге. Но теперь прошу вас опять лечь! Я думаю, вам больше не придется принимать божественное

16

Так называли Ричарда восточные народы. (Прим. автора.)

зелье, но все же не следует вставать с постели, пока силы окончательно не восстановятся, ибо это может принести вред.

— Я должен повиноваться тебе, каким, — сказал король, — хотя поверь мне: я чувствую, как грудь моя освободилась от изнурительного жара, который сжигал меня столько дней, и готов вновь подставить ее под копые любого храбреца. Но что это? Что за крики и музыка в стане? Томас де Во, пойдя и разузнай, в чем дело.

— Это эрцгерцог Леопольд, — сказал де Во, возвратившись через несколько минут, — прогуливается со своими собутыльниками.

— Этот пьяный болван! — воскликнул Ричард. — Неужели он не может зверски пьянствовать в своем шатре? Нет, ему, видите ли, нужно позорить себя перед всем христианским миром! Что скажете, маркиз? — добавил он, обращаясь к Конраду Монсерратскому, который в это время входил в шатер.

— Скажу только, — ответил маркиз, — что я счастлив видеть ваше величество в добром здравии, и не каждый на моем месте произнес бы такую длинную речь после того, как удостоился гостеприимства эрцгерцога австрийского.

— Как? Вы обедали у этого тевтонского пьяницы? — воскликнул король. — Какую еще штуку он придумал, чтобы вызвать беспорядки? По правде сказать, сэр Конрад, я считал вас завзятым гулякой и не понимаю, как это вы могли уйти с пира в самом его разгаре.

Де Во стоял позади короля и взглядом и жестами старался дать понять маркизу, чтобы тот ничего не говорил. Но Конрад не понял или сделал вид, что не понял его предостережения.

— Прделки эрцгерцога мало кого могут занимать, да и сам он не сознает того, что делает. Но, по правде говоря, я бы не хотел принимать участие в этой веселой выходке: ведь он посреди стана, на холме святого Георгия, сбрасывает знамя Англии и водружает вместо него свое собственное.

— Что ты говоришь? — закричал король голосом, который мог бы разбудить и мертвого.

— Но не стоит, ваше величество, — сказал маркиз, — из-за того, что какой-то сумасшедший поступает так, как подсказывает ему его безумие...

— Замолчи, — сказал Ричард, вскочив с кровати и одеваясь с необыкновенной быстротой, — не говори мне ничего, маркиз! Де Малтон, запрещаю тебе произносить хоть слово: тот, кто вымолвит хоть одно слово, не друг Ричарду Плантагенету. Хаким, заклинаю тебя, замолчи!

Продолжая торопливо одеваться, он схватил висевший на столбе меч и, без всякого иного оружия, не взяв с собой никого из приближенных, бросился из шатра. Конрад как бы в изумлении всплеснул руками, желая что-то сказать де Во, но сэр Томас, грубо отстранив его, прошел мимо и, подозвав одного из королевских конюших, быстро дал ему приказание:

— Беги к лорду Солсбери: скажи, чтобы он собрал своих людей и немедленно шел за мной к холму святого Георгия. Скажи ему, что лихорадка бросилась королю в голову.

Не расслышав ничего толком и плохо понимая, что значат слова де Во, наспех отдавшего приказание, конюший вместе со своими товарищами поспешил в ближние шатры, занятые знатными вельможами. Не разбираясь в причинах переполоха, они подняли тревогу среди британских войск. Английские солдаты, разбуженные во время полдневого отдыха, которому они любили предаваться, приученные к тому жарким климатом, растерянно спрашивали друг друга о причинах переполоха; не ожидая ответа, некоторые, из них восполняли недостаток сведений домыслом своего воображения. Одни говорили, что сарацины ворвались в лагерь, другие — что было покушение на жизнь короля, третьи — что он умер ночью от лихорадки или убит австрийским эрцгерцогом. Как высшие чины, так и воины, не имея достоверных вестей об истинной причине всей этой суматохи, заботились лишь о том, чтобы собрать вооруженных людей и чтобы всеобщая растерянность не внесла беспорядка в армию крестоносцев. Громко и пронзительно затрубили английские трубы. Тревожные крики: «За луки и алебарды!» — неслись из конца в колец и подхватывались вооруженными людьми, смешиваясь с возгласами: «Да хранит святой Георгий дорогую Англию!»

Сначала тревога охватила ближайшие войска, и люди самых различных национальностей, среди которых были представители чуть ли не всех христианских народов, бежали за оружием и собирались группами среди всеобщей сумятицы, о причине

которой никто не знал. К счастью, во всей этой страшной мешанине граф Солсбери, спешивший на вызов де Во с несколькими вооруженными англичанами, не потерял присутствия духа. Ему удалось выстроить английские части в боевой порядок под надлежащей командой, чтобы в случае необходимости двинуть их на помощь Ричарду, избегая торопливости и суматохи, которые могли бы вызвать их собственная тревога и забота о спасении короля. Он приказал построить армию в боевой порядок и держать ее наготове. Надлежало действовать без шума и спешки.

Между тем, не обращая внимания на крики и царившую кругом суматоху, Ричард в беспорядочно наброшенном платье и с вложенным в ножны мечом спешил как можно скорее добраться до холма святого Георгия; за ним бежали де Во и двое-трое приближенных.

Он даже опередил тех, кто был поднят на ноги тревогой, еще более подогревая их своей стремительностью. Когда он проходил мимо своих доблестных воинов из Нормандии, Пуату, Гаскони и Анжу, до них еще эта тревога не докатилась; все же шум, поднятый пьяным германцем, заставил многих подняться и прислушаться. Небольшая часть шотландцев, расквартированная поблизости, тоже не была еще поднята на ноги. Однако облик короля и его стремительность были замечены рыцарем Леопарда, который понял, что грозит какая-то опасность, и поспешил на помощь. Схватив щит и меч, он присоединился к де Во, который с трудом поспевал за своим пылким и нетерпеливым повелителем. В ответ на вопросительный взгляд шотландского рыцаря, де Во пожал своими широкими плечами, и они продолжали свой путь, следуя за Ричардом.

Скоро король оказался у подножия холма святого Георгия. На самой площадке и вокруг нее толпились приближенные эрцгерцога австрийского. Они шумно праздновали событие, которое, как они считали, было защитой их национальной чести. Были там и люди других национальностей, не питавшие особой симпатии к англичанам или просто любопытные, желающие поглазеть на необычайное происшествие.

Как гордый корабль под парусами, рассекающий грозные валы, не боясь, что они с ревом сомкнутся за его кормой, ворвался Ричард в толпу.

Вершина холма представляла собой небольшую ровную площадку, на которой развевались два соперничающих знамени. Кругом находились друзья и свита эрцгерцога. В середине стоял сам Леопольд, с довольным видом любуясь делом своих рук и прислушиваясь к одобрительным крикам, которыми его щедро награждали его приверженцы. В тот момент, когда он находился в апогее своего торжества, Ричард ворвался в середину с помощью лишь двух человек; но его натиск был так стремителен, что, казалось, будто целое войско заняло холм.

— Кто посмел? — закричал он голосом, похожим на гул землетрясения, и схватил австрийское знамя. — Кто посмел повесить эту жалкую тряпку рядом с английским знаменем?

Эрцгерцог не был лишен храбрости, и невозможно было предполагать, чтобы он не слышал вопроса и не ответил на него. Но он был настолько взволнован и удивлен неожиданным появлению Ричарда и настолько подавлен страхом перед его вспыльчивым и неустойчивым характером, что королю пришлось дважды повторить свой вопрос таким тоном, будто он бросал вызов небу и земле. Наконец эрцгерцог набравшись храбрости, ответил:

— Это сделал я, Леопольд Австрийский.

— Так пусть Леопольд Австрийский, — ответил Ричард, — теперь увидит, как уважает его знамя и его притязания Ричард Английский.

С этими словами он выдернул древко из земли, разломал его на части, швырнул знамя на землю и стал топтать его ногами.

— Вот, — сказал он, — как я топчу знамя Австрии! Найдется ли среди вашего тевтонского рыцарства кто-нибудь, кто осудит мой поступок?

Последовало минутное молчание: но ведь храбрее германцев нет никого.

— Я! Я! Я! — слышались возгласы многих рыцарей, приверженцев эрцгерцога. Наконец он и сам присоединил свой голос к тем, кто принял вызов короля Англии.

— Что мы смотрим? — вскричал граф Валленрод, рыцарь огромного роста из пограничной с Венгрией провинции. — Братья, благородные дворяне, нога этого человека топчет честь нашей родины. На выручку посрамленного знамени! Сокрушим

английскую гордыню!

С этими словами он выхватил меч, с намерением нанести королю такой удар, который мог бы стать роковым, не вмешайся шотландец, принявший удар на свой щит.

— Я дал клятву, — сказал король Ричард, и голос его был услышан даже среди шума, который становился все сильнее, — никогда не наносить удара тому, кто носит крест; поэтому ты останешься жить, Валленрод, чтобы помнить о Ричарде Английском.

Сказав это, он обхватил высокого венгерца и, непобедимый в борьбе, как и в прочих военных упражнениях, отбросил его назад с такой силой, что грузная масса отлетела прочь, будто выброшенная из катапульты. Она пронеслась над толпой свидетелей этой необычной сцены и через край холма покатила по крутому откосу. Валленрод катился головой вниз, но наконец, задев за что-то плечом, вывихнул его и остался лежать замертво. Проявление этой почти сверхъестественной силы не ободрило ни эрцгерцога, ни кого-либо из его приближенных настолько, чтобы возобновить борьбу, закончившуюся столь плачевно. Те, что стояли в задних рядах, начали бряцать мечами, выкрикивая: «Руби его, островного дога!» Но те, что находились ближе, из страха и будто желая навести порядок закричали: «Успокойтесь, успокойтесь ради святой церкви и нашего отца папы!»

Эти противоречащие друг другу выкрики противников указывали на их нерешительность. Ричард, топча ногой эрцгерцогское знамя, озирался кругом, как бы выискивая себе противника. Все знатные австрийцы отшатывались от его взора, словно от грозной пасти льва. Де Во и рыцарь Леопарда стояли рядом с королем. Хоть их мечи все еще были в ножнах, было ясно, что они готовы до последней капли крови защищать Ричарда, а их рост и внушительная сила ясно говорили, что защита эта могла бы быть самой отчаянной.

Тут подоспел и Солсбери со своими людьми, с алебардами наготове и натянутыми луками.

В этот момент король Франции Филипп в сопровождении двух-трех человек из своей свиты поднялся на площадку, чтобы узнать о причинах суматохи. Он жестом выразил удивление при виде короля Англии, так быстро покинувшего свое ложе и

стоявшего в угрожающей позе перед их общим союзником, эрцгерцогом австрийским. Сам Ричард смутился и покраснел при мысли о том, что Филипп, которого он не любил, но уважал за ум, застал его в позе, не подобающей ни монарху, ни крестоносцу. Все видели, как он как бы случайно отдернул и снял ногу с обесчещенного знамени и постарался изменить выражение лица, напустив на себя хладнокровие и безразличие. Леопольд тоже старался казаться спокойным, но он был подавлен сознанием того, что Филипп заметил безвольную покорность, с какой он сносил оскорбления вспыльчивого короля Англии.

Обладая многими превосходными качествами, за которые он был прозван своими подданными Августом, Филипп мог быть также назван Одиссеем, а Ричард — Ахиллом крестового похода. Французский король, дальновидный, мудрый, осмотрительный в советах, уравновешенный и хладнокровный в поступках, видящий все в ясном свете, настойчиво преследовал благие цели в интересах своего государства, Отличаясь сознанием собственного королевского достоинства и умением держать себя. Он был скорее политик, чем воин. Он не принял бы участия по собственному желанию в этом крестовом походе, но дух времени был заразителен. Кроме того, поход этот был навязан ему церковью и единодушным желанием его приближенных. При других обстоятельствах или в менее суровую эпоху он мог бы снискать большее уважение, чем смелый Ричард Львиное Сердце. Но в крестовом походе, этом безрассудном начинании, здравый смысл ставился ниже всех других душевных качеств, а рыцарская доблесть — качество, столь обычное в ту эпоху и столь необходимое для этого похода, считалась обесцененной, если только к ней примешивалась малейшая осторожность. Таким образом, характер Филиппа в сравнении с характером его высокомерного соперника, казалось, походил на яркое, но маленькое пламя светильника, поставленного рядом с ослепительным пламенем огромного факела: он, вдвое менее полезный по сравнению с первым, производит в десять раз больше впечатления на глаз. Филипп чувствовал, что общественное мнение относится к нему менее благосклонно, и это причиняло ему, как гордому монарху, известную боль. Неудивительно, что он пользовался всяким удобным предлогом, чтобы выставить

собственную репутацию в более выгодном свете по сравнению со своим соперником. В данном случае как раз можно было ожидать, что осторожность и спокойствие могли бы одержать верх над упорством и стремительностью.

— Что означает сей недостойный спор между братьями по оружию — его величеством королем Англии и герцогом австрийским Леопольдом? Возможно ли, что вожди и столпы этого священного похода...

— Перемирие при твоём посредничестве, Франция? — сказал взбешенный Ричард, видя, что он очутился на одном уровне с Леопольдом, и не зная, как выразить свое негодование. — Этот герцог, или принц, или столп, как вы его называете, оскорбил меня, и я его наказал — вот и все. Вот отчего тут суматоха — ведь дают же собаке пинка?!

— Ваше величество, — сказал эрцгерцог, — я взываю к вам и к каждому владетельному принцу по поводу отвратительного бесчестия, которому я подвергся: король Англии оскорбил мое знамя. Он разорвал его в клочья и растоптал.

— Он осмелился водрузить его рядом с моим, — возразил Ричард.

— Мне это позволили мой титул и положение, равное твоему, — сказал эрцгерцог, ободренный присутствием Филиппа.

— Доказывай и защищай свои права, как хочешь, — сказал Ричард. — Клянусь святым Георгием, я поступлю с тобой так же, как я поступил с твоим расшитым платком, достойным самого низкого употребления.

— Немного терпения, мой английский брат, — сказал Филипп, — и я докажу австрийскому герцогу, что он неправ. Не подумайте, благородный эрцгерцог, — продолжал он, — что, позволяя английскому знамени занимать преобладающее место в стане, мы, независимые монархи, участвующие в крестовом походе, признаем какое-то превосходство за королем Ричардом. Неправильно было бы так думать, потому что даже орифламма, великое знамя Франции, по отношению к которой сам король Ричард со своими французскими владениями является вассалом, занимает второстепенное место, ниже, чем британские львы. Но, как поклялись давшие обет братья по кресту, как воины-паломники, оставившие в стороне пышность и тщеславие

этого мира, мы своими мечами прокладываем путь ко гробу господню. Поэтому я сам, а также и другие монархи, из уважения к славе и великим подвигам короля Ричарда уступили ему это первенство, которого в другой стране и при других условиях мы бы ему не предоставили. Я уверен, что его величество эрцгерцог австрийский признает это и выразит сожаление, что водрузил свое знамя на этом месте, а его величество король Англии даст удовлетворение за нанесенное оскорбление.

Рассказчик и шут отошли в более безопасное место, видя, что дело может дойти до драки, но вернулись, когда слова, их собственное оружие, опять вышли на первый план.

Знаток пословиц был в таком восторге от искусной речи Филиппа, что в избытке чувств потряс своим жезлом, забывая о присутствии столь знатных особ, и громко заявил, что сам он никогда в жизни не изрекал более мудрых слов.

— Может быть, это и так, — прошептал Йонас Шванкер, — но если ты будешь говорить так громко, нас высекут.

Эрцгерцог угрюмо ответил, что он перенесет этот спор на рассмотрение Генерального совета крестоносцев. Филипп горячо одобрил его решение: оно позволило ему покончить со скандалом, столь порочающим христианский мир.

Ричард, сохраняя все тот же небрежный вид, слушал Филиппа до тех пор, пока не иссякло его красноречие, и затем громко сказал:

— Меня клонит ко сну: лихорадка еще не прошла. Мой французский собрат! Ты знаешь мой нрав, я не мастер говорить. Так знай же, что я не доведу дело, задевающее честь Англии, ни до папы, ни до совета. Здесь стоит мое знамя — безразлично, какой бы стяг ни был поставлен рядом с ним хоть в трех дюймах — будь то даже орифламма, о которой вы, кажется, говорили, — с каждым будет поступлено как с этой грязной тряпкой. Я не соглашусь ни на какое другое удовлетворение, кроме того, какое может дать мое брэнное тело любому храброму вызову, будь то против пяти, а не только одного противника.

— Ну уж это такая глупость, — шепотом сказал шут своему приятелю,

— как будто я сам ее ляпнул. Мне кажется, что тут дело не обойдется без другого глупца, еще более глупого, чем Ричард.

— А кто бы это мог быть? — спросил мудрец.

— Филипп, — сказал шут, — или наш собственный эрцгерцог, если оба они примут вызов. Не правда ли, мудрейший мой рассказчик, какие отличные короли вышли бы из нас с тобой, поскольку те, на которых свалились эти короны, столь великолепно и не хуже нас самих разыгрывают роли шутов и вещателей мудрых мыслей.

Пока эти почтенные особы переговаривались в сторонке, Филипп спокойно ответил на оскорбительный вызов Ричарда:

— Я пришел сюда не для того, чтобы возбуждать новые ссоры, противные данному обету и тому святому делу, которому мы служим. Я расстаюсь с моим английским другом по-братски, а схватка между британским львом и французской лилией может заключаться лишь в одном: кто смелее и глубже вторгнется в ряды неверных.

— По рукам, мой королевский собрат, — сказал Ричард, протягивая руку с той искренностью, которая была свойственна его резкому, но благородному характеру, — и, может быть, скоро нам представится случай испытать это смелое братское предложение.

— Пусть благородный эрцгерцог тоже разделит рукопожатие, каким мы обменялись в эту счастливую минуту, — сказал Филипп.

Эрцгерцог приблизился с недовольным видом, не выражая особенного желания примкнуть к этому соглашению.

— Я не могу полагаться на дураков и на их выходки, — небрежно проронил Ричард.

Эрцгерцог, повернувшись, сошел с холма. Ричард посмотрел ему вслед.

— Существует особая храбрость — храбрость светлячков, — сказал он,

— которая проявляется только ночью. В темноте я не могу оставить это знамя без охраны: днем уже один вид львов будет защищать его. Слушай, Томас Гилсленд: тебе я поручаю охрану знамени: будь на страже чести Англии.

— Ее безопасность мне еще дороже, — сказал де Во, — а безопасность Англии — это жизнь Ричарда. Я должен просить ваше величество вернуться в шатер, и притом немедленно.

— Ты — строгая и властная нянька, де Во, — сказал король, улыбнувшись, и добавил, обращаясь к Кеннету: — Храбрый

шотландец, я в долгу у тебя и щедро расплачусь. Вот здесь стоит знамя Англии! Карауль его, как новичок караулит свои доспехи в ночь перед посвящением в рыцари. Не отходи от него дальше, чем на расстояние трех копий, и защищай своим телом от нападения и оскорблений. Труби в рог, если на тебя нападут больше трех сразу. Готов ли ты выполнить это поручение?

— С радостью, — сказал Кеннет, — ручаюсь своей головой. Я только возьму оружие и сейчас же вернусь.

Король Англии и король Франции церемонно простились друг с другом, скрывая под личиной вежливости взаимное недовольство. Ричард был недоволен Филиппом за его непрошеное вмешательство в ссору между ним и Австрией, а Филипп был недоволен Львиным Сердцем за непочтительность, с которой было принято его посредничество. Те, кого этот переполох собрал вместе, разошлись в разные стороны, оставив оспариваемый холм в одиночестве, в коем он пребывал до выходки австрийца. Люди обменивались мыслями и судили о событии дня в зависимости от своих убеждений. Англичане обвиняли австрийца в том, что он первый затеял ссору, а представители других наций порицали высокомерие островитян и горделивость характера Ричарда.

— Вот видишь, — сказал маркиз Монсерратский гроссмейстеру ордена тамплиеров, — тонкая игра скорее приведет к цели, чем насилие. Я развязал узлы, которые скрепляли этот букет скипетров и копий. Скоро ты увидишь, как он разлетится в разные стороны.

— Я одобрил бы твой план, — сказал тамплиер, — если среди этих невозмутимых австрийцев нашелся бы хоть один храбрец, который разрубил бы своим мечом узлы, о которых ты говоришь. Развязанный узел можно затянуть опять, но с разрезанной веревкой уж ничего не сделаешь.

Глава XII

Да, женщина всех в мире соблазнит.

Гей

Во времена рыцарства опасный пост или опасное поручение считались наградой, часто даваемой за военные доблести, вознаграждением за перенесенное испытание. Так, выбираясь из пропасти, смельчак одолевает утес лишь для того, чтобы карабкаться на другой, более крутой.

Была полночь, и луна плыла высоко в небе, когда шотландец Кеннет одиноким часовым стоял у знамени Англии на холме святого Георгия. Он должен был охранять эмблему этой нации от оскорблений, которые могли нанести ей те, кого гордыня Ричарда сделала его врагами. Много честолюбивых мыслей приходило в голову воина. Ему казалось, что он снискал благоволение монарха-рыцаря, который до того времени не выделял его среди толпы смельчаков, которых слава Ричарда объединила под его знаменами. Кеннет мало тревожился о том, что благосклонность короля выразилась в назначении его на такой опасный пост. Честолюбивые помыслы, преданность и любовь к знатной даме сердца подогревали его воинский пыл.

Как безнадежна ни была эта любовь при всяких обстоятельствах, все же только что происшедшие события немного уменьшили пропасть между ним и Эдит. Он, которого Ричард отличил, поручив караулить свое знамя, уже не был каким-то безвестным искателем приключений, но рыцарем, заслуживающим внимания принцессы, хотя расстояние, разделявшее их, было по-прежнему огромно. Теперь бесславная гибель не будет его уделом. Если на него нападут и он будет убит на посту, смерть его (он уверен, что она будет славной) заслужила бы похвалу и мщение Ричарда Львиное Сердце. Знатные красавицы английского двора будут сожалеть об этом и даже, может быть, поплачут. У него не было больше причин бояться, что он умрет какой-нибудь глупой смертью, как умирает придворный шут.

У Кеннета было достаточно времени, чтобы вволю предаться столь горделивым мечтам, вскормленным необузданным и отважным духом рыцарства, который в своих бурных и

фантастических порывах был совершенно лишен эгоизма. Этот дух великодушия и преданности, быть может, был достоин порицания лишь за то, что ставил себе цели, несовместимые с несовершенством слабой человеческой натуры. Вся природа была скована сном. Лунный свет чередовался с тенями. Длинные ряды палаток и шатров, залитые лунным сиянием или погруженные в тень, были объаты тишиной; дороги между ними походили на улицы вымершего города. Около древка знамени лежал пес, о котором выше шла речь, единственный товарищ Кеннета на посту; он мог положиться на его чуткость, зная, что пес предупредит о приближении врага. Благородное животное как бы понимало, зачем его сюда привели. Пес изредка посматривал на широкие складки тяжелого знамени, а когда доносился далекий окрик часовых, охранявших лагерь, он отвечал им громким лаем, как бы давая понять, что и он достаточно бдителен. Изредка он опускал голову и вилял хвостом, когда его хозяин проходил мимо. А когда рыцарь останавливался, опираясь на копьё, и молчал, устремив к небу задумчивый взгляд, его верный помощник иногда решался, говоря словами песни, «его задумчивость нарушить» и вывести его из мечтательности, сунув длинный шершавый нос в руку, одетую в перчатку, как бы прося мимолетной ласки.

Так без всяких происшествий прошло два часа. Вдруг пес отчаянно залаял и кинулся туда, где лежала самая густая тень, но остановился, как бы ожидая указаний хозяина.

— Кто идет? — спросил Кеннет, видя, что кто-то ползком крадется по теневой стороне холма.

— Во имя Мерлина и Могиса, — отвечал хриплый, неприятный голос, — привяжите вашего четвероногого демона, чтобы я мог к вам подойти.

— Кто ты такой, и зачем тебе понадобилось подойти к моему посту? — сказал Кеннет, всматриваясь в фигуру, которую он заметил у подошвы холма, хоть и не мог ясно ее разглядеть. — Берегись, я здесь, чтобы защищать знамя не на жизнь, а на смерть.

— Уберите вашего зубастого сатану, — произнес голос, — или я ухлопаю его стрелой из арбалета.

В это время послышался звук пружины заряжаемого арбалета.

— Вынь стрелу из арбалета и выйди на лунный свет, — сказал шотландец, — не то, клянусь святым Андреем, я проткну тебя

копьем, кто бы ты ни был!

С этими словами он взял копье наперевес и, устремив взор на фигуру, которая, казалось, двигалась вперед, стал размахивать им, как бы собираясь метнуть: иногда приходилось прибегать к этому способу, когда надо было поразить близкую цель. Но Кеннет устыдился своего намерения и положил оружие, когда заметил, что из тени вышло, как актер на сцену, какое-то крохотное дряхлое существо, в котором по уродству и фантастическому одеянию он даже на расстоянии узнал одного из двух карликов, которых видел в Энгаддийской часовне.

Припоминая другие видения той необыкновенной ночи, он дал знак своему псу, который тотчас же понял его и, вернувшись к знамени, улегся, глухо ворча.

Убедившись, что ей больше не грозит четвероногий враг, маленькая человеческая фигурка стала приближаться, карабкаясь и тяжело дыша: короткие ноги затрудняли подъем. Добравшись до вершины холма, карлик переложил самострел в левую руку. Это была игрушка, которой в то время детям позволяли стрелять по мелким птицам. Карлик, приняв должную позу, важно протянул правую руку Кеннету, полагая, что последний ответит ему на приветствие. Но видя, что ответа не последовало, он резким и недовольным тоном спросил:

— Воин, почему ты не оказываешь Нектабанусу почести, которую заслуживает его высокое положение? Или ты забыл его?

— Великий Нектабанус, — отвечал рыцарь, желая успокоить карлика, — всякому, кто хоть раз увидел тебя, трудно тебя забыть. Однако извини меня, что, как воин на посту с копьем в руке, я не позволил тебе подойти. Довольно того, что я оказываю почтение твоему высокому званию и смиренно подчиняюсь тебе, насколько это возможно в моем положении.

— Да, этого довольно, — сказал Нектабанус, — если ты сейчас отправишься со мной к тем, кто меня послал.

— Мой благородный сэра, — отвечал рыцарь, — я не могу доставить тебе и это удовольствие, ибо получил приказ оставаться у знамени до рассвета. Прости меня за неучтивость.

Сказав это, он вновь принялся ходить по площадке. Но карлик не отставал от него.

— Хорошенько подумай, — сказал он, преграждая Кеннету

дорогу. — Или ты повинешься мне, рыцарь, или я прикажу тебе именем той, чья красота могла бы привлечь духов из небесных сфер и чье величие могло бы повелевать ими, если бы они сошли на землю.

Дикая и невероятная догадка промелькнула в уме рыцаря, но он быстро ее отбросил. Невозможно, подумал он, чтобы его возлюбленная прислала ему этот приказ, да еще с таким посланцем. Однако его голос задрожал, когда он ответил:

— Скажи, Нектабанус, скажи мне как честный человек, было ли божественное создание, о котором ты говоришь, той гурией, вместе с которой, как я видел, ты подметал часовню в Энгадди?

— Самонадеянный рыцарь, — отвечал карлик, — ты думаешь, что та, кто владеет нашей царственной душой и разделяет наше величие, подобная нам по красоте, снизошла бы до того, чтобы дать приказание такому вассалу, как ты? Нет, какой бы высокой чести ты ни заслужил, ты еще недостойн внимания королевы Генеvры, прекрасной невесты Артура, с высокого трона которой все принцы кажутся пигмеями. Но посмотри сюда: признаешь ли ты этот знак, подчинишься ли ты приказанию той, которая удостоила им тебя?

Сказав это, он положил на ладонь рыцаря рубиновое кольцо. Даже при лунном свете рыцарь без труда узнал его. Оно обычно украшало палец высокородной дамы, служению которой он себя посвятил. Если бы он усомнился в истине, его убедила бы алая ленточка, привязанная к кольцу. То был любимый цвет его дамы сердца; его он избрал и для своей одежды, цвет этот на турнирах и в сражениях нередко торжествовал над прочими.

Кеннет был ошеломлен, увидев кольцо в таких руках.

— Во имя всего святого, от кого ты получил это? — спросил он. — Приведи, если можешь, свои блуждающие мысли в порядок хоть на минуту. Зачем тебя послали? Хорошенько подумай, что ты говоришь: здесь не место для шутовства!

— Добрый и неразумный рыцарь, — сказал карлик, — тебе недостаточно знать, что ты осчастливлен, получив приказание от принцессы, переданное тебе через короля? Мы не желаем продолжать с тобой переговоры, но даем приказание именем известной тебе дамы и властью этого кольца следовать за нами к той, которая владеет им. Каждая минута промедления — это

нарушение данной тобою клятвы.

— Дорогой Нектабанус, одумайся, — сказал рыцарь. — Может ли моя дама сердца знать, где я нахожусь и какую службу несусь? Знает ли она, что моя жизнь, да что там жизнь — что честь моя зависит от того, удастся ли охранить знамя до рассвета. И может ли она желать, чтобы я оставил свой пост даже ради того, чтобы выказать ей уважение? Это невозможно: принцессе угодно было послать мне подобное приказание, чтобы подшутить над своим слугой, да еще выбрав такого посланца!

— Ну что ж, оставайся при своем мнении, — сказал Нектабанус, повернувшись и как бы намереваясь сойти с площадки, — мне все равно, будешь ты изменником или верным рыцарем этой царственной особы. Итак, прощай!

— Постой, постой! Умоляю тебя, останься! — воскликнул Кеннет. — Ответь лишь на один вопрос: близко ли отсюда та, кто послала тебя?

— Что это значит? — сказал карлик. — Неужели верность можно измерить футами и милями, словно путь бедного гонца, которому платят за каждую лигу? Ты мне не веришь, но все же я открою тебе, что прекрасная обладательница этого кольца, посланного недостойному вассалу, в коем нет ни правды, ни чести, находится там, куда долетит стрела, выпущенная из арбалета.

Рыцарь снова взглянул на кольцо, как бы желая убедиться в том, что его не обманули.

— Скажи мне, — обратился он к карлику, — надолго ли требуют меня туда?

— Время? — отвечал Нектабанус тем же небрежным тоном. — Что такое время? Я не вижу и не чувствую его: это призрак, дыхание, измеряемое ночью звоном колокола, а днем по тени солнечных часов. Знаешь ли ты, что для верного рыцаря время измеряется лишь его подвигами, какие он совершает во имя бога и своей дамы сердца?

— Это слова верные, но я слышу их из уст сумасшедшего, — сказал рыцарь. — Но правда ли, что моя дама сердца зовет меня для свершения подвига, ради ее спасения? И нельзя ли отложить это до рассвета?

— Она требует твоего присутствия немедленно, — сказал карлик, — она должна видеть тебя, прежде чем десять песчинок

упадут в песочных часах. Слушай же, безрассудный и недоверчивый рыцарь, вот ее собственные слова: «Скажи ему, что рука, уронившая розы, может также награждать лавровым венком».

Это упоминание о встрече в Энгаддийской часовне воскресило в голове Кеннета целый рой воспоминаний и убедило его в том, что поручение, переданное карликом, действительно исходит от его дамы сердца. Лепестки роз, хоть и увядшие, хранились еще под его панцирем, близко к сердцу. Он медлил, не будучи в силах упустить этот, быть может, единственный случай обрести расположение той, кого он сделал повелительницей своих чувств. А карлик еще больше усугублял его смятение, требуя, чтобы он или вернул ему кольцо, или немедленно следовал за ним.

— Подожди, подожди еще мгновение, — сказал рыцарь. «Кто я, — подумал он, — подданный и раб короля Ричарда или свободный рыцарь, давший обет служить крестовому походу? Кого я пришел сюда защищать с копьем и мечом: наше святое дело или мою прекрасную даму сердца? »

— Кольцо, кольцо! — нетерпеливо кричал карлик. — Вероломный, нерадивый рыцарь, верни кольцо! Ты недостойн не только держать его в руках, но даже смотреть на него!

— Еще одно мгновение, мой храбрый Нектабанус, — сказал Кеннет. — Не мешай моим думам. А что, если в эту минуту сарацины задумают напасть на нас? Должен ли я оставаться здесь, как верный вассал Англии, охраняя от унижения гордость короля, или я должен буду броситься в бой и сражаться за крест? Да, конечно, в бой! А после нашего святого дела желания моей дамы сердца для меня на первом месте. А приказ Львиного Сердца и мое обещание? Нектабанус, еще раз заклинаю тебя, скажи мне, далеко ли ты поведешь меня?

— Вот к тому шатру, — сказал Нектабанус. — Луна отражается в золоченом шаре, венчающем крышу, и стоит он немало денег. За него можно даже короля выкупить из плена.

«Я могу вернуться сразу же, — подумал рыцарь, в отчаянии стараясь не думать о возможных последствиях. — Я услышу лай моего пса, если кто-нибудь подойдет к знамени. Я брошусь к ногам моей дамы сердца и попрошу ее отпустить меня, чтобы вернуться на свой пост». — Сюда, Росваль, — позвал он пса, бросая плащ к подножию знамени, — сторожи и никого не подпускай.

Умный пес посмотрел на своего хозяина, как бы стараясь лучше понять, в чем заключается его приказание. Потом он сел около плаща, поднял голову и насторожил уши, подобно часовому, словно понимая, зачем его здесь оставили.

— Теперь пойдём, мой храбрый Нектабанус, — сказал рыцарь, — поторопимся исполнить приказание, которое ты мне принес.

— Пусть торопится тот, кто хочет, — угрюмо сказал карлик, — ты не торопился, когда я тебя звал, да и я не могу идти так быстро, чтобы поспеть за твоими длинными ногами. Ты не ходишь по-человечески, а скачешь как страус по пустыне!

Было две возможности побороть упрямство Нектабануса, который во время разговора все замедлял свой шаг и полз как улитка. Для подкупа у сэра Кеннета не было денег, для уговоров не было времени. Поэтому, сгорая от нетерпения, он схватил карлика, поднял его и, не обращая внимания на его мольбы и испуг, быстро пошел к шатру, на который тот указал как на шатер королевы. Приближаясь к нему, шотландец увидел немногочисленную стражу; часовые сидели на земле около ближайших шатров. Опасаясь, что лязг доспехов мог бы привлечь их внимание, и уверенный, что его посещение надо хранить в тайне, он опустил на землю своего барахтающегося провожатого, чтобы тот мог перевести дух и сказать, что надо делать дальше. Нектабанус был перепуган и обозлен, он чувствовал себя в полной власти рыцаря, как сова в когтях орла, и решил не давать ему больше повода выказывать свою силу.

Поэтому, не жалуясь на дурное обращение, он, войдя в проход между палатками, молча повел рыцаря за шатер, который укрыл их от взоров караульных; те были слишком небрежны или слишком хотели спать, а потому не очень тщательно исполняли свой долг. Остановившись позади шатра, он приподнял холщовую завесу с земли и знаком указал Кеннету, чтобы тот ползком влез внутрь. Рыцарь колебался: ему казалось недостойным тайком пробираться в шатер, раскинутый, несомненно, для благородных дам. Но он вспомнил о кольце, которое показал ему карлик, и решил, что нечего спорить, если такова воля его дамы сердца.

Он нагнулся, вполз в отверстие и услышал, как карлик прошептал ему снаружи: «Оставайся там, пока я тебя не позову».

Глава XIII

*Вы говорите: Радость и Невинность!
Запретный плод вкусив, они тотчас же
Навеки разлучились, и Коварство
С тех пор сопровождает всюду Радость,
С минуты самой первой, чуть дитя
Сомнет цветок иль бабочку играя,
И до последней злой усмешки скряги,
Когда на смертном ложе он узнает,
Что разорен сосед, и рассмеется.*
Старинная пьеса

Кеннет на несколько минут остался один в полной темноте. Возникла еще одна заминка, которая грозила продлить его отсутствие с поста, и он уже начал раскаиваться, что с такой легкостью дал себя уговорить покинуть знамя. Но теперь и думать было нечего о том, чтобы уйти, не повидав леди Эдит. Он нарушил воинскую дисциплину и решил по крайней мере убедиться в реальности тех соблазнительных надежд, искушению которых он поддался. Положение было, однако, незавидное. Не было света, чтобы увидеть, в какое помещение его привели (леди Эдит была в свите королевы Англии); а если бы обнаружили, как он пробрался в шатер королевы, то это могло бы навести на подозрения. Пока он предавался горьким думам, уже помышляя, как бы скрыться незамеченным, он услышал женские голоса. В соседнем помещении, от которого, судя по голосам, он был отделен только занавесом, слышны были смех, шепот и говор. Там были зажжены светильники, судя по слабому свету, проникавшему сквозь занавес, разделявший шатер на две части. Он мог различить тени людей — одни сидели, другие ходили. И вряд ли можно было обвинять Кеннета в том, что он подслушал разговор, так живо его заинтересовавший.

— Позови ее, позови ее, во имя пресвятой девы, — сказала одна из смеющихся невидимок. — Нектабанус, ты будешь назначен посланником при дворе Пресвитера Иоанна, чтобы показать, как мудро ты умеешь выполнять поручения.

Послышался хриплый голос карлика, но Кеннет не мог понять,

что он говорил; он уловил только одно: карлик что-то сказал о веселящем напитке, преподнесенном страже.

— Но как нам избавиться, девушки, от духа, которого вызвал Нектабанус?

— Послушайте меня, ваше высочество, — сказал другой голос. — Если б мудрый и царственный Нектабанус не так ревновал бы свою прекрасную невесту и императрицу, можно было бы послать ее, чтобы она избавила нас от этого дерзкого странствующего рыцаря, которого так легко убедить, что высокопоставленные дамы нуждаются в его надменной доблести.

— Было бы справедливо, — ответил еще один голос, — если бы принцесса Геневра милостиво отпустила того, кого мудрость ее мужа сумела заманить сюда.

До глубины души возмущенный тем, что он услышал, Кеннет уже собирался было бежать из шатра, пренебрегая опасностью, когда его внимание вдруг привлек первый голос:

— Нет, в самом деле, наша кузина Эдит должна прежде всего узнать, как вел себя этот хваленый рыцарь, и мы должны представить ей возможность воочию убедиться, что он изменил своему долгу. Этот урок может пойти ей на пользу; поверь мне, Калиста, я иногда думаю, что она уже приблизила к себе этого северного искателя приключений больше, чем того допускает благоразумие.

Затем послышался другой голос, видимо превозносивший благоразумие и мудрость леди Эдит.

— Благоразумие? — послышался ответ. — Это просто гордость и желание казаться более недоступной, чем кто-либо из нас. Нет, я не уступлю. Вы хорошо знаете, что, когда мы провинимся, никто не укажет нам на наш промах так вежливо и так точно, как леди Эдит. Да вот и она сама.

На занавеси появился силуэт женщины, вошедшей в шатер, и он медленно скользил по полотну, пока не слился с другими силуэтами. Несмотря на разочарование, которое он испытал, несмотря на оскорбление, причиненное ему королевой Беренгарией по злему умыслу или просто для забавы (ибо он уже решил, что самый громкий голос, говоривший повелительным тоном, принадлежал жене Ричарда), рыцарь почувствовал облегчение, узнав, что Эдит не была соучастницей в обмане,

жертвой которого он оказался. Его одолело любопытство и желание узнать, что будет дальше, и вместо того, чтобы поступить благоразумно и немедленно спастись бегством, он стал искать какую-нибудь щелку или скважину, чтобы видеть и слышать все.

«Уж конечно, — подумал он, — королева, которая ради забавы изволила подвергнуть опасности мою репутацию и, может быть, даже мою жизнь, не вправе жаловаться, если я воспользуюсь случаем, который посылает мне судьба, чтобы узнать о ее дальнейших намерениях».

Ему казалось, что Эдит ожидает приказания королевы. По-видимому, та не хотела говорить, боясь, что не сможет удержаться от смеха и рассмешит своих собеседниц. Кеннет мог только расслышать сдержанное хихиканье и веселые голоса.

— Ваше величество, — сказала наконец Эдит, — видимо в хорошем настроении, хотя, я думаю, близится время сна. Я уже собиралась лечь, когда получила приказание прибыть в распоряжение вашего величества.

— Я не задержу тебя надолго, кузина, и не оторву от сна, — сказала королева, — хотя боюсь, что ты не скоро уснешь, если я скажу, что твое пари проиграно.

— О нет, ваше величество, — сказала Эдит, — это была шутка, о которой не стоит говорить. Я не держала пари, хоть вашему величеству и угодно было на этом настаивать.

— Однако, несмотря на наше паломничество, ты во власти сатаны, моя дорогая кузина, и он заставляет тебя лгать. Разве ты можешь отрицать, что побилась об заклад на свое рубиновое кольцо против моего золотого браслета, что этот рыцарь Леопарда, или как там его зовут, не покинет своего поста, несмотря ни на какие соблазны.

— Ваше величество слишком милостивы ко мне, чтобы я смела вам противоречить, — ответила Эдит, — но эти дамы, если захотят, могут засвидетельствовать, что вы, ваше величество, предложили такое пари и сняли кольцо с моего пальца, хотя я возражала, что не к лицу девушке давать в залог кольцо.

— Нет, но... леди Эдит, — сказал другой голос, — вы должны согласиться, что очень уверенно говорили о доблести рыцаря Леопарда.

— А если и так, — сказала сердито Эдит, — разве это повод к

тому, чтобы льстить ее величеству? Я говорила об этом рыцаре так, как все другие, которые видели его в бою. Мне нет никакой выгоды в том, чтобы хвалить его, тебе — чтобы порочить его. О чем могут говорить женщины в лагере, как не о воинах и подвигах?

— Благородная леди Эдит, — сказал третий голос, — не может простить Калисте и мне, что мы рассказали вашему величеству, как она уронила два бутона роз в часовне.

— Если у вашего величества, — сказала Эдит тоном, в котором Кеннет уловил нотку почтительного упрека, — нет больше приказаний и мне остается только выслушивать шутки ваших приближенных, я очень прошу вашего разрешения удалиться.

— Помолчи, Флориза, — сказала королева, — не злоупотребляй нашей снисходительностью. Не забывай разницу между тобой и родственницей английского королевского дома. Но как вы, моя милая кузина, — продолжала она, переходя на прежний шутливый тон, — как вы, такая добрая, могли рассердиться на нас, бедных, за то, что мы несколько минут смеялись, когда столько дней было посвящено плачу и скрежету зубовному?

— Пусть велико будет ваше веселье, ваше величество, — сказала Эдит, — но я предпочла бы не улыбаться всю жизнь, чем...

Она не договорила, видимо из почтения, но Кеннет понял, что она была очень взволнована.

Беренгария принадлежала к Наваррской династии. Она отличалась беспечным, но добродушным характером.

— Но в чем же в конце концов обида? — спросила она. — Заманили сюда молодого рыцаря; он бросил — или его заставили бросить — свой пост, на который в его отсутствие никто не будет покушаться, бросил ради своей дамы сердца. Надо отдать справедливость твоему защитнику, милая, мудрый Нектабанус мог убедить его, только упомянув твое имя.

— Боже мой! Вы правду говорите, ваше величество? — сказала Эдит, и в ее голосе зазвучала тревога, непохожая на ее прежнее волнение. — Но вы не можете говорить так, не затрагивая вашей собственной чести и моей, родственницы вашего супруга. Скажите, что вы только пошутили, моя госпожа, и простите меня за то, что я на минуту приняла ваши слова всерьез.

— Леди Эдит, — сказала королева с оттенком недовольства в

голосе,

— сожалеет о кольце, которое мы у нее выиграли. Мы возвратим его вам, милая кузина, но, в свою очередь, вы не должны попрекать нас маленькой победой над вашей мудростью, которая столь часто осеняла нас, как знамя осеняет войско.

— Победой! — воскликнула Эдит, с негодованием. — Победу будут торжествовать неверные, когда узнают, что королева Англии может играть честью родственницы ее мужа.

— Вы сердитесь, милая кузина, что лишились своего любимого кольца,

— сказала королева. — Ну что ж, если вы отказываетесь признать ваше пари, мы откажемся от наших прав. Ваше имя и этот залог привели его сюда; но на что нам приманка, когда рыба уже поймана.

— Госпожа, — с нетерпением ответила Эдит, — вам хорошо известно, что стоит вашей милости пожелать какую-нибудь из моих вещей, как она немедленно станет вашей. Но я отдала бы целый мешок рубинов, лишь бы моим кольцом и моим именем не пользовались, чтобы толкнуть доблестного рыцаря на преступление и, быть может, навлечь на него позор и наказание.

— О, мы опасаемся за жизнь нашего верного рыцаря, — сказала королева. — Вы недооцениваете нашу силу, милая кузина, когда говорите о жизни, погубленной ради нашей забавы. О леди Эдит, и другие имеют влияние на сердца закованных в латы воинов так же, как и вы: даже сердце льва создано из плоти, а не из камня. И верьте мне, я имею достаточно влияния на Ричарда, чтобы спасти этого рыцаря, верность которого так глубоко затрагивает леди Эдит, от наказания за ослушание королевскому приказу.

— Заклинаю вас святым крестом, ваше величество, — сказала Эдит (и Кеннет, охваченный самыми противоречивыми чувствами, услышал, как она упала к ногам королевы), — во имя нашей любви к святой деве и во имя каждого святого, записанного в святцах, не делайте этого! Вы не знаете короля Ричарда (вы ведь недавно повенчаны с ним), ваше дыхание может скорее одолеть самый буйный западный ветер, чем ваши слова могут убедить моего царственного родственника простить воинское преступление. Ради бога, отпустите этого рыцаря, если правда, что вы заманили его сюда. Я готова покрыть себя позором, сказав, что это я пригласила

его, если бы знала, что он вернулся туда, куда зовет его долг!

— Встань, встань, кузина, — сказала королева Беренгария, — уверяю тебя, что все устроится к лучшему. Поднимись, милая Эдит; я жалею о том, что сыграла шутку с рыцарем, к которому ты проявляешь столько внимания. Не ломай руки... Я готова поверить, что ты его не любишь, готова поверить чему угодно, лишь бы не видеть тебя такой несчастной. Говорю тебе — я возьму вину на себя перед королем Ричардом, защищая твоего честного северного друга, нет — доброго знакомого, раз ты не считаешь его другом. Не смотри на меня с укоризной. Мы прикажем Нектабанусу отвести этого рыцаря обратно на его пост. Мы сами при случае окажем ему милость, вознаградив его за это глупое приключение. Я думаю, он притаился в одном из соседних шатров.

— Клянусь своей короной из лилий и скипетром из лучшего тростника,

— сказал Нектабанус, — ваше величество ошибаетесь, он ближе, чем вы думаете: он спрятан там, за занавесом.

— И он слышал каждое наше слово! — с удивлением воскликнула королева. — Сгинь, злое, безумное чудовище!

Как только она произнесла эти слова, Нектабанус выбежал из шатра с таким воем, что невозможно было понять, ограничилась ли Беренгария этим восклицанием или как-то более резко выразила свое возмущение.

— Что же теперь делать? — растерянно прошептала королева, обращаясь к Эдит.

— То, что подобает, — твердо ответила Эдит. — Мы должны увидеть этого рыцаря и попросить у него прощения.

С этими словами она начала быстро отвязывать занавес, закрывавший вход в другую половину шатра.

— Ради бога... не надо... Подумай, что ты делаешь, — сказала королева, — в моем шатре... в таком наряде... в этот час... моя честь...

Но прежде, чем она закончила свои увещания, занавес упал, и вооруженный рыцарь предстал перед взорами придворных дам. В эту жаркую восточную ночь королева и ее приближенные были в более легких одеяниях, чем того требовало их положение в присутствии рыцаря. Вспомнив об этом, королева вскрикнула и выбежала в другую часть шатра, которую ничто уже не скрывало

от взоров Кеннета. Охваченная скорбью и волнением, а также желанием скорее объясниться с шотландским рыцарем, леди Эдит, вероятно, забыла, что локоны ее были растрепаны, да и одета она была легче, чем того требовал этикет от высокопоставленных дам в тот далекий, не столь уж щепетильный и жеманный век. На ней было свободное платье из легкого розового шелка, восточные туфли, второпях надетые на босые ноги, и шаль, небрежно накинутая на плечи. Волна растрепанных волос почти скрывала от взоров ее раскрасневшееся от возбуждения лицо, врожденная скромность боролась в ней с нетерпеливым желанием увидеть рыцаря.

Хотя Эдит понимала свое положение и отличалась большой деликатностью (лучшим украшением прекрасного пола), заметно было, что она жертвует стыдливостью, чтобы исполнить свой долг в отношении того, кто ради нее совершил преступление. Она плотнее укутала шею и грудь шалью и поспешно отставила в сторону светильник, слишком ярко озарявший ее. Кеннет продолжал неподвижно стоять там, где он был обнаружен, но она не отступила, а сделала несколько шагов вперед и произнесла:

— Скорее вернитесь на ваш пост, храбрый рыцарь! Вас обманом заманили сюда! Не спрашивайте меня ни о чем!

— Мне нечего спрашивать, — сказал рыцарь, опускаясь на одно колено с выражением слепой преданности святого, молящегося перед алтарем, и опустив глаза, чтобы взглядом не усилить смущение дамы его сердца.

— Вы всё слышали? — нетерпеливо сказала Эдит. — Ради всех святых! Что же вы медлите — каждая минута усугубляет ваш позор!

— Я знаю, что покрыл себя позором, и я узнал это от вас, — отвечал Кеннет. — Мне все равно, когда меня постигнет кара. Исполните лишь одну мою просьбу, а потом я постараюсь смыть свой позор кровью в бою с неверными.

— Не делайте этого, — сказала дама его сердца. — Будьте благоразумны, не мешкайте здесь: все еще может уладиться, если вы поторопитесь.

— Я жду только вашего прощения, — сказал рыцарь, все еще коленопреклоненный, — за мое самомнение, за то, что я поверил, будто мои услуги могут понадобиться вам.

— Я прощаю вас! О, мне нечего прощать! Ведь я была причиной вашего позора. Но — уходите! Я прощаю вас и ценю вас... как каждого храброго крестоносца, но — только уходите!

— Сначала возьмите обратно этот драгоценный, но роковой залог, — сказал рыцарь, протягивая кольцо Эдит, выразившей явное нетерпение.

— О нет, нет! — сказала она, отказываясь взять его. — Сохраните его, сохраните как знак моих чувств... то есть моего раскаяния. А теперь уходите, если не ради себя, то ради меня!

Почти полностью вознагражденный за утраченную честь, о чем ясно говорил ее голос, проявлением внимания, которое она оказала, заботясь о его спасении, Кеннет поднялся с колена, бросив беглый взгляд на Эдит, отвесил низкий поклон и, казалось, собирался уйти. В этот момент девичья стыдливость, уступившая раньше более сильным чувствам, вновь пробудилась в ней; она погасила светильник и поспешила покинуть шатер, оставив Кеннета в полном мраке наедине со своими мыслями.

«Я должен подчиниться ей», — эта первая ясная мысль разбудила его от грез, и он кинулся к тому месту, откуда проник в шатер. Чтобы выйти тем же путем, как он вошел, требовалось время и осторожность, и он прорезал своим кинжалом большое отверстие в стенке шатра. Выйдя на свежий воздух, он почувствовал, что одурманен, изнемогает от наплыва противоречивых чувств и еще не может отдать себе отчета во всем происшедшем. Мысль о том, что леди Эдит приказала ему спешить, заставила его ускорить шаги. Между веревками и шатрами он вынужден был двигаться с большой осторожностью, пока не достиг широкого прохода, откуда они с карликом свернули в сторону, чтобы не быть замеченными стражей, охранявшей шатер королевы. Ему приходилось идти очень медленно и с осторожностью, чтобы не упасть или не загреметь доспехами, что могло бы поднять тревогу в стане. Когда он выходил из шатра, легкое облако скрыло луну, и сэр Кеннету пришлось преодолеть также и это препятствие, в то время как голова его кружилась, сердце было полно всем пережитым, а рассудок отказывался подчиняться.

Вдруг он услышал звуки, сразу вернувшие ему самообладание. Сначала он услышал отчаянный, громкий лай, за которым

последовал предсмертный вой. Ни один олень, услышавший лай Росваля, не делал такого дикого прыжка, с каким Кеннет кинулся на предсмертный крик благородного пса: при обыкновенной ране он не выдавал своих страданий даже жалобным взором. Быстро преодолев расстояние, отдалявшее его от прохода, Кеннет помчался к холму. Несмотря на свои доспехи, он бежал быстрее любого невооруженного человека. Не замедляя бега на крутом склоне, он в несколько минут оказался на верхней площадке.

В это время луна вышла из облаков. Он увидел, что знамя Англии исчезло, древко, на котором оно развевалось, валяется сломанным на земле, и около него лежит его верный пес, видимо уже в агонии.

Глава XIV

*Честь, с юности лелеемая мною,
Хранимая и в старости, погибла.
Иссякла честь, и дно потока сухо,
И с визгом босоногие мальчишки
На дне иссохшем камешки собирают.*
«Дон Себастьян»

Вихрь впечатлений ошеломил Кеннета. Его первой заботой было отыскать виновников похищения английского знамени, однако он не мог найти никаких следов. Второй заботой, которая может показаться странной лишь тому, для кого собака никогда не была близким другом, было осмотреть верного Росваля, как видно смертельно раненного на посту, который его хозяин покинул, поддавшись искушению. Он приласкал его; пес, преданный до конца, казалось забыл свою боль, довольный тем, что пришел его хозяин. Он продолжал вилять хвостом и лизать ему руку, даже когда, жалобно взвизгивая, давал понять, что агония усиливается. Попытки Кеннета вынуть из раны обломки стрелы или дротика, только увеличивали его страдания. Но Росваль после этого удвоил свои ласки: он, видимо, боялся оскорбить хозяина, показывая, что ему больно, когда бередят его рану. Столь трогательная привязанность пса еще больше усилила охватившее Кеннета

сознание позора и одиночества. Он терял своего единственного друга именно тогда, когда навлек на себя презрение и ненависть окружающих. Сильный духом рыцарь не выдержал, его охватил припадок мучительного отчаянья, и он разразился громкими рыданиями.

Пока он предавался своему горю, он услышал ясный и звучный голос, похожий на голос муэдзина в мечети. Торжественным тоном он произнес на лингва-франка, доступном пониманию и христиан и сарацин, следующие слова:

— Несчастье похоже на время дождей: оно прохладно, безотраднo, недружелюбно как для людей, так и для животных. Однако в эту пору зарождаются цветы и плоды, финики, розы и гранаты.

Рыцарь Леопарда обернулся и узнал арабского лекаря. Последний, подойдя незамеченным, сел поджав ноги немного позади и с важностью, но не без оттенка сострадания произнес это утешительное изречение, заимствованное из корана и его комментаторов. Как известно, на Востоке мудрость выражается не в находчивости, а в памяти, благодаря которой можно вспомнить и удачно применить «то, что написано».

Стыдясь, что его застигли в момент такого чисто женского проявления скорби, Кеннет с негодованием утер слезы и опять обратился к своему умирающему любимцу.

— Поэт сказал, — продолжал араб, не обращая внимания на смущение рыцаря и его угрюмый вид: «Бык предназначен для поля, верблюд — для пустыни. Разве рука лекаря менее пригодна, чем рука воина, чтобы лечить раны, хотя рука его менее пригодна к тому, чтобы их наносить?»

— Этому страждущему, хаким, ты не можешь помочь, — сказал Кеннет, — да и, кроме того, он, по вашему поверью, — животное нечистое.

— Если аллах даровал животному жизнь, а равно и чувство боли и радости, — сказал лекарь, — было бы греховной гордостью, если бы тот мудрец, которого он просветил, отказался продолжить существование или облегчить страдания этого существа. Для мудреца нет разницы, лечить ли какого-нибудь жалкого конюха, несчастного пса или победоносного монарха. Позволь мне осмотреть раненое животное.

Кеннет молча согласился; лекарь осмотрел рану Росваля с такой же заботой и вниманием, как если бы это было человеческое существо. Затем он достал ящик с инструментами, опытной рукой, действуя пинцетом, вынул осколки стрелы из раненого плеча и вяжущими средствами и бинтами остановил кровотечение. Пес терпеливо позволял ему выполнять все это, как бы понимая его добрые намерения.

— Это животное можно вылечить, — сказал эль-хаким, обращаясь к Кеннету. — Позволь мне перенести его в мой шатер и лечить с той заботой, которой заслуживает его благородная порода. Знай, что твой слуга Адонбек умеет ценить родословные собак и благородных коней и разбирается в них не хуже, чем в болезнях людей.

— Возьми его с собой, — сказал рыцарь, — я охотно дарю тебе его, если он поправится. Я у тебя в долгу за то, что ты выходил моего оруженосца; мне нечем больше тебя отблагодарить. Я никогда уже не буду трубить в рог и травить борзыми диких зверей.

Араб ничего не ответил, но хлопнул в ладоши; тотчас показались два смуглых раба. Он отдал им приказание на арабском языке и получил ответ: «Слышать — это исполнять». Подняв раненого пса, они понесли его, и хотя глаза его были устремлены на хозяина, он был слишком слаб, чтобы сопротивляться.

— Прощай, Росваль, — сказал Кеннет, — прости, мой последний и единственный друг. Ты слишком благороден, чтобы оставаться у такого, как я.

— Как бы я хотел, — воскликнул он, когда рабы удалились, — оказаться на месте этого благородного животного и умереть как он!

— Написано, — сказал араб, хотя эти слова не были обращены к нему,

— что все твари созданы, чтобы служить людям. Повелитель земли говорит как безумец, желая отказаться от своих надежд здесь и на небе и унизиться до ничтожной твари.

— Пес, который умирает, выполняя свой долг, — строго сказал рыцарь, — лучше человека, который остается жить, изменив своему долгу. Оставь меня, хаким. Тебе доступны тайны самой чудесной науки, какой когда-либо обладал человек, но рана

душевная — вне твоей власти.

— Но я мог бы помочь, если страждущий пожелает объяснить, в чем заключается его недуг, и захочет получить совет от лекаря, — сказал Адонбек эль-хаким.

— Так знай же, — сказал Кеннет, — если уж ты так настойчив, что прошлой ночью знамя Англии было водружено на этом холме... я был назначен его караулить... настает рассвет... вот лежит сломанное древко... знамя похищено... а я еще жив.

— Как? — сказал хаким, окинув рыцаря испытующим взором. — Твой панцирь цел, на оружии нет следов крови, а между тем по тому, что о тебе говорят, трудно подумать, что ты вернулся после боя. Тебя заманили с поста... заманили черные очи, нежные ланиты одной из тех гурий, которым вы, назаряне, служите так усердно, как подобает служить аллаху. Эти создания из плоти и крови, подобные нам, достойны лишь земной любви. Я знаю, что это было так, ибо так всегда свершалось грехопадение со времен султана Адама.

— А если бы это было так, лекарь, — сказал Кеннет угрюмо, — какое лекарство можешь ты предложить?

— Знание — мать могущества, — ответил эль-хаким, — а доблесть дает силу. Слушай меня. Человек — не дерево, прикованное к одному месту на земле, и не бездушный коралл, вечно живущий на одной голой скале. В твоём священном писании написано: «Если тебя преследуют в одном городе, беги в другой». И мы, мусульмане, знаем, что Мухаммед, пророк аллаха, изгнанный из священного города Мекки, нашел пристанище у друзей в Медине.

— А мне что за дело до этого? — спросил шотландец.

— Очень даже большое, — ответил лекарь. — И мудрец бежит от бури, которой он не может повелевать. Поэтому спеши и беги от мщения Ричарда под сень победоносного знамени Саладина.

— Итак, я могу скрыть свой позор, — с иронией сказал Кеннет, — в стане неверных, где само слово «позор» неизвестно? А может быть, мне стоит пойти и еще дальше? Не означает ли твой совет, что я должен надеть тюрбан? Мне остается только отступить от своей веры, чтобы довершить бесчестие.

— Не богохульствуй, назарянин, — сурово ответил лекарь, — Саладин обращает в веру пророка лишь тех, кто сам уверует в

правоту его заповедей. Открой глаза для истинного света, и великий султан, щедрость которого неограниченна, как и его могущество, может даровать тебе целое королевство. Оставайся слеп, если хочешь, и хотя ты будешь обречен на страдания в загробной жизни, здесь, на земле, Саладин сделает тебя богатым и счастливым. Не бойся. Твое чело будет увенчано тюрбаном, только если ты сам этого захочешь.

— Я хотел бы одного, — сказал рыцарь, — чтобы моя несчастная жизнь померкла с заходящим солнцем; так, вероятно, и случится.

— Но ты неразумен, назарейнин, — сказал эль-хаким, — если отклоняешь это честное предложение; я имею большое влияние на Саладина, благодаря мне он окажет тебе большие милости. Послушай, сын мой: этот крестовый поход, как вы называете вашу безумную затею, похож на большой корабль, разбиваемый волнами. Ты сам ехал к могущественному султану, чтобы передать ему условия перемирия, предложенного королями и принцами, войско которых здесь собрано, и, быть может, сам не знал, в чем заключается твое поручение.

— Я этого не знал и знать не хочу, — нетерпеливо сказал рыцарь, — и какая мне польза в том, что я недавно был посланцем государей, когда до наступления ночи мой обещанный труп будет болтаться на виселице?

— Нет, говорю тебе, этого с тобой не может случиться, — сказал лекарь. — Все ищут расположения Саладина. Совет государей, созданный для борьбы с ним, сделал ему такие предложения мира, на которые при других условиях он с честью мог бы согласиться. Некоторые сделали ему предложения на собственный страх и риск, с тем чтобы увести свое войско из лагеря королей Франгистана и даже защищать знамя пророка. Но Саладин не будет брать на службу таких вероломных и корыстолюбивых изменников. Король королей будет вести переговоры с королем Львом. Саладин заключит мир только с Мелеком Риком. Он будет или вести с ним переговоры, или сражаться как с храбрым воином. С Ричардом он по своей воле согласится на такие условия, каких от него не могли бы добиться силой мечей всей Европы. Он разрешит свободное паломничество в Иерусалим и во все те места, которые составляют предметы

поклонения назарейн. Он готов даже поделить свою империю со своим братом Ричардом и разрешить содержать христианские гарнизоны в шести больших городах Палестины и один — в Иерусалиме, оставляя их под непосредственной командой военачальников Ричарда, который с его согласия будет носить титул короля — покровителя Палестины. Дальше, как тебе ни покажется странным и почти невероятным, знай, рыцарь, так как твоей чести я могу доверить даже эту, почти невероятную тайну: знай, это он намерен скрепить священным союзом единение храбрейших и благороднейших владык Франгистана и Азии, сделав своей супругой христианскую девушку — родственницу короля Ричарда, известную под именем леди Эдит Плантагенет. 17

— Не может быть! — воскликнул Кеннет, который равнодушно слушал первую часть речи эль-хакима, последние же слова задели его за живое. Он вздрогнул, как будто чья-то рука прикоснулась к его обнаженному нерву. Затем с большим усилием, умерив тон, он сдержал свое возмущение и, прикрываясь личиной подозрительного недоверия, продолжал этот разговор, чтобы получить как можно больше сведений о заговоре, направленном, как ему казалось, против чести и счастья той, которую он любил с прежней силой несмотря на то, что страсть к ней погубила его надежды и честь.

— Но какой же христианин, — сказал он, стараясь сохранить спокойствие, — мог бы согласиться на такой противоестественный союз, как брак христианской девушки с неверным сарацином?

— Ты ослеплен своей верой, назарейнин, — сказал хаким. — Разве ты не знаешь, что в Испании мусульманские принцы женятся на благородных назарейнских девушках, не вызывая негодования ни у мавров, ни у христиан? А благородный султан, в полной мере доверяя чести рода Ричарда, предоставит английской девушке ту свободу, какую ваши франкские обычаи предоставляют женщинам. Он позволит ей свободно исповедовать свою веру (ведь, по правде сказать, безразлично, к какой вере принадлежат женщины), и он так высоко вознесет ее над всеми женами своего гарема, что она

17

Это может показаться настолько необычайным и невероятным предложением, что необходимо оговориться, что такое действительно было сделано. Историки, однако, смешивают вдовствующую королеву неаполитанскую, сестру Ричарда, с невестой, а брата Саладина принимают за жениха. По-видимому, им не было известно о существовании Эдит Плантагенет. (Прим. автора.)

будет его единственной женой и полновластной королевой.

— Как? — воскликнул Кеннет. — И ты смеешь думать, мусульманин, что Ричард позволит своей родственнице, высокородной добродетельной принцессе, стать в лучшем случае первой наложницей в гареме неверного? Знай, хахим, что самый ничтожный из свободнорожденных христиан отверг бы всю эту роскошь, купленную ценой бесчестья его дочери.

— Ты ошибаешься, — сказал хахим. — Филипп Французский и Генрих Шампанский, а также другие главные союзники Ричарда нисколько не удивились, узнав об этом предложении, и обещали по мере сил содействовать этому союзу, который мог бы привести к окончанию разорительных войн, а мудрый архиепископ Тирский взялся сообщить об этом предложении Ричарду, не сомневаясь, что он доведет этот план до благоприятного конца. Мудрый султан до сих пор держал свое предложение в тайне от других, как, например, от маркиза Монсерратского и гроссмейстера ордена тамплиеров, потому что знал, что им не дорога жизнь и честь Ричарда и что они хотели бы поживиться на его смерти и позоре. Поэтому, рыцарь, на коня! Я дам тебе грамоту, которая возвеличит тебя в глазах султана. И не думай, что ты навсегда покидаешь свою страну и веру, за которую она сражается, — ведь интересы обоих монархов скоро станут общими. Твои советы очень пригодятся Саладину, ибо ты сможешь подробно рассказать ему о браке у христиан, о том, как они обращаются с женщинами, об их законах и обычаях, которые во время обсуждения вопросов о мире ему полезно было бы знать. Правая рука султана владеет сокровищами Востока, она источник щедрости. И, если ты захочешь, Саладину, заключившему союз с Англией, не трудно будет добиться от Ричарда твоего прощения и вернуть тебе его благосклонность. И он предоставит тебе почетный пост полководца в войсках, которые могут быть оставлены в распоряжении короля Англии для совместного управления Палестиной. Итак — на коня! Перед тобой широкая дорога.

— Хахим! — сказал шотландский рыцарь. — Ты хороший человек; ты спас жизнь Ричарду, королю Англии, и, кроме того, моему бедному оруженосцу Страукану. Только поэтому я до конца дослушал твой рассказ и предложение. Если бы оно было сделано другим мусульманином, а не тобой, я бы покончил с ним ударом

кинжала. Хаким, платя добром за добро, я советую тебе позаботиться о том, чтобы тот сарацин, который предложит Ричарду союз между кровью Плантагенетов и его проклятой расой, надел бы такой шлем, который мог бы защитить его от ударов боевого топора, подобного тому, какой снес ворота Аккры, иначе ему не поможет даже твое искусство.

— Значит, ты окончательно решил не искать убежища в войске сарацин? — спросил лекарь. — Но помни, что ты остаешься здесь на верную гибель, а твой закон, как и наш, запрещает человеку вторгаться в святилище его собственной жизни.

— Сохрани боже! — сказал шотландец, перекрестившись. — Но нам так же запрещено избегать кары, которую заслужили наши преступления. И поскольку твои понятия о верности долгу настолько скудны, я начинаю жалеть, что подарил тебе своего пса: если он выживет, у него будет хозяин, ничего не смыслящий в его достоинствах.

— Подарок, о котором пожалели, должен быть возвращен обратно, — сказал эль-хаким. — Но мы, лекари, даем обет не отсылать от себя неизцеленного больного. Если пес выживет, он опять будет твоим.

— Послушай, хаким, — отвечал Кеннет, — люди не рассуждают о соколе или о борзой, когда лишь час рассвета отделяет их от смерти. Оставь меня, чтобы я подумал о своих грехах и примирился с небом.

— Оставляю тебя с твоим упрямством, — сказал лекарь. — Туман застигает пропасть от тех, кому суждено в нее упасть.

Он стал медленно удаляться, время от времени оборачиваясь, чтобы посмотреть, не позовет ли его рыцарь, крикнув или махнув рукой. Наконец его фигура в тюрбане затерялась в лабиринте раскинутых внизу шатров, белеющих в предрассветных сумерках, заставивших поблекнуть лунный свет.

Хоть слова лекаря Адонбека и не произвели того впечатления, на которое рассчитывал мудрец, они зажгли в душе шотландца желание жить, сохранить жизнь, которую он считал обещанной: она казалась ему запачканной одеждой, которую он не сможет больше носить. Он восстановил в памяти все, что произошло между ним и отшельником, и что он наблюдал между отшельником и Шееркофом (или Ильдеримом), стараясь также

найти подтверждение того, что хаким рассказывал ему о секретном пункте мирного договора.

«Обманщик в одежде монаха, — воскликнул он про себя, — старый лицемер! Он говорил о неверующем муже, обращенном к истине своей верующей женой. А что я знаю? Только, может быть, то, что изменник этот показывал проклятому сарацину прелести Эдит Плантагенет, чтобы эта собака могла судить, подходит ли царственная христианская леди для гарема этого басурмана. Если бы я мог опять схватиться с этим неверным Ильдеримом или как его там зовут и держать покрепче, чем борзая держит зайца! Уж ему-то, во всяком случае, никогда не пришлось бы выполнять поручение, позорящее христианского короля или благородную добродетельную девушку. А я... Ведь мои часы быстро превращаются в минуты... Но пока я жив и еще дышу, надо что-то сделать, и как можно скорее».

Немного поразмыслив, он швырнул прочь свой шлем и зашагал вниз с холма, направляясь к шатру короля Ричарда.

Глава XV

*Певец пернатый Шантеклер
Уж затрубил в свой рог.
«Вставай, — сказал он, — селянин,
Уж заалел восток».
Король Эдвард открыл глаза,
Увидел этот свет...
На кровле ворон возвестил
Начало страшных бед.
«Ты прав, — сказал король, — клянусь
Создавшим эту твердь,
Что Болдуин и те, кто с ним,
Сегодня встретят смерть».*

Чаттертон

В тот вечер, когда Кеннет занял свой пост, Ричард после бурных событий, нарушивших его покой, отправился отдохнуть, воодушевленный сознанием своей безграничной храбрости и

превосходства, проявленных при достижении своей цели в присутствии всего христианского воинства и его вождей. Он знал, что в глубине души многие из них воспринимали посрамление австрийского герцога как победу над ними самими. Таким образом, его гордость была удовлетворена сознанием того, что, повергая ниц одного врага, он унизил целую сотню.

Другой монарх на его месте после такой сцены в тот вечер удвоил бы стражу и оставил в карауле хоть часть своих войск. Но Львиное Сердце распустил даже свой личный караул и оделил стражу лишней порцией вина, чтобы они выпили за его выздоровление и за знамя святого Георгия. Его часть лагеря совсем потеряла бы воинский вид, если бы Томас де Во и герцог Солсбери вместе с другими военачальниками не приняли меры к наведению порядка и дисциплины среди гуляк.

Лекарь остался у короля далеко за полночь и дважды давал ему лекарство, зорко наблюдая за положением луны: по его словам, она могла оказать либо пагубное, либо благотворное влияние на действие снадобья. Около трех часов ночи эль-хаким вышел из королевского шатра и направился к предназначенному для него самого и его свиты шатру. По дороге он заглянул в шатер Кеннета, чтобы навестить своего первого пациента в христианском лагере, старого Страукана. Осведомившись о Кеннете, эль-хаким узнал, на какой пост он был назначен. По-видимому, это известие и привело его к холму святого Георгия, где он нашел его в бедственном положении, о чем было рассказано в предыдущей главе.

Перед восходом солнца слышались тяжелые шаги вооруженного воина, приближавшегося к королевскому шатру. Прежде чем де Во, спавший у постели своего господина чутким сном сторожевого пса, успел вскочить и окликнуть «Кто идет? », рыцарь Леопарда вошел в шатер. Его мужественное лицо выражало мрачную обреченность.

— Что за дерзкое вторжение, сэръ? — сурово спросил де Во, понижая голос, чтобы не разбудить своего повелителя.

— Постой, де Во, — сказал Ричард, проснувшись. — Сэр Кеннет, как подобает воину, пришел с донесением о своем карауле: для таких шатер полководца всегда доступен. — Затем, приподнявшись и опираясь на локоть, он устремил на воина свои светлые глаза. — Говори, шотландец: ведь ты пришел доложить

мне, как бдительно ты нес караульную службу на своем почетном посту. Шелест складок английского знамени достаточно надежная охрана и без столь доблестного рыцаря, каким ты слывешь.

— Никто больше не назовет меня доблестным, — сказал Кеннет. — Моя караульная служба не была ни бдительной, ни почетной... Знамя Англии похищено.

— И ты еще жив и сам говоришь мне об этом? — сказал Ричард тоном насмешливого недоверия. — Но это невозможно. На твоём лице нет ни одной царапины. Что ж ты молчишь? Говори правду: не подобает шутить с королем, но я все же прощу тебя, если это ложь!

— Ложь, ваше величество? — ответил несчастный рыцарь в отчаянии, и в его глазах сверкнул огонь, словно искра, высеченная из кремня. — Надо и это вытерпеть! Я сказал правду.

— Во имя неба и святого Георгия! — воскликнул король в бешенстве, которое, однако, сразу же подавил. — Де Во, походи и осмотри это место. Лихорадка бросилась ему в голову, этого быть не может — доблесть рыцаря тому порукой. Не может быть! Иди скорее или пошли кого-нибудь, если сам не хочешь идти.

Короля прервал сэра Генри Невил. Он вбежал, запыхавшись, и объявил, что знамя исчезло, рыцаря, стоявшего на посту, видно, захватили врасплох и убили, ибо около сломанного древка была лужа крови.

— Но кого я здесь вижу? — сказал Невил, вдруг заметив Кеннета.

— Изменника, — сказал король, вскочив и хватая небольшой топорик, всегда находившийся около его постели. — Изменника, который, как ты сейчас увидишь, умрет смертью предателя. — И он замахнулся, чтобы ударить.

Бледный, но непоколебимый, как мраморная статуя, стоял перед ним шотландец с непокрытой головой, беззащитный, вперив глаза в землю и еле шевеля губами, словно шепча молитву. Против него на расстоянии сабельного удара стоял король Ричард. Его статная фигура была скрыта складками широкой холщовой рубахи, и от стремительного движения правое плечо, рука и часть груди обнажились, позволяя увидеть могучее тело, подобное тому, которому его саксонский предшественник был обязан прозвищем Железный Бок.

Мгновение он стоял, готовый нанести удар, но потом, опустив оружие, воскликнул:

— Невил, но ведь на том месте была кровь. Слушай, шотландец, ты был храбр, ибо я видел, как ты сражаешься. Говори. Ты прикончил двух воров, защищая знамя, или, может быть, одного? Скажи, что ты нанес хоть один хороший удар, защищая нашу честь, и ты можешь уйти из стана, сохранив свою жизнь и свой позор.

— Вы назвали меня лжецом, милорд, — твердо отвечал Кеннет, — но этого я не заслужил. Знайте же, что ни одной капли крови не было пролито для защиты знамени. Лишь бедный пес, более верный, чем его хозяин, пролил свою кровь, исполняя долг, которому изменил его господин.

— Святой Георгий! — воскликнул Ричард, опять замахиваясь на него.

Но де Во бросился между королем и его жертвой и произнес со свойственной ему прямоотой:

— Милорд, только не здесь... и не от вашей руки. Довольно безрассудств за одну ночь. Вы сами доверили охрану вашего знамени шотландцу. Разве я не говорил, что они всегда были и честны и вероломны.¹⁸

— Верно, де Во, сознаюсь: ты был прав, — сказал Ричард. — Мне следовало бы лучше знать людей; я Должен был помнить, как эта лиса Вильгельм обманул меня, когда надо было идти в крестовый поход.

— Милорд, — сказал Кеннет. — Вильгельм Шотландский никогда никого не обманывал, и лишь обстоятельства помешали ему привести свои войска.

— Молчи, презренный! — воскликнул король. — Ты пятнаешь имя государя уже одним тем, что произносишь его. И все же, де Во, — добавил он, — поведение этого человека непостижимо. Трус или изменник, но он не дрогнул и держался твердо под угрозой удара Ричарда Плантагенета, когда мы занесли руку над его

18

Так обычно англичане говорили о своих бедных северных соседях, забыв, что их вторжение в независимую Шотландию заставляло более слабую нацию защищаться, применяя не только силу, но и хитрость. Бесчестие должно было быть поделено между Эдуардам Первым и Третьим, силой навязавшими свое господство этой свободной стране, и шотландцами, которые должны были насильственно принимать присягу без всякого намерения выполнять ее. (Прим. автора.)

плечом, чтобы испытать его рыцарскую доблесть. Если бы он выказал хоть малейший страх, если бы у него дрогнул хоть один мускул, если бы он моргнул хоть одним глазом, я разможил бы его голову, как хрустальный кубок. Но моя рука бессильна там, где нет ни страха, ни сопротивления.

Наступила пауза.

— Милорд... — начал Кеннет.

— Ага, — ответил Ричард, прервав его. — Ты вновь обрел дар речи? Проси помилования у небес, но не у меня: ведь по твоей вине обещана Англия: и будь ты даже моим единственным братом, твоему преступлению не было бы прощения.

— Я не хочу просить милости у смертного, — сказал шотландец. — От вашей милости зависит дать или не дать мне время для покаяния. Если человек в этом отказывает, пусть бог дарует мне отпущение грехов, которое я не могу получить у церкви. Но умру ли я теперь или через полчаса, я умоляю вашу милость дать мне возможность рассказать о том, что близко касается вашей славы как христианского короля.

— Говори, — сказал король, не сомневаясь, что услышит какие-то признания об исчезновении знамени.

— То, что я должен сообщить, — сказал Кеннет, — затрагивает королевское достоинство Англии и может быть доверено только вам одному.

— Выйдите, господа, — сказал король, — обращаясь к Невилу и де Во.

Первый подчинился, но второй не пожелал покинуть короля.

— Если вы сказали, что я прав, — ответил де Во, — я хочу, чтобы со мной и поступали так, как с человеком, который признан правым. Я хочу поступить по-своему. Я не оставлю вас наедине с этим вероломным шотландцем.

— Как, де Во, — гневно возразил Ричард, топнув ногой, — ты боишься оставить меня наедине с предателем?

— Напрасно вы хмурите брови и топаете ногой, государь, — сказал де Во, — не могу я оставить больного наедине со здоровым, безоружного — наедине с вооруженным.

— Ну что же, — сказал шотландец. — Я не ищу предлогов для промедления: я буду говорить в присутствии лорда Гилсленда. Он честный рыцарь.

— Но ведь полчаса назад, — сказал де Во с глубоким вздохом, в котором слышались сожаление и досада, — я то же самое мог бы сказать и о тебе.

— Вас окружает измена, король Англии, — продолжал Кеннет.

— Я думаю, ты прав, — ответил Ричард. — Передо мной яркий пример.

— Измена, которая ранит тебя глубже, чем потеря ста знамен в жаркой схватке. Леди... леди... — Кеннет запнулся и наконец продолжал, понизив голос: — леди Эдит...

— Ах, вот что, — сказал король, настороженно и пристально смотря в глаза предполагаемому преступнику. — Что с ней? При чем здесь она?

— Милорд, — сказал шотландец, — готовится заговор, чтобы опозорить ваш королевский род, выдав леди Эдит замуж за сарацина султана, и ценой этого союза, столь постыдного для Англии, купить мир, столь позорный для христианства.

Сообщение это произвело действие, совершенно противоположное тому, какого ожидал Кеннет. Ричард Плантагенет был одним из тех, кто, по словам Яго, «не стал бы служить богу только потому, что так ему приказал дьявол». Иной совет или известие оказывали на него меньше влияния, чем характер и взгляды того, кто их передавал.

К несчастью, упоминание имени его родственницы напомнило королю о самонадеянном рыцаре Леопарда. Эта черта его характера не нравилась королю и тогда, когда имя Кеннета стояло одним из первых в списках рыцарей. В данную же минуту эта самонадеянность была оскорблением достаточным, чтобы привести вспыльчивого монарха в бешенство.

— Молчи, бесстыдный наглец, — сказал он. — Я велю вырвать твой язык раскаленными щипцами за то, что ты упоминаешь имя благородной христианской девушки. Знай, подлый изменник, что мне уже было известно, как высоко ты осмеливаешься поднимать глаза. Я снисходительно отнесся к этому, даже когда ты обманул нас — ведь ты обманщик и выдавал себя за родовитого воина. Устами, оскверненными признанием в собственном позоре, ты осмелился произнести имя нашей благородной родственницы, к судьбе которой ты проявляешь такой интерес. Не все ли тебе равно, выйдет она замуж за христианина или сарацина? И что тебе

до того, если в стане, где принцы днем превращаются в трусов, а ночью — в воров, где смелые рыцари обращаются в жалких отступников и предателей, — какое дело тебе, говорю я, да и кому-нибудь другому, если мне угодно будет породниться с правдой и доблестью в лице Саладина?

— Поистине, мне нет дела до этого, мне, для которого весь мир скоро превратится в ничто, — смело отвечал Кеннет. — Но если бы меня сейчас подвергли пыткам, я сказал бы тебе, что то, о чем я говорил, много значит для твоей совести и чести. И скажу тебе, король, что если только у тебя есть мысль выдать замуж свою родственницу, леди Эдит...

— Не называй ее, забудь о ней на одно мгновение, — сказал король, опять схватив топор так, что мускулы его сильной руки напряглись и стали похожи на побеги плюща, обвившиеся вокруг дуба.

— Не называть ее, не думать о ней, — повторил Кеннет; его мысли, скованные унынием, вновь обрели гибкость в пылу спора. — Клянусь крестом, в который верю, ее имя будет последним моим словом, ее образ

— моей последней мыслью. Испробуй свою хваленую силу на этой обнаженной голове, попробуй помешать моему желанию.

— Он с ума меня сведет! — вскричал Ричард. Неустрашимая решимость преступника вновь помешала королю привести в исполнение свое намерение.

Прежде чем Томас Гилсленд успел ответить, снаружи послышался какой-то шум, и королю доложили о прибытии королевы.

— Останови ее, останови ее, Невил! — закричал король. — Здесь не место женщинам. Ох и разгорячил же меня этот жалкий изменник! Уведи его, де Во, — шепнул он, — через задний выход: запри его, и ты отвечаешь за него своей головой. Он скоро должен умереть; приведи к нему духовника: мы ведь не убиваем душу вместе с телом. Карауль его: он не будет лишен чести, он умрет как рыцарь, при поясе и шпорах. Пусть измена его была черна, как ад, его храбрость не уступит самому дьяволу.

Де Во, видимо очень довольный, что Ричард не унизил своего королевского достоинства убийством беззащитного пленного, поспешил вывести Кеннета через потайной выход в другой шатер,

где он был обезоружен и ему для безопасности надели кандалы. Де Во с мрачным вниманием наблюдал, как стражники, которым теперь был поручен Кеннет, принимали эти суровые меры предосторожности.

Когда они окончили свое дело, он с торжественным видом сказал несчастному преступнику:

— Королю Ричарду угодно, чтобы вы расстались с жизнью не разжалованным. Ваше тело не будет изувечено, ваше оружие не будет обесчещено, а вашу голову отсечет меч палача.

— Это очень благородно, — сказал рыцарь тихим, покорным голосом, как будто ему была оказана неожиданная милость. — Семья моя тогда не узнает всех этих ужасных подробностей. Ах, отец, отец...

Этот тихий призыв не ускользнул от внимания грубоватого, но добродушного англичанина, и он незаметно провел широкой ладонью по своему суровому лицу.

— Королю Англии Ричарду было также угодно, — промолвил он наконец,

— разрешить вам беседу со святым отцом; по дороге я встретил монаха-кармелита, который может дать вам последнее напутствие. Он ожидает снаружи, куда вы не склонны будете принять его.

— Уж лучше сейчас, — сказал рыцарь. — И здесь Ричард великодушен. Я хотел бы, чтобы он пришел сейчас, жизнь моя и я — мы распрощались, как два путника, дошедшие до перекрестка, где расходятся их дороги.

— Хорошо, — медленно и торжественно сказал де Во. — Мне остается сказать вам последнее слово: королю Ричарду угодно, чтобы вы приготовились к смерти немедленно.

— Да будет воля господина и короля, — покорно отвечал рыцарь, — я не оспариваю приговора и не хочу отсрочки.

Де Во направился к выходу. Он шел очень медленно, остановился у двери и обернулся. Было видно, что все мирские думы уже покинули шотландца и он предан молитве. Английский барон вообще не отличался чувствительностью, однако сейчас чувства сострадания и жалости овладели им с необычайной силой. Он торопливо вернулся к вороху тростника, на котором лежал узник, взял его за одну из связанных рук и со

всей мягкостью, которую только был способен выразить его грубый голос, сказал:

— Сэр Кеннет, ты еще молод, но у тебя есть отец. Мой Ральф, которого я оставил на родине и который объезжает своего пони на берегах Иртинга, быть может доживет до твоих лет, и, если бы не вчерашняя ночь, я был бы счастлив видеть его таким же многообещающим юношей, как ты. Могу ли я что-нибудь сказать или сделать для тебя?

— Ничего, — был печальный ответ. — Я оставил свой пост; знамя, доверенное мне, исчезло. Как только палач и плаха будут готовы, моя голова расстанется с телом.

— Да хранит нас господь! — сказал де Во. — Лучше бы я сам стал на этот пост у знамени. Здесь есть какая-то тайна, мой юный друг, которую всякий чувствует, но в которую нельзя проникнуть. Трусость? Нет! Ты никогда не был трусом в бою. Измена? Не думаю, чтобы изменники умирали так спокойно. Ты был уведен с поста обманом, какой-то хорошо обдуманной военной хитростью; быть может, ты услышал крик несчастной девушки, зовущей на помощь, или задорный взгляд какой-то красотки пленил твой взор. Не стыдись: всех нас искушали такие приманки. Прошу тебя, чистосердечно поведай мне всё — не священнику, а мне, Ричард великодушен, когда пройдет его гнев. Тебе нечего мне доверить?

Злополучный рыцарь отвернулся от добродушного воина и отвечал:

— Нет.

Де Во, исчерпав все доводы убеждения, встал и, скрестив руки, вышел из шатра. Ему стало очень грустно. Он даже негодовал на себя за то, что такой пустяк, как смерть какого-то шотландца, он принимал так близко к сердцу.

«Все же, — сказал он себе, — хотя в Камберленде эти мошенники, неотесанные мужланы, — наши враги, в Палестине на них смотришь почти как на братьев».

Глава XVI

*Не слушай, милый мой, вранья,
Пусть мелет вздор девчонка:
Болтлива милая твоя,
Как всякая бабенка.*

Песня

Высокородная Беренгарня, дочь Санчеса, короля Наваррского, и супруга доблестного Ричарда, считалась одной из самых красивых женщин того времени. Она была стройна и великолепно сложена. Природа наделила ее цветом лица, не часто встречающимся в ее стране, густыми русыми волосами и такими девически юными чертами лица, что она казалась несколькими годами моложе, чем была, хотя ей было не больше двадцати одного. Быть может, сознавая свою необычайную молодость, она разыгрывала девочку с капризными выходками, видимо считая, что все окружающие должны потворствовать причудам столь юной супруги короля. По натуре она была очень добродушна, и если ей платили положенную дань восхищения и преклонения, трудно было бы найти человека более любезного и веселого. Но, как все деспоты, чем большей властью она пользовалась, тем большее влияние хотела иметь. Иной раз, когда все ее честолюбивые желания были удовлетворены, она притворялась нездоровой и подавленной. Тогда лекари начинали ломать себе голову, чтобы найти название ее выдуманным болезням, а придворные дамы напрягали воображение, изобретая новые забавы, новые прически и новые придворные сплетни, чтобы скрасить эти тягостные часы, ставившие их самих в незавидное положение.

Чаще всего они старались развлечь больную озорными проделками, зло подшучивая друг над другом, и, сказать по правде, когда к доброй королеве возвращалась ее жизнерадостность, она была совершенно равнодушна к тому, совместима ли эта забава с ее достоинством и соразмерно ли страдание, испытываемое жертвами этих шуток, с удовольствием, которое они ей доставляли. Она была уверена в благосклонности своего супруга и надеялась на свое высокое положение, полагая, что все

неприятности, причиненные другим, можно легко загладить. Одним словом, она резвилась, как молодая львица, которая не отдает себе отчета, как тяжелы удары ее лап для того, с кем она играет.

Беренгария страстно любила своего мужа, но боялась его надменности и грубости. Чувствуя, что она не ровня ему по уму, она была недовольна тем, что он порою предпочитал беседовать с Эдит Плантагенет только потому, что находил больше удовольствия в разговоре с ней, больше понимания, больше благородства в ее складе ума и мыслях, чем в своей прекрасной супруге. Тем не менее Беренгария не питала к Эдит ненависти и не замышляла против нее зла. Несмотря на свою эгоистичность, она в общем была простодушна и великодушна. Но окружавшие ее придворные дамы, весьма проницательные в таких делах, с некоторых пор уяснили себе, что едкая шутка по адресу леди Эдит — лучшее средство, чтобы отогнать дурное настроение ее милости королевы английской, и это открытие облегчало работу их воображения. В этом все же было что-то неблагородное, поскольку леди Эдит, как говорили, была сиротой. Хоть ее звали Плантагенет или анжуйской красавицей и, по распоряжению Ричарда, она пользовалась привилегиями, предоставленными лишь королевской семье, где она занимала подобающее ей место, не многие знали (да и никто при английском дворе не решался об этом спрашивать), в какой степени родства находилась она со Львиным Сердцем. Приехала она вместе с Элеонорой, вдовствующей английской королевой, и присоединилась к Ричарду в Мессине в качестве одной из придворных дам Беренгарии, свадьба которой приближалась. Ричард оказывал своей родственнице глубокое почтение, королева постоянно держала ее при себе и даже, несмотря на легкую ревность, относилась к ней с подобающим уважением.

Долгое время придворные дамы не могли найти повод придрататься к Эдит, если не говорить о тех случаях, когда они осуждали ее неизящно надетый головной убор или неподходящее платье: считали, что в этих тайнах она была менее сведуща. Молчаливая преданность шотландского рыцаря не прошла, однако, незамеченной. Его одежда, герб, его ратные подвиги, его девизы и эмблемы были предметами зоркого наблюдения, а иногда служили

темой шуток. К этому времени относится паломничество королевы и ее приближенных в Энгаддийский монастырь — путешествие, которое королева предприняла, дав обет помолиться о здоровье своего мужа: на это также ее уговорил архиепископ Тирский, преследуя какие-то политические цели. Там, в часовне этого святого места, сообщавшейся с расположенным наверху кармелитским монастырем, а внизу — с кельей отшельника, одна из приближенных королевы заметила тайный знак, которым Эдит осчастливила своего возлюбленного; она не преминула сейчас же донести об этом королеве. Королева вернулась из своего паломничества с этим прекрасным средством против скуки и плохого настроения; свита ее в то же время пополнилась двумя жалкими карликами, полученными в подарок от развенчанной королевы Иерусалима. Их уродство и слабоумие (неотъемлемая принадлежность этой несчастной расы) могли бы стать забавой для любой королевы. Одна из шуток королевы Беренгарии заключалась в том, чтобы появлением этих страшных и причудливых созданий испытать храброго рыцаря, оставленного в одиночестве в часовне. Но шутка не удалась из-за хладнокровия шотландца и вмешательства отшельника. Тогда она решила испробовать другую, последствия которой обещали быть более серьезными.

Придворные дамы опять сошлись вместе после того, как Кеннет покинул шатер. Сначала королева не обращала внимания на упреки разгневанной Эдит. Она отвечала ей, укоряя в жеманности и изощряясь в остроумии по поводу одежды, предков и бедности рыцаря Леопарда: в словах ее слышались шутливое злорадство и юмор. В конце концов Эдит удалилась к себе, чтобы в одиночестве предаться своим грустным думам. Но когда утром одна из женщин, которой Эдит поручила разузнать о рыцаре, принесла весть о том, что знамя и его защитник исчезли, она бросилась на половину королевы, умоляя ее без промедления отправиться к королю и употребить все свое могущественное влияние, чтобы предотвратить роковые последствия ее шуток.

Королева, в свою очередь напуганная, по обыкновению старалась свалить вину за свое сумасбродство на приближенных и утешить Эдит, приводя самые нелепые доводы. Она была уверена, что не произошло ничего страшного, что рыцарь спит после ночного караула. Ну, а если даже, опасаясь недовольства короля,

он убежал со знаменем, то ведь это только кусок шелка, а он — лишь бедный искатель приключений, и если он на время взят под стражу, она заставит короля простить его: надо лишь подождать, пока пройдет гнев Ричарда.

И она продолжала без устали нести подобную несусветную чепуху, тщетно думая убедить Эдит и себя, что из этой шутки не может выйти никакой беды; в глубине же души она горько раскаивалась. Но в то время как Эдит напрасно старалась остановить поток этой болтовни, она увидела одну из приближенных, входившую в ее шатер. Взор ее выражал смертельный ужас и испуг. При первом взгляде на ее лицо Эдит едва не упала в обморок, но суровая необходимость и благородство характера помогли ей хоть наружно сохранить спокойствие.

— Миледи, — сказала она королеве, — не теряйте времени, спасите жизнь... если только, — добавила она сдавленным голосом, — эту жизнь еще можно спасти.

— Можно, можно, — отвечала леди Калиста. — Я только что слышала, что его привели к королю: еще не все потеряно, но... — тут она разразилась горькими рыданиями, видимо опасаясь и за собственную судьбу, — скоро будет уже поздно, если только мы не попытаемся спасти его.

— Даю обет поставить золотую свечу перед гробом господним, серебряную раку Энгаддийской божьей матери, покров в сто безантов святому Фоме Ортезскому, — сказала королева в волнении.

— Скорее, скорее, миледи! — торопила Эдит. — Призывайте всех святых, если вам угодно, но лучше надейтесь на себя.

— Леди Эдит говорит правду, ваше величество! — воскликнула обезумевшая от страха Калиста. — Скорее в шатер короля и молитесь ему о спасении жизни несчастного рыцаря!

— Иду, сейчас же иду, — сказала королева, вставая и дрожа всем телом.

Придворные дамы были в такой же растерянности и даже не могли помочь ей в утреннем туалете. Спокойная, но смертельно бледная, Эдит сама помогла королеве одеться и одна прислуживала ей, заменяя многочисленную свиту.

— Так-то вы прислуживаете мне, девушки, — сказала королева. Даже теперь она не могла забыть о мелочных

предписаниях придворного этикета. — Вам не стыдно заставлять леди Эдит выполнять ваши обязанности? Видишь, Эдит, они ни на что не годны, никогда я не буду одета вовремя! Мы пошлем за архиепископом Тирским и попросим его быть посредником.

— Нет, нет! — воскликнула Эдит. — Идите сами. Вы совершили зло, вы его и исправляйте.

— Я пойду... я пойду, — сказала королева. — Но если Ричард в гневе, я не осмелюсь говорить с ним: он убьет меня!

— Не бойтесь, миледи, — сказала леди Калиста, лучше всех изучившая нрав своей госпожи. — Даже разъяренный лев при виде такой красавицы забыл бы свой гнев, что же говорить о таком любящем, верном рыцаре, как король Ричард, для которого каждое ваше слово — закон.

— Ты думаешь, Калиста? — сказала королева. — Ты плохо знаешь его. Что ж, я пойду. Но что это? Вы нарядили меня в зеленое, он ненавидит этот цвет. Дайте мне синее платье и поищите рубиновый венец — часть выкупа короля Кипра: он или в стальной шкатулке, или еще где-нибудь.

— Ведь жизнь человека висит на волоске! — воскликнула с негодованием Эдит. — Это невыносимо! Оставайтесь здесь, я сама пойду к королю Ричарду. Ведь это касается меня. Я спрошу его, можно ли так играть честью бедной девушки из его рода, воспользоваться ее именем, чтобы заставить храброго рыцаря забыть свой долг, навлечь на него смерть и позор — и в то же время сделать славу Англии посмешищем всего христианского войска!

Беренгария выслушала этот внезапный взрыв красноречия, оцепенев от ужаса и удивления. Но видя, что Эдит собралась уходить, она позвала еле слышным голосом:

— Остановите, остановите ее!

— Вы не должны туда ходить, благородная леди Эдит, — сказала Калиста, ласково беря ее за руку, — а вам, ваше величество, надо идти немедленно. Если леди Эдит пойдет к королю одна, он ужасно разгневается и не удовольствуется одной жизнью.

— Я пойду... пойду... — сказала королева, уступая необходимости, и Эдит с неохотой остановилась, чтобы подождать ее.

Но теперь она не могла бы пожаловаться на медлительность своей спутницы. Королева быстро накинула на себя просторный плащ, который прикрыл все недостатки ее туалета. В сопровождении Эдит, своих приближенных и нескольких рыцарей и воинов она поспешила к шатру своего грозного супруга.

Глава XVII

*Будь жизнью каждый волос у него
На голове, и если бы о каждом
В четыре раза больше умоляли,
За жизнью жизнь погасла б все равно,
Так угасают пред рассветом звезды,
Так гаснет после пиришества ночного
За лампой лампа в опустевшем зале.*

Старинная пьеса

Когда королева Беренгария направилась во внутренние покои шатра, путь ей преградили камергеры, охранявшие вход. И хотя они обращались к королеве с величайшей почтительностью, все же путь был прегражден. Она слышала, как король строгим голосом давал распоряжение не пропускать ее к нему.

— Вот видишь, — сказала королева, обращаясь к Эдит, как будто она уже исчерпала все доступные ей средства для заступничества, — я знала, что король нас не примет.

В то же время они слышали, как Ричард говорил кому-то:

— Иди и выполняй скорее свой долг: в этом ведь состоит твое счастье — десять безантов, если ты покончишь с ним одним ударом! И вот что, негодяй, зорко смотри, побледнеет ли он и дрогнут ли его веки, моргнут ли глаза; примечай малейшую судорогу лица, дрожание век. Я всегда хочу знать, как храбрецы встречают смерть.

— Если он не дрогнет при взмахе моего клинка, он будет первым, кто так встретит смерть, — ответил хриплый голос; под влиянием чувства благоговения он звучал мягче, чем обычно.

Эдит не могла больше молчать.

— Уж если ваше величество, — сказала она королеве, — не

можете проложить себе дорогу, я это сделаю для вас; если не для вашего величества, то хотя бы для себя самой... Камергеры, королева требует свидания с королем Ричардом: жена хочет говорить со своим мужем.

— Благородная леди, — сказал страж, склоняя перед ней свой жезл. — Я сожалею, что вынужден противоречить вам, но его величество занят вопросом, касающимся жизни и смерти.

— Мы тоже хотим говорить с ним о деле, касающемся жизни и смерти, — сказала Эдит. — Я расчищу дорогу вашему величеству. И, одной рукой отстранив камергера, она другой взялась за полог шатра.

— Не смею противостоять воле ее величества, — сказал камергер, уступая настояниям прекрасной просительницы, и так как он отошел в сторону, королеве ничего не оставалось, как войти в покои Ричарда.

Монарх лежал на своем ложе. Невдалеке, как бы в ожидании дальнейших приказаний, стоял человек; о его ремесле нетрудно было догадаться. На нем был красный камзол с короткими рукавами, едва доходившими до локтя. Поверх камзола он накинул плащ из буйволовой кожи, напоминавший одежду герольда, который он надевал каждый раз, когда собирался приступить к исполнению своих ужасных обязанностей. Спереди плащ был покрыт темно-красными пятнами и брызгами. Как камзол, так и плащ доходили до колен. На ногах у него были сапоги из той же кожи, что и камзол. Капюшон из грубой шерсти прикрывал верхнюю часть лица; казалось, что оно, подобно сове, боится дневного света. Нижняя часть лица была скрыта огромной рыжей бородой, сплетавшейся с космами волос того же цвета. Видны были только глаза, выражавшие неумолимую жестокость. Фигура этого человека указывала на его силу: бычья шея, широкие плечи, руки необычайно длинные и сильные; толстые кривые ноги поддерживали неуклюжее, массивное туловище. Страшилище это опиралось на меч, клинок которого был почти четырех с половиной футов длины. Рукоять длиною в двадцать дюймов, окованная свинцовым кольцом, чтобы уравновешивать тяжесть клинка, возвышалась над его головой. Ожидая приказаний короля Ричарда, он стоял, опираясь на рукоять меча.

При внезапном появлении женщин Ричард, беседовавший со

своим страшным подчиненным, слегка приподнявшись на локте, со взором, обращенным ко входу, быстро повернулся спиной к королеве и ее свите, как бы выражая недовольство и удивление, и закрылся одеялом, состоявшим из двух больших львиных шкур, выбранных им самим или, вероятнее всего, его угодливыми камергерами. Шкуры эти были выделаны в Венеции с таким замечательным искусством, что казались мягче замши.

Беренгария, как мы уже говорили, хорошо знала (а кто из женщин этого не знает?) путь к победе. Бросив быстрый взгляд, полный непритворного ужаса, на страшного участника тайных судилищ ее мужа, она бросилась к ложу Ричарда, упала на колени, сбросила плащ, и чудные золотистые локоны волной залили ее плечи. Она была подобна солнечному лучу, прорвавшемуся сквозь тучу, лишь на бледное ее лицо легла сумрачная тень. Она схватила правую руку короля, которая привычным движением натягивала покрывало. Несмотря на слабое сопротивление, она завладела этой рукой — опорой христианства и грозой язычества. Крепко схватив ее своими прекрасными и нежными ручками, она склонилась над ней и прильнула к ней губами.

— К чему все это, Беренгария? — спросил Ричард, не поворачивая головы, но руки своей он не отнимал.

— Прогони этого человека, его взгляд убивает меня, — пролепетала Беренгария.

— Уходи, — сказал Ричард, все еще не оборачиваясь к жене. — Чего ты ждешь еще? Ты недостойн смотреть на этих женщин.

— Я жду распоряжения вашего величества относительно головы, — ответил палач.

— Убирайся, собака! — воскликнул Ричард. — Схоронить ее по-христиански.

Палач ушел, бросив взгляд на прекрасную королеву, беспорядочный костюм которой еще ярче оттенял ее красоту. Показавшаяся на лице палача улыбка делала это лицо еще более отвратительным, чем его обычное циничное выражение ненависти к людям.

— Что хочешь ты от меня, безумная? — спросил Ричард, медленно и как бы нехотя поворачиваясь к царственной просительнице.

Ни один человек, а тем более такой ценитель красоты, как Ричард, ставивший ее лишь немногим ниже воинской славы, не мог бы без волнения смотреть на трепещущие черты такой красавицы, как Беренгария, и оставаться холодным при прикосновении ее лба и губ к своей руке, орошаемой ее слезами. Он медленно обратил к ней свое мужественное лицо, смотря на нее самым ласковым взглядом, на какой были способны его большие синие глаза, которые так часто сверкали гневными искрами. Он погладил ее белокурую голову и, перебирая своими большими пальцами ее чудные растрепавшиеся локоны, приподнял и нежно поцеловал ее ангельское личико, которое, казалось, старалось укрыться в его руке. Его мощное телосложение, широкий, благородный лоб, величественный взгляд, обнаженные плечи и руки, львиные шкуры, на которых он лежал, и прекрасное, нежное создание, коленопреклоненное у его ложа, — все это могло бы служить моделью для Геркулеса, примирившегося после ссоры со своей женой Деянирой.

— Я еще раз спрашиваю, чего хочет повелительница моего сердца в шатре своего рыцаря в столь ранний и необычный час?

— Прощения, мой милостивый повелитель, прощения, — сказала королева. Сердце заступницы вновь сжалось от страха.

— Прощения? За что? — спросил король.

— Прежде всего за то, что я взяла на себя смелость и без предупреждения вошла к вам.

Она замялась.

— Ты просишь прощания за излишнюю смелость! Скорее солнце могло бы просить прощания у несчастного узника за то, что оно озарило своими лучами его темницу. Но я был занят делом, при котором тебе не подобает присутствовать, моя милая. Кроме того, я не хотел, чтобы ты рисковала своим драгоценным здоровьем там, где еще так недавно свирепствовала болезнь.

— Но сейчас ты здоров? — спросила королева, все еще не решаясь сказать, что привело ее сюда.

— Достаточно здоров, чтобы переломить копье над дерзким шлемом того рыцаря, который откажется признать тебя самой красивой дамой во всем христианском мире.

— Ты не откажешь мне в одной милости? Только в одной?.. Дело идет об одной жизни...

— Ага, продолжай, — сказал король Ричард, нахмутив брови.

— Этот несчастный шотландский рыцарь... — продолжала королева.

— Не говорите мне о нем, мадам, — сказал сурово Ричард. — Он умрет, его судьба решена.

— О нет, мой повелитель, любовь моя! Ведь все это из-за пропавшего шелкового знамени; Беренгария подарит тебе другое, вышитое ее собственными руками, такое великолепное, какое еще ни разу не развевалось ветром. Его будут украшать все мои жемчужины, и на каждую жемчужину я уроню слезу благодарности моему благородному рыцарю.

— Ты не понимаешь того, что говоришь, — сказал король, гневно ее перебивая. — Жемчужины! Все жемчужины Востока не смогут искупить бесчестья Англии. Слезы всех женщин мира не смогут смыть позор, омрачающий славу Ричарда! Уходите прочь, мадам! Знайте свое место, время и круг ваших собственных дел. Сейчас у нас есть дела, в которых вы участвовать не можете.

— Слышишь, Эдит, — прошептала королева. — Мы его только разгневаем.

— Пусть будет так, — сказала Эдит, выступая вперед. — Милорд! Я, ваша бедная родственница, молю вас о справедливости, а не о милосердии. А голосу справедливости монарх должен внимать в любое время и в любом месте.

— А! наша кузина Эдит? — сказал Ричард, приподнимаясь на своем ложе, садясь на край и плотнее запахивая свою рубашку. — Она всегда говорит по-королевски, по-королевски и я ей отвечу. Ее просьба не будет недостойной ни ее, ни меня.

В красоте Эдит было больше одухотворенности и меньше чувственности, чем у королевы. Но нетерпение и волнение вызвали на ее лице румянец, которого иногда ей недоставало. Весь ее облик говорил о такой энергии, во всей ее наружности было столько достоинства, что даже Ричард на время умолк, хотя, судя по его выражению, ему все же хотелось прервать ее.

— Милорд! — сказала она. — Благородный рыцарь, кровь которого вы собираетесь пролить, оказал немало услуг христианскому делу. Он изменил своему долгу, попав в ловушку, которую ему подстроили из-за безрассудной и пустой прихоти. Выполняя приказание, посланное ему одной особой — зачем мне

скрывать, то было приказание, посланное от моего имени, — он на время оставил свой пост. Но какой же рыцарь христианского стана не нарушил бы своего долга по приказанию девушки, в жилах которой несмотря на все ее недостатки, течет кровь Плантагенетов?

— Значит, ты его видела, кузина? — спросил король, закусив губу и стараясь этим сдержать свой гнев.

— Да, государь, — сказала Эдит. — Не время объяснять, зачем я это сделала. Я здесь не для того, чтобы оправдывать себя или обвинять других.

— А где же ты оказала ему подобную милость?

— В шатре ее величества королевы.

— Нашей царственной супруги? — воскликнул Ричард. — Клянусь небом, святым Георгием и всеми святыми, населяющими хрустальные чертоги, это уж слишком смело! Я давно уже заметил дерзкое поклонение этого воина даме, стоящей бесконечно выше его, и старался не обращать на это внимания, и я не препятствовал тому, что та, в чьих жилах течет кровь Плантагенетов, озаряла его лучами, подобно солнцу, освещающему землю. Но клянусь небом и землей! Как же ты могла в ночное время позволить ему войти в шатер нашей царственной супруги и как ты осмеливаешься находить в этом оправдание его дезертирству? Клянусь душой моего отца, Эдит, тебе придется всю жизнь замаливать этот грех в монастыре.

— Государь! — сказала Эдит. — Ваше величие дает вам право быть тираном. Моя честь, мой король и властелин, в одинаковой мере незапятнанна, как и ваша, и ее величество королева может это подтвердить, если найдет нужным. Но я уже сказала, что пришла сюда не для того, чтобы оправдывать себя и обвинять других. Я лишь прошу проявить милосердие к тому, кто совершил проступок, поддавшись сильному искушению, я прошу о милосердии, о котором вы сами, государь, когда-нибудь будете умолять всевышнего судью, быть может, за грехи, еще более тяжкие.

— Неужели это Эдит Плантагенет? — воскликнул король с горечью. — Умная и благородная Эдит Плантагенет? Нет, это до безумия влюбленная женщина, пренебрегающая собственной честью для спасения жизни возлюбленного. Клянусь душой короля

Генриха! Я прикажу, чтобы череп твоего любовника принесли с плахи и повесили рядом с распятием для украшения твоей кельи!

— Если ты велишь принести его с плахи и прибить, чтобы я всегда могла смотреть на него, — сказала Эдит, — я буду поклоняться ему, как останкам благородного рыцаря, жестоко и безвинно убитого, — здесь она запнулась, — тем, который должен был бы знать, как вознаграждать рыцарские подвиги. Ты назвал его моим возлюбленным? — продолжала она, в страстном порыве. — Он действительно любил меня самой преданной любовью. Но он никогда не домогался моей благосклонности ни взглядом, ни словом. Он довольствовался почтительным преклонением, подобно тому, как чтут святых. И такой добрый, храбрый, верный рыцарь должен умереть!

— Бога ради, замолчи! — прошептала королева. — Ты еще больше разгневаешь его.

— Ну что ж, — сказала Эдит. — Непорочная девушка не побоится даже разъяренного льва. Пусть он сделает с благородным рыцарем все, что захочет. Эдит, за которую он умирает, будет оплакивать его память. Я ничего не хочу больше слышать о союзе королей, освященном брачными узами. Я не могла, не хотела при жизни стать его невестой: наше положение было слишком неравным. Но ведь смерть соединяет и великих и малых. Отныне пусть могила будет моим брачным ложем.

Не успел разгневанный король ответить ей, как в шатер быстро вошел монах-кармелит. Он с головой был закутан в длинный плащ с капюшоном из грубой ткани, какие носили монахи его ордена. Упав на колени перед королем, он стал умолять его во имя всех святых остановить казнь.

— Клянусь своим мечом и скипетром! — вскричал Ричард. — Все сговорились свести меня с ума: шуты, женщины, монахи становятся мне поперек дороги. Он еще жив?

— Мой благородный повелитель, — сказал монах. — Я упросил лорда Гилсленда отложить казнь до той поры, пока я не брошусь к вашим ногам...

— И он самовольно исполнил твою просьбу, — сказал король. — Его упрямство неисправимо; что же ты хочешь мне сказать? Говори же, ради самого дьявола.

— Государь мой! Мне поведали важную тайну. Даже шепотом

я не могу открыть ее: она была сказана мне на исповеди. Но клянусь своим священным орденом, этой одеждой, что я ношу, святым Илией, основателем нашего ордена, клянусь тем, кто без земных страданий перешел в другой мир, — клянусь, что юноша этот доверил мне такую тайну, которая, если б я мог тебе ее открыть, отвратила бы тебя от твоего кровожадного замысла.

— Святой отец, — сказал Ричард, — как чту я церковь, да будет свидетелем мой меч, который я ношу для ее защиты. Поведай мне тайну, и я поступлю как сочту нужным. Я не слепой Баярд, чтобы броситься в пропасть под ударами шпор отшельника.

— Государь! — сказал монах, откинув капюшон и распахнув плащ, из-под которого показалась козья шкура. Лицо отшельника, иссушенное солнцем пустыни, изможденное постом и покаянием, скорее напоминало ожившую мумию, чем облик человека. — Двадцать лет я истязал свое брненное тело в пещерах Энгаддина, каясь в страшном грехе. Неужели ты думаешь, что я, отрешившись от мирской суеты, захотел бы погубить свою душу, осквернив ее ложью, или, что я, связанный самой священной клятвой, мог бы выдать тайну, доверенную мне на исповеди? И то и другое одинаково противно моей душе. У меня осталось лишь одно желание — восстановить нашу христианскую твердыню.

— Так, значит, ты тот самый отшельник, — отвечал король, — о котором так много говорят? Ты и впрямь похож на тех духов, что бродят в пустыне. Но Ричард не страшится привидений. И не к тебе ли христианские принцы подослали этого злодея, чтобы начать переговоры с султаном в то время, как я, к кому они прежде всего должны были обратиться за советом, лежал на одре болезни? И ты и принцы — вы можете быть спокойны: я не пойду на поводу у кармелита. А тот гонец, что был послан к тебе, должен умереть; чем больше будешь ты просить за него, тем скорее он умрет.

— Да простит тебе бог, король Ричард! — воскликнул отшельник в сильном волнении. — Ты творишь злое дело, но потом пожалеешь и рад будешь отсечь себе руку, лишь бы вернуть невозвратное. Остановись, безумный слепец!

— Прочь, прочь! — вскричал король, топнув ногой. — Уже солнце вошло над позором Англии, а он еще не отомщен. Уйдите прочь, вы, дамы, и ты, монах, если не хотите услышать приказание, которое не очень-то вам понравится. Клянусь святым Георгием...

— Не клянись! — вдруг раздался голос человека, вошедшего в шатер.

— А, мой ученый хаким, — сказал Ричард, — подойди. Надеюсь, ты пришел, чтобы испытать наше великодушие.

— Я пришел просить, чтобы ты немедленно выслушал меня, немедленно и по весьма важному делу.

— Взгляни сначала на мою жену, хаким, пусть она узнает спасителя ее мужа.

Скрестив руки по восточному обряду, опустив глаза и приняв почтительную позу, врач проговорил:

— Не мне смотреть на красоту, когда блеск ее не закрыт чадрой.

— Уйди, Беренгария, — сказал король. — Уйди и ты, Эдит, и не докучай мне больше своими просьбами. Уступаю я в одном: прикажу отложить казнь до полудня. Иди и успокойся, дорогая Беренгария, ступай. Эдит, — добавил он, бросив на нее такой взгляд, что даже мужественная девушка содрогнулась от ужаса, — уходи, если разум не оставил тебя!

Женщины удалились, вернее — почти выбежали из шатра, забывая о своем ранге и придворном этикете, словно стая диких уток, испугавшихся коршуна, падающего камнем с неба.

Они возвратились в шатер королевы, предаваясь бесплодному раскаянию и укоряя друг друга. Казалось, одна Эдит ничем не проявляла своего горя. Без малейшего вздоха, не проронив ни одной слезинки, без единого упрека, ухаживала она за королевой, скорбь и отчаяние которой проявлялись в бурных истерических припадках и слезных излияниях. Эдит лишь старалась утешить ее ласками и уговорами.

— Не любила она этого рыцаря, — шепнула Флориза Калисте, старшей по рангу придворной даме. — Мы ошиблись: она жалеет его, как сокрушалась бы о судьбе любого незнакомца, попавшего из-за нее в беду.

— Молчи, молчи, — ответила ее подруга, более опытная и наблюдательная. — Она из гордого рода Плантагенетов, а они никогда не подадут виду, что их постигло горе. Смертельно раненные, истекая кровью, они находили в себе силы перевязать даже царапину у своих менее стойких товарищей. Флориза, мы совершили ужасный поступок; что до меня, то я готова была бы

лишиться всех своих драгоценностей, если можно было избежать последствий нашей роковой шутки.

Глава XVIII

*Здесь нужно бы вмешательство светил
Юпитера и Солнца, а они
Горды и взбалмошны. От сфер небесных
Заставить к нам их, к смертным,
обратиться
Ужасно трудно,
«Альбумазар»*

Отшельник последовал за дамами, покинувшими шатер Ричарда, как тень следует за солнечным лучом, когда облака набегают на диск солнца. Но с порога он обернулся, предостерегающе, почти с угрозой простер руку в сторону короля и сказал:

— Горе тому, кто отвергает совет церкви и обращается к гнусному дивану неверных! Король Ричард, я еще не отрясаю прах со своих ног и не покидаю твоего лагеря — меч еще не упал, но он висит на волоске. Надменный государь, мы еще встретимся.

— Да будет так, надменный иерей, более гордый в своей козьей шкуре, чем принцы в пурпуре и тонком полотне, — ответил Ричард.

Отшельник исчез, а король продолжал, обращаясь к арабу:

— Скажи, мудрый хаким, позволяют себе восточные дервиши так вольно разговаривать со своими государями?

— Дервиш, — сказал Адонбек, — бывает либо мудрецом, либо безумным; середины нет для того, кто носит кирках 19, кто бодрствует по ночам и постится днем. Поэтому он либо достаточно мудр, чтобы вести себя скромно в присутствии государей, либо же, если он не наделен разумом, не отвечает за свои поступки.

— Я думаю, что к нашим монахам подходит по преимуществу второе определение, — сказал Ричард. — Но к делу... Как мне

19

Буквально — «рубище». Так называется одежда дервишей, (Прим. автора.)

отблагодарить тебя, мой ученый врач?

— Великий король, — сказал эль-хаким, склонившись в глубоком восточном поклоне. — Дозволь твоему слуге молвить одно слово, не поплатившись за это жизнью. Я хотел бы напомнить тебе, что ты обязан своей жизнью — не мне, лишь скромному орудию, нет — всевышним силам, чьими благодеяниями я наделяю смертных...

— И я готов поручиться, что взамен ты хотел бы получить другую, а?

— перебил король.

— Такова моя смиренная просьба к великому Мелеку Рику, — сказал хаким. — Именно: жизнь славного рыцаря, осужденного на смерть за тот же грех, какой совершил султан Адам, прозванный Абульбешаром, или праотцем всех людей.

— Твоя мудрость могла бы напомнить тебе, хаким, что Адама постигла за это смерть, — сурово сказал король; затем он в волнении стал ходить взад и вперед по своему узкому шатру, разговаривая сам с собой. «Ну, помилуй бог, я же знал, что он хочет, как только он вошел в шатер!.. Одна жалкая жизнь справедливо осуждена на уничтожение, а я, король и солдат, по приказу которого убиты тысячи людей, который своей собственной рукой убил десятки, не имею власти над нею, хотя преступник посягнул на честь моего герба, моего дома, самой королевы... Клянусь святым Георгием, это смешно!.. Клянусь святым Людовиком, это напоминает мне сказку Блонделя о заколдованном замке и о рыцаре, который, повинувшись предопределению свыше, пытается в него проникнуть, но путь ему преграждают всякие чудища, совершенно непохожие друг на друга, но все стремящиеся воспрепятствовать его намерению... Как только исчезает одно, появляется другое!... Жена, родственница, отшельник, хаким — каждый вступает в борьбу, как только другой терпит поражение!.. И вот одинокий рыцарь сражается все с новыми противниками, ха-ха-ха! » И Ричард громко расхохотался. Он уже был в ином расположении духа: его гнев обычно бывал слишком неистовым, чтобы долго длиться.

Врач изумленно, слегка презрительно смотрел на короля, ибо восточным людям чужда быстрая смена настроений и они считают громкий смех почти во всех случаях недостойным мужчины и

приличествующим лишь женщинам и детям. Наконец, увидев, что король несколько успокоился, мудрец обратился к нему со следующими словами:

— Смертный приговор не может сойти со смеющихся уст. Разреши твоему слуге надеяться, что ты даровал ему жизнь этого человека.

— Возьми вместо нее свободу тысячи пленников, — сказал Ричард. — Верни тысячу своих единоплеменников в их палатки, к их семьям, я немедленно отдам приказ. Жизнь этого человека не принесет тебе никакой пользы, и он обречен.

— Мы все обречены, — сказал хаким, приложив руку ко лбу. — Но великий заимодавец милостив и никогда не взыскивает долга со всей суровостью или преждевременно.

— Ты не можешь указать мне никаких особых причин, побуждающих тебя стать между мною и осуществлением справедливости, которую я как венценосный король поклялся соблюдать.

— Ты поклялся не только соблюдать справедливость, но и быть милосердным, — возразил эль-хаким. — Ты лишь стремишься, великий король, чтобы осуществилась твоя собственная воля. И если я прошу тебя исполнить мою просьбу, то лишь потому, что жизнь многих людей зависит от твоего милосердия.

— Объясни свои слова, — потребовал Ричард, — но не вздумай обманывать меня хитрыми уловками.

— Твой слуга далек от этого! — воскликнул Адонбек. — Знай же, что лекарство, которому ты, великий король, а также многие другие, обязан своим выздоровлением, представляет собой талисман, изготовленный при определенном положении небесных светил, когда божественные силы наиболее благосклонны. Я лишь жалкий посредник, использующий свойства талисмана. Я погружаю его в сосуд с водой, выжидаю благоприятного часа, чтобы напоить ею больного, и чудодейственный напиток исцеляет.

— Прекрасное лекарство, — сказал король, — и удобное! И так как его можно носить в лекарской сумке, не нужны больше караваны верблюдов для перевозки всяких снадобий... Хотел бы я знать, существует ли еще одно такое средство на свете.

— Сказано: «Не брани коня, который вынес тебя из битвы», —

с невозмутимой серьезностью ответил хаким. — Знай, что такие талисманы на самом деле могут быть созданы, но не велико было число посвященных, осмеливавшихся применять их чудесные свойства. Строгое воздержание, мучительные обряды, посты и покаяния должны быть уделом мудреца, который прибегает к этому способу лечения, и если из любви к праздности или приверженности к чувственным утехам он пренебрегает этими приготовлениями и не сумеет исцелить по меньшей мере двенадцать человек в течение каждого месяца, тогда талисман лишится своих божественных свойств, а последнего больного и врача вскоре постигнет несчастье, и оба они не проживут и года. До назначенного числа мне не хватает лишь одной жизни.

— Выйди в лагерь, добрый хаким, и там ты найдешь их достаточно, — сказал король. — Но не пытайся отнять у моего палача его пациента: не пристало столь прославленному врачу, как ты, вмешиваться в чужие дела. К тому же я не понимаю, каким образом избавление преступника от заслуженной им смерти может пополнить счет чудесных исцелений.

— Если бы ты был в состоянии объяснить, почему глоток холодной воды исцелил тебя, между тем как самые дорогие лекарства не помогали,

— ответил хаким, — тогда бы ты мог рассуждать о других тайнах, сопутствующих всему этому. Что до меня, то я непригоден к великим трудам, так как утром дотрагивался до нечистого животного. Не задавай потому больше никаких вопросов; достаточно того, что, пощадив по моей просьбе жизнь этого человека, ты, великий король, избавишь себя и твоего слугу от большой опасности.

— Слушай, Адонбек, я не против того, чтобы лекари окутывали свои слова таинственностью и утверждали, будто они обязаны своими познаниями небесным светилам. Но если ты хочешь испугать Ричарда Плантагенета опасностью, грозящей ему из-за какого-то пустякового предзнаменования или неисполненного обряда, то помни: ты разговариваешь не с невежественным саксом и не с выжившей из ума старухой, которая отказывается от своего намерения из-за того, что заяц перебежал ей дорогу, или ворон закаркал, или кошка зафыркала.

— Я не могу воспрепятствовать тебе сомневаться в моих

словах, — сказал Адонбек. — И все же да окажет мой король и повелитель снисхождение и поверит, что устами его слуги глаголет истина... Неужели он считает справедливым, отказавшись помиловать одного несчастного преступника, лишит благодеяний чудеснейшего талисмана весь мир, всех страдальцев, пораженных болезнью, столь недавно приковывавшей его самого к этому ложу? Вспомни, король, что ты можешь умертвить тысячи людей, но ни одному человеку не можешь вернуть здоровье. Короли обладают властью сатаны мучить, мудрецы — властью аллаха исцелять... Остерегайся стать помехой для оказания блага человечеству, которого ты сам дать не в состоянии. Ты можешь отрубить голову, но не можешь вылечить больной зуб.

— Это неслыханная дерзость, — сказал король, снова ожесточившись, как только хаким стал говорить высокомерным, почти повелительным тоном. — Мы считали тебя нашим лекарем, а не советником или духовником.

— Так-то вознаграждает славнейший государь Франгистана за благодеяние, оказанное его королевской особе? — спросил эль-хаким. От прежнего смирения и униженности, с какими он упрашивал короля, не осталось и следа; он держал себя высокомерно и властно. — Знай же, — продолжал он, — перед всеми европейскими и азиатскими дворами — мусульманскими и назарейскими, — перед всеми рыцарями и благородными дамами, повсюду, где внимают звукам арфы и носят мечи, повсюду, где любят честь и презирают низость, перед всем миром я ославлю тебя, Мелек Рик, как неблагодарного и неблагородного человека. И даже те страны — если есть такие, — где не слышали о твоей славе, узнают о твоём позоре!

— Ты смеешь мне угрожать, подлый неверный! — воскликнул Ричард, в бешенстве подступая к Адонбеку. — Тебе надоела твоя жизнь?

— Рази! — сказал эль-хаким. — И тогда твой собственный поступок возвестит о твоей низости лучше моих слов, хотя бы каждое из них жалило, как шершень.

Ричард в гневе отвернулся, скрестил на груди руки и снова принялся ходить по шатру; затем он воскликнул:

— Неблагодарный и неблагородный!.. Иными словами — трусливый и бесчестный!.. Хаким, ты выбрал себе награду. И хотя

я предпочел бы, чтобы ты попросил бриллианты из моей короны, все же я как король не могу отказать тебе. Итак, бери шотландца. Начальник стражи выдаст его тебе по этому распоряжению.

Он поспешно написал несколько строк и отдал записку врачу.

— Считай его своим рабом и распоряжайся им как хочешь; пусть он только остерегается показываться на глаза Ричарду. Пойми — ты ведь мудр: он вел себя чрезвычайно дерзко с теми, чьей красоте и легкомыслию мы вверяем нашу честь, подобно тому как вы на Востоке помещаете ваши сокровища в ларцы из серебряной проволоки, столь же тонкой и непрочной, как осенняя паутина.

— Твоему слуге понятны слова короля, — сказал мудрец, сразу же вернувшись к почтительному тону, которого он держался вначале. — Когда на богатом ковре появляется грязное пятно, дурак указывает на него пальцем, а умный человек прикрывает плащом. Я выслушал волю моего повелителя, а услышать — значит повиноваться.

— Хорошо, — сказал король. — Посоветуй ему ради его собственной безопасности никогда больше не попадаться на моем пути. Чем еще я мог бы тебя обрадовать?

— Щедрость короля наполнила мой кубок до краев, — ответил мудрец.

— Поистине она никогда не оскудевает, подобно источнику, забившему среди лагеря израильтян, когда Мусса бен-Амрам ударил жезлом в скалу.

— Да, — улыбаясь, сказал король, — но, как и в пустыне, понадобился сильный удар по скале, чтобы она отдала свои сокровища. Нет ли чего-нибудь, что доставило бы тебе удовольствие и что я мог бы дать, не насилуя себя, а так же легко, как родник изливает свои воды?

— Разреши мне прикоснуться к этой победоносной руке в залог того, что в будущем, если Адонбеку эль-хакиму пришлось бы попросить милости у Ричарда Английского, ему будет дозволено это сделать.

— Вот моя рука и дружба вместе с ней, любезный Адонбек, — ответил Ричард. — Помни только: если сможешь пополнять счет исцеленных тобой людей, не обращаясь ко мне с мольбой освободить от наказания тех, кто его заслуживает, то я охотнее

буду возмещать свой долг любым иным способом.

— Да будут продлены твои дни! — сказал хаким и, отдав обычный глубокий поклон, покинул опочивальню короля.

Ричард смотрел вслед уходившему с таким выражением, словно он не вполне был удовлетворен тем, что произошло между ними.

— Странная настойчивость у этого хакима, — сказал он, — и какая удивительная случайность, что его вмешательство избавило дерзкого шотландца от столь заслуженной им кары. Ну, пусть он живет! На свете будет одним храбрецом больше. А теперь займемся австрийцем. Эй, барон Гилсленд здесь?

Сэр Томас де Во поспешно явился на зов, загородив своим огромным телом вход в шатер; за ним, подобно призраку, никем не возвещенный, но и никем не удерживаемый, проскользнул энгаддийский отшельник — дикая фигура в плаще из козьих шкур.

Не обращая на него внимания, Ричард громко заговорил с бароном:

— Сэр Томас де Во, барон Ланеркостский и Гилслендский, возьми трубача и герольда и немедленно направься к палатке того, кого называют эрцгерцогом австрийским, выбери время, когда вокруг него соберется как можно больше его рыцарей и вассалов — сейчас, вероятно, самый подходящий момент, так как этот немецкий боров завтракает до того, как прослушает мессу, — явись к нему и, держась как можно менее почтительно, предъяви ему от имени Ричарда Английского обвинение в том, что этой ночью он собственноручно или руками других украл английское знамя с того места, где оно было водружено. Посему сообщи ему наше требование, чтобы в течение часа с той минуты, как ему будут переданы мои слова, он со всеми почестями снова установил упомянутое знамя; а сам эрцгерцог и его знатнейшие бароны пусть присутствуют при этом с непокрытыми головами и в обычной одежде. Кроме того, он должен рядом воткнуть с одной стороны перевернутое австрийское знамя, обесчещенное вероломной кражей, а с другой стороны — копьё с окровавленной головой того, кто был его ближайшим советником или помощником при нанесении этого подлого оскорбления. И скажи ему, что в случае точного исполнения им нашего требования мы, памятуя о данном нами обете и ради благоденствия святой земли, простим остальные

его провинности.

— А что, если австрийский герцог станет отрицать участие в этом оскорбительном и вероломном поступке? — спросил Томас де Во.

— Скажи ему, — ответил король, — что мы докажем наше обвинение на его собственной особе — да, на нем вкупе с двумя его самыми храбрыми воинами. Мы докажем по-рыцарски, в пешем бою или на конях, в пустыне или на ристалище; время, место и оружие пусть выберет он сам.

— Подумайте, мой сюзерен, о мире во имя бога и церкви между государями, принимающими участие в священном крестовом походе.

— Подумайте, мой вассал, о том, чтобы выполнить приказ, — нетерпеливо ответил Ричард. — Мне кажется, некоторые люди считают, что они могут с такой же легкостью заставить меня изменить свои намерения, с какой мальчишки, дуя на перья, гоняют их по воздуху... Мир во имя церкви! Кто, скажи на милость, думает о нем? Мир во имя церкви между крестоносцами подразумевает войну с сарацинами, с которыми наши государи заключили перемирие, а вместе с войной против врагов кончается и мир между союзниками. А к тому же разве ты не видишь, как каждый из этих государей стремится к своей собственной цели? Я тоже стремлюсь к моей, и моя цель — слава. Ради славы я пришел сюда, и если мне не удастся добиться ее в борьбе с сарацинами, я, во всяком случае, не спущу ни малейшей обиды этому жалкому герцогу, хотя бы за него горой встали все вожди-крестоносцы.

Де Во повернулся, чтобы отправиться выполнять повеление короля, пожав в то же время плечами, так как при своем прямодушном характере не мог скрыть, что оно ему не по душе. В это мгновение энгаддийский отшельник выступил вперед. Он держался теперь так, словно был наделен более высокой властью, чем простые земные владыки. И действительно, в одежде из косматых шкур, с длинными нечесаными волосами и бородой, с изможденным, диким, судорожно искривленным лицом, с почти безумными глазами, сверкавшими из-под густых бровей, он был похож на библейского пророка, каким мы себе его представляем; пророка, который покидал пещеры, где жил в полном одиночестве, и спускался с гор, чтобы являться с вестью от всевышнего к

погрязшим в грехах иудейским или израильским царям и усовещивать земных властелинов в их гордыне, грозя им карой божественного повелителя, готовой обрушиться на их головы, подобно тому как насыщенная молниями туча обрушивает огонь на башни замков и дворцов. Даже в самом раздраженном состоянии Ричард относился с уважением к церкви и ее служителям, и хотя вторжение отшельника разгневало его, он почтительно приветствовал незваного посетителя, сделав, однако, знак сэру Томасу де Во поспешить с поручением.

Но отшельник жестом, взглядом и словом запретил барону сделать хоть шаг для выполнения приказа; резким движением, от которого плащ из козьих шкур откинулся назад, он простер ввысь обнаженную руку — исхудавшую от поста, исполосованную рубцами от покаянных самоистязаний:

— Во имя бога и святейшего отца, наместника христианской церкви на земле, я запрещаю этот нечестивейший, кровожадный и бесчеловечный вызов на поединок между двумя христианскими государями, на чьих плечах изображен священный знак, которым они клялись в братстве. Горе тому, кто нарушит свою клятву! Ричард Английский, отмени святотатственное поручение, данное тобой этому барону... Опасность и смерть близки от тебя! Кинжал уже касается твоего горла!

— Опасность и смерть не в диковину Ричарду, — гордо ответил монарх. — Он не страшился мечей, ему ли бояться кинжала.

— Опасность и смерть близки, — повторил пророк; и глухим замогильным голосом он добавил: — А после смерти — Страшный суд!

— Святой отец, — сказал Ричард, — я чту тебя и твою святость...

— Почитай не меня! — перебил отшельник. — С таким же основанием ты можешь почитать самое мерзкое насекомое, ползающее на берегах Мертвого моря и питающееся его проклятой богом тиной. Но почитай того, чьих велений я глашатай. Почитай того, чей гроб ты поклялся освободить. Соблюдай клятву верности, принесенную тобой, и не разрывай драгоценных уз единства и согласия, которыми ты связал себя со своими августейшими союзниками.

— Благой отец, — сказал король, — вы, служители церкви, как кажется мне, недостойному мирянину, слишком высокого мнения о величии вашего священного звания. Не оспаривая вашего права заботиться о нашей совести, я все же думаю, что вы могли бы предоставить нам самим заботиться о своей чести.

— Слишком высокого мнения! — повторил отшельник. — Это я, достославный Ричард, слишком высокого мнения, я — лишь колокол, повинующийся руке звонаря, лишь бесчувственная, ничтожная труба, разносящая повеления того, кто трубит в нее! Смотри, я опускаюсь пред тобой на колени и умоляю тебя сжалиться над всем христианским миром, над Англией, над собой!

— Встань, встань, — сказал Ричард, понуждая отшельника подняться.

— Не пристало, чтобы колени, которые ты так часто преклонял перед богом, попирали землю в воздаянии почести человеку. Какая опасность ожидает нас, преподобный отец? И когда могущество Англии падало так низко, чтобы шумная похвальба этого обозлившегося новоявленного герцога могла встревожить ее или ее государя?

— Я наблюдал с башни у себя в горах за небесным звездным воинством, когда каждая звезда в своем ночном круговращении посылает другой весть о грядущем и мудрость тем немногим, кто понимает их голоса. В Доме Жизни сидит эраг, мой король, завидующий одновременно и твоей славе и твоему благоденствию, — эманация Сатурна, грозящая тебе мгновенной и жестокой гибелью, которая, если только ты не смиришь свою гордую волю перед велением долга, вскоре поразит тебя даже в твоей гордыне.

— Довольно, довольно... Это языческая наука, — сказал король. — Христиане ею не занимаются, мудрые люди не верят в нее. Старик, ты безумец.

— Я не безумец, Ричард, — ответил отшельник. — Я не настолько счастлив. Я знаю свое состояние и то, что какая-то часть разума оставлена мне не ради меня самого, а ради блага церкви и преуспевания крестоносцев. Я слепец, который освещает факелом путь другим, но сам не видит его света. Спроси меня о том, что имеет отношение к процветанию христианства и успеху этого крестового похода, и я буду говорить с тобой как самый мудрый

советник, обладающий непревзойденным даром убеждения. Заговори со мной о моей злополучной жизни, и мои слова будут словами помешанного изгнанника, каким меня справедливо считают.

— Я не хотел бы разрывать узы единения между государями-крестоносцами, — сказал Ричард, несколько смягчившись. — Но какое удовлетворение они могут дать мне за причиненную несправедливость и обиду?

— Я могу ответить и на этот вопрос, так как имею полномочия говорить с тобой от имени совета, который спешно собрался по предложению Филиппа Французского, чтобы принять необходимые для этой цели меры.

— Странно, — заметил Ричард, — что другие решают, чем должно загладить оскорбление, нанесенное величии Англии!

— Они готовы пойти навстречу всем твоим требованиям, если это окажется возможным, — ответил отшельник. — Они единодушно согласились, чтобы английское знамя было снова водружено на холме святого Георгия, чтобы объявить вне закона дерзкого злодея или злодеев, посягнувших на него, назначить княжеское вознаграждение тому, кто укажет виновного, и отдать тело преступника на растерзание волкам и воронью.

— А австриец, — сказал Ричард, — на ком лежит столь серьезное подозрение, что он совершил этот недостойный поступок?

— Чтобы предупредить распри среди священного воинства, — ответил отшельник, — австриец должен очистить себя от подозрения, подвергнувшись любому испытанию, которое назначит патриарх Иерусалимский.

— Согласится ли он очистить себя судебным поединком? — спросил король Ричард.

— Клятва запрещает ему это, — сказал отшельник. — К тому же совет государей...

— Никогда не разрешит битвы ни с сарацинами, — перебил Ричард, — ни с кем-либо другим. Но довольно, отец мой, ты доказал мне безрассудство того образа действий, что я избрал. Скорей удастся разжечь факел в дождевой луже, чем высечь искру благородства из труса с холодной кровью. На австрийце не приобретешь славы, а потому не будем больше говорить о нем.

Впрочем, я заставлю его лжесвидетельствовать; я настою на испытании. Я хорошо посмеюсь, когда зашипят его неуклюжие пальцы, сжимая раскаленный докрасна железный шар! Или когда его огромный рот чуть не разорвется, а распухшая глотка доведет до удушья при попытке проглотить освященный хлеб.

— Молчи, Ричард, — сказал отшельник. — Молчи, если не из любви к богу, то хоть для того, чтобы не позорить себя! Кто станет восхвалять или почитать государей, которые позволяют себе взаимные оскорбления и клеветают друг на друга? Увы? Такой доблестный человек, как ты, столь великий в государственных помыслах и рыцарской отваге, словно рожденный для того, чтобы своими деяниями прославить христианский мир, и управлять им с присущей тебе в спокойном настроении мудростью, преисполнен в то же время бессмысленной и дикой яростью льва, сочетающейся с благородством и смелостью этого царя лесов!

На несколько секунд отшельник погрузился в размышления, устремив взгляд в землю, затем продолжал:

— Но небесный создатель, знающий несовершенство нашей природы, примиряется с неполнотой нашего послушания, и он отсрочил — но не отвратил! — ужасный конец твоей отважной жизни. Ангел смерти остановился, как некогда у гумна Орны Иевусеянина, и держит в руке занесенный меч, перед которым в недалеком времени Ричард с львиным сердцем будет столь же ничтожен, как самый простой земледелец.

— Неужели это произойдет так скоро? — спросил Ричард. — Что ж, пусть так. Мой путь будет хоть и коротким, но славным!

— Увы, благородный король, — сказал пустынный, и, казалось, слезы (непрощенные гости) навернулись на его суровые, потускневшие от старости глаза. — Коротка и печальна отмеченная унижениями, невзгодами и пленениями стезя, отделяющая тебя от разверстой могилы — могилы, в которую ты ляжешь, не оставив продолжателя своего рода, не оплакиваемый подданными, уставшими от бесконечных войн, не получив признания со стороны народа, ничего не сделав для того, чтобы он стал счастливей.

— Но зато увенчанный славой, монах, оплакиваемый царицей моей любви! Эти утешения, которых тебе не дано знать или оценить, ждут Ричарда в его могиле.

— Мне не надо знать, я не могу оценить восхвалений менестреля и женскую любовь! — возразил отшельник, и на мгновение в его голосе зазвучала такая же страстность, как и у самого Ричарда. — Король Англии, — продолжал он, простирая свою худую руку, — кровь, кипящая в твоих голубых жилах, не более благородна, нежели та, что медленно течет в моих. Ее не много, и она холодна, но все же это кровь царственного Лузиньяна — доблестного и святого Готфрида. Меня зовут — вернее, звали, когда я был в миру — Альберик Мортемар.

— О чьих подвигах, — перебил Ричард, — столь часто гремели трубы славы! Неужели это правда, может ли это быть? Как могло случиться, чтобы такое светило исчезло с горизонта рыцарства и никто не знал, куда оно, угаснув, скрылось?

— Отыщи упавшую на землю звезду — и ты увидишь лишь мерзкую студенистую массу, которая, проносясь по небосводу, на миг зажглась ослепительным светом. Ричард, если бы я надеялся, сорвав кровавую завесу, окутывающую мою ужасную судьбу, заставить твое гордое сердце подчиниться велениям церкви, я нашел бы в себе мужество рассказать тебе о том, что терзает мои внутренности и что доньше я, подобно стойкому юноше-язычнику, хранил втайне от всех. Слушай же, Ричард, и пусть скорбь и отчаяние, которые не могут помочь жалкому существу, когда-то бывшему человеком, пусть они возымеют могущественную силу в качестве примера для столь благородного и в то же время столь необузданного создания, как ты! Да, я это сделаю, я сорву повязки с глубоко скрытых ран, хотя бы мне пришлось истечь кровью в твоём присутствии!

Король Ричард, на которого история Альберика Мортемара произвела глубокое впечатление в юности, когда в залах его отца менестрели развлекали пировавших легендами о святой земле, выслушал с почтительным вниманием краткую повесть, рассказанную сбивчиво и отрывочно, но достаточно объяснявшую причину частичного безумия этого необыкновенного и крайне несчастного человека.

— Мне не нужно, — говорил отшельник, — напоминать тебе, что я был знатен, богат, искусен в обращении с оружием и мудр в совете. Таким я был; но в то время как самые благородные дамы в Палестине соперничали за право обвить гирляндами мой шлем, я

воспылал любовью — вечной и преданной любовью — к девушке низкого происхождения. Ее отец, старый воин-крестоносец, заметил нашу взаимную страсть; зная, что мы неровня друг другу, и не видя другого способа уберечь честь своей дочери, он поместил ее под сень монастыря. Я возвратился из далекого похода с богатой добычей, увенчанный славой, и узнал, что мое счастье навеки погибло! Я тоже искал забвения в монастыре, но сатана, избравший меня своим орудием, вселил в мое сердце дух религиозной гордыни, источником которой было его адское царство. Я вознесся среди служителей церкви так же высоко, как раньше среди государственных мужей. Поистине, я был мудр, самонадеян, праведен! Я был советником церковных соборов, духовником прелатов — мог ли я споткнуться? Разве мог я бояться искушения? Увы! Я стал исповедником монахинь, и среди этих монахинь я встретил ту, кого некогда любил, кого некогда потерял. Избавь меня от дальнейших признаний! Павшая инокиня, во искупление своей вины наложившая на себя руки, покоится под сводами энгаддийского склепа, а над самой ее могилой невнятно бормочет, стонет и вопиет жалкое существо, сохранившее лишь столько разума, чтобы полностью сознавать свою злую участь!

— Несчастный! — воскликнул Ричард. — Теперь я не удивляюсь постигшим тебя невздам. Но как избег ты кары, предписанной церковными уставами за совершенное тобой преступление?

— Если ты спросишь кого-нибудь, в ком еще кипит мирская злоба, — ответил отшельник, — он скажет, что мне сохранили жизнь из уважения к моему прошлому и к знатности моего рода. Но я поведаю тебе, Ричард, что провидение пощадило меня, чтобы вознести ввысь, как путеводный факел, пепел которого, после того как угаснет земной огонь, будет свергнут в Тофет. Как ни иссохло и ни сморщилось это брренное тело, в нем еще живы два стремления: одно из них, действенное, жгучее, неотступное, — служить делу иерусалимской церкви, другое, низменное, презренное, порожденное невыносимой скорбью, приводящее меня то к порогу безумия, то к отчаянию, — оплакивать свою злосчастную судьбу и охранять священные останки, опасаясь как тягчайшего греха бросить на них хотя один взгляд. Не жалея меня! Жалеть о гибели такого презренного человека грешно... Не жалея

меня, а извлеки пользу из моего примера. Ты стоишь на высочайшей, а потому самой опасной вершине, на какую когда-либо возносился христианский государь. Ты горд душой, падаешь на радости жизни и скор на кровавую расправу. Отдали от себя грехи, этих прилепившихся к тебе дочерей, хотя бы они и были дороги грешному Адаму, изгони злых фурий, которым ты дал приют в своем сердце — гордыню, страсть к наслаждениям, кровожадность.

— Он бредит, — сказал Ричард, отвернувшись от пустынного и обращаясь к де Во с видом человека, задетого за живое язвительной насмешкой, но вынужденного смиренно перенести ее; затем, снова устремив на отшельника спокойный и слегка презрительный взгляд, ответил: — Ты нашел для меня, преподобный отец, прелестных дочерей, хотя я и женат всего несколько месяцев. Но коль скоро я должен удалить их из-под моего крова, то, как отцу, мне следует позаботиться о подходящих мужьях для них. А посему я отдам мою гордость благородным каноникам церкви, мою страсть к наслаждениям, как ты называешь ее, — орденским монахам, а мою кровожадность — рыцарям Храма.

— О, стальное сердце и железная рука, — сказал отшельник, — для него ничто и пример и совет! И все же на время тебе дана пощада, чтобы ты мог еще одуматься и начать вести себя так, как угодно небесам... Что до меня, то я должен вернуться к себе... *Kyrie eleison!* 20 Я тот, сквозь кого лучи небесной благодати проходят, как солнечные лучи сквозь зажигательное стекло, собирающее их в пучок и направляющее на какой-либо предмет, который загорается и вспыхивает пламенем, между тем как само стекло остается холодным и не претерпевает никаких изменений. *Kyrie eleison...* Приходится звать бедных, ибо богатые отказались от пира. *Kyrie eleison!*

Сказав это, он с громким криком ринулся прочь из шатра.

— Безумный иерей! — проговорил Ричард. Неистовые вопли отшельника несколько ослабили впечатление от его рассказа о своей несчастной жизни. — Иди за ним, де Во, и посмотри, чтобы ему не причинили вреда; ибо, хотя мы и крестоносцы, среди наших

воинов фигляр пользуется большим уважением, нежели служитель церкви или святой, и над ним, пожалуй, станут глумиться.

Барон повиновался, а Ричард погрузился в мысли, возникшие под влиянием исступленных пророчеств монаха. «Умереть рано... не оставив продолжателя рода... никем не оплаканным? Жестокий приговор, и хорошо, что он не произнесен более правомочным судьей. Однако многие сарацины, столь сведущие в магии, утверждают, будто бог, в чьих глазах мудрость величайших философов — лишь безумие, наделяет мудростью и даром пророчества мнимого безумца. Говорят, энгаддийский отшельник сведущ в толковании звезд — искусстве, весьма распространенном в этой стране, где небесное воинство некогда служило предметом языческого поклонения. Жаль, что я не спросил его об исчезновении моего знамени; даже сам блаженный Фесвитянин, основатель его ордена, не впадал в такое дикое исступление и не говорил языком, более похожим на пророческий».

— Ну, де Во, какие вести о безумном иерее?

— Вы называете его безумным иереем, милорд? — спросил де Во. — Я полагаю, он скорей напоминает блаженного Иоанна Крестителя, только что покинувшего пустыню. Он влез на одну из осадных машин и оттуда стал проповедовать воинам, как никто не проповедовал со времен Петра Пустынника. Его крики встревожили весь лагерь, и собралась многотысячная толпа. То и дело отступая от основной нити своей речи, он обращался к воинам на их родных языках и для каждого народа находил наилучшие доводы, чтобы пробудить в них усердие к делу освобождения Палестины.

— Клянусь богом, благородный отшельник! — воскликнул король Ричард. — Но разве можно было ждать иного от потомка Готфрида? Неужели он отчаялся в спасении, потому что когда-то пожертвовал всем ради любви? Я добьюсь, чтобы папа послал ему полное отпущение грехов, и я не менее охотно стал бы его заступником, если бы его *belle amie* 21 была аббатисой.

В это время Ричарду доложили, что архиепископ Тирский настаивает на аудиенции, чтобы передать английскому королю просьбу присутствовать, если здоровье ему позволит, на секретном

21

любовница (франц.)

совещании вождей-крестоносцев и чтобы разъяснить ему военные и политические события, происшедшие за время его болезни.

Глава XIX

*Как, нам в ножны вложить победный
меч?*

*Вспять обратиться тем, что
устремлялись*

Вослед врагу всегда вперед со славой?

Кольчугу снять, которую во храме

На плечи мы с обетом возложили?

Обет нарушить, как посулы няньки

Обманные, чтоб только смолк ребенок...

И все предать забвенью?

Трагедия «Крестовый поход»

Выбор архиепископа Тирского в качестве посланца был очень удачен; ему предстояло сообщить известия, которые вызвали бы у Ричарда Львиное Сердце взрыв самого бурного гнева, если бы он узнал их от другого. Даже проницательному и всеми уважаемому прелату было нелегко заставить короля выслушать новости, разрушавшие все его надежды отвоевать силой оружия гроб господень и тем заслужить славу, которую весь христианский мир был готов воздать ему как защитнику креста.

Однако из слов архиепископа выяснилось, что Саладин собирал огромную армию, подняв на борьбу все сто своих племен, и что европейские государи по различным причинам уже разочаровались в предпринятом ими походе, который оказался очень рискованным и с каждым днем сулил все больше опасностей, а потому решили отказаться от своей цели. В этом их поддерживал пример Филиппа Французского. Рассыпаясь в изъявлениях уважения, уверяя, что первым делом позаботится о безопасности своего брата, короля Англии, он заявил о намерении вернуться в Европу. Его могущественный вассал граф Шампанский принял такое же решение; не приходилось удивляться, что и Леопольд Австрийский, оскорбленный Ричардом, был рад

воспользоваться случаем и отступить от предприятия, возглавляемого, как признавали все, его надменным противником. Остальные высказали те же намерения. Таким образом, стало ясно, что английский король, если он пожелает остаться, будет иметь поддержку лишь тех добровольцев, которые присоединятся к его армии, несмотря на столь обескураживающие обстоятельства. Кроме того, он мог рассчитывать на весьма сомнительную помощь Конрада Монсерратского да воинствующих орденов иоаннитов и тамплиеров; хотя рыцари-монахи и дали обет вести войну против сарацин, они в то же время опасались, как бы кто-нибудь из европейских монархов не завоевал Палестину, где они, руководствуясь своей недалёковидной и эгоистической политикой, предполагали основать собственное независимое государство.

Не понадобилось долгих доказательств, чтобы Ричард понял свое истинное положение. После первого взрыва негодования он спокойно сел и, опустив голову, скрестив на груди руки, с мрачным видом слушал рассуждения архиепископа о невозможности продолжать крестовый поход, коль скоро союзники его покидают. Больше того — он сдержался и не прервал прелата даже тогда, когда тот осмелился осторожно намекнуть, что горячность самого Ричарда была одной из главных причин, отвративших государей от этого похода.

— *Confiteor* 22, — ответил Ричард, потупив взгляд и с несколько грустной улыбкой. — Я признаю, преподобный отец, что у меня есть основания восклицать *culpa mea* 23. Но разве не жестоко, чтобы из-за Непостоянства моего нрава я заслужил такое наказание, чтобы за несколько вспышек справедливого гнева мне было суждено увидеть, как вянет передо мной на корню столь богатая жатва во имя господина и во славу рыцарства? Но она не увянет. Клянусь душой Завоевателя, я водружу крест на башнях Иерусалима или же он будет водружен на могиле Ричарда!

— Ты можешь этого достигнуть, — сказал прелат, — но так, что ни одной капли христианской крови больше не прольется на поле брани.

22

Сознаюсь, каюсь (лат.)

23

Вина моя (лат.)

— А, ты говоришь о соглашении, прелат; но тогда перестанет литься и кровь этих неверных собак.

— Достаточно чести в том, — возразил архиепископ, — что силой оружия и благодаря уважению, которое внушает твоя слава, мы добились от Саладина принятия таких условий, как немедленное возвращение гроба господня, открытие святой земли для паломников, обеспечение их безопасности путем постройки сильных крепостей и, самое главное, обеспечение безопасности святого города тем, что Ричарду будет присвоен титул короля — покровителя Иерусалима.

— Как! — вскричал Ричард, и его глаза засверкали необычным огнем.

— Я... я... я король — покровитель святого города! Даже победа — но это и есть победа — не могла бы дать больше, вряд ли дала бы столько, если бы была одержана потерявшими охоту воевать, разобщенными войсками... Но Саладин предполагает все же сохранить свое влияние в святой земле?

— Как соправитель и поклявшийся в верности союзник могущественного Ричарда, — ответил прелат, — как его родственник, если ему будет дозволено породниться с ним путем брака.

— Путем брака! — воскликнул Ричард; он был удивлен, но не так сильно, как ожидал прелат. — Ах, да!.. Эдит Плантагенет. Мне это приснилось? Или действительно кто-то говорил об этом? Я еще плохо соображаю после перенесенной лихорадки, да к тому же меня взволновали. Кто же это — шотландец, или каким, или тот святой отшельник — намекал на возможность такой нелепой сделки?

— Скорей всего энгаддийский отшельник, — сказал архиепископ, — ибо он много потрудился для этого дела. Так как недовольство государей стало явным, а разрыв между ними — неизбежным, он много раз совещался и с христианской стороной и с языческой, чтобы добиться примирения, в результате которого христианство достигнет хотя бы частично той цели, какую оно поставило перед собой в этой священной войне.

— Моя родственница — жена неверного! — воскликнул Ричард, сверкая глазами.

Прелат поспешил предотвратить вспышку его гнева.

— Разумеется, прежде всего надо получить согласие папы, и святой отшельник, хорошо известный в Риме, вступит в переговоры со святым отцом.

— Как? Не дожидаясь моего согласия?

— Конечно нет, — ответил архиепископ спокойным, вкрадчивым тоном.

— Только при том непременно условии, если ты разрешишь.

— Я разрешу брак моей родственницы с неверным? — сказал Ричард; однако в его голосе звучала скорее нерешительность, чем явное осуждение предложенного плана. — Мне и во сне не снился такой мирный исход, когда я с носа моей галеры прыгнул на сирийский берег, подобно льву, кидающемуся на свою добычу! А теперь... Но продолжай, я буду терпеливо слушать.

Архиепископ, столь же довольный, сколь и изумленный тем, что его задача оказалась значительно более легкой, нежели он ожидал, поспешил напомнить Ричарду о примерах подобных браков в Испании, заключенных с одобрения папского престола, и о неисчислимых выгодах, которые весь христианский мир извлечет от союза между Ричардом и Саладином, скрепленного священными узами. Но с особым жаром и настойчивостью он говорил о возможности того, что Саладин, если предполагаемый брак состоится, переменит свою ложную веру на истинную.

— Султан выразил желание стать христианином? — спросил Ричард. — Если это правда, то ни одному королю в мире я не отдал бы руку моей родственницы или даже сестры столь охотно, как благородному Саладину,

— хотя бы первый положил к ее ногам корону и скипетр, а другой мог предложить ей лишь свой верный меч и еще более верное сердце!

— Саладин слушал наших христианских проповедников, — несколько уклончиво сказал архиепископ, — меня, недостойного, и других; и так как он терпеливо внимал нашим речам и отвечал спокойно, то он, несомненно, уподобится головне, выхваченной из пламени. *Magna est veritas, et prevalebit.* ²⁴ Больше того — энгаддийский отшельник, чьи слова редко бывают произнесены втуне, полон твердой уверенности, что близок день обращения

24

Велика истина, и она восторжествует (лат.)

сарацин и других язычников, для которых этот брак послужит толчком. Он читает будущее в движении звезд; умерщвляя плоть, он живет в тех отмеченных богом местах, где земля некогда хранила следы святых и где дух Ильи Фесви-тянина, основателя его священного ордена, являлся ему, как он явился пророку Елисею, сыну Сафатову, когда накиннул на него свою милость.

С тревогой во взгляде, нахмурившись, король Ричард слушал рассуждения прелата.

— Не знаю, — сказал он, — что происходит со мной; кажется мне, что христианские государи с их холодными умствованиями заразили и меня вялостью духа. В былое время, если бы такой брачный союз предложил мне мирянин, я тут же расправился бы с ним, а если бы это сделал какой-нибудь священнослужитель, я плюнул бы ему в лицо, как вероотступнику и приспешнику Ваала... А теперь такой совет кажется мне не столь уж нелепым. Почему, в самом деле, мне не искать дружбы и союза с сарацином, честным, справедливым, великодушным, который любит и почитает достойного врага как друга, между тем как христианские государи отступаются от своих союзников, изменяют божьему делу и заветам славного рыцарства. Но я возьму себя в руки и не буду думать о них. Я предприму лишь одну попытку воскресить, если это окажется возможным, благородный дух братского единения; если мне не удастся, тогда мы поговорим с тобой, архиепископ, о твоём предложении, которого я пока не принимаю, но и не отвергаю окончательно. Идем на совет, милорд, время не ждет. Ты говоришь, Ричард запальчив и горд... Ты увидишь, как он унижится и уподобится скромному дроку, которому он обязан своим прозвищем.

С помощью придворных король быстро облачился в короткую кожаную куртку и темный одноцветный плащ. Не надев на себя никаких знаков королевского достоинства, кроме золотой диадемы, он поспешил с архиепископом Тирским на совет, ожидавший лишь его прибытия, чтобы начать свое заседание.

Совет, как всегда, собрался в просторном шатре; перед входом развевалось большое знамя крестоносцев, и еще одно, на котором была изображена коленопреклоненная женщина с распущенными волосами и в беспорядочно накиннутой одежде, олицетворявшая покинутую, страждущую иерусалимскую церковь; на нем был

начертан девиз: *Affict? spons? ne obliviscaris.* 25

Тщательно подобранная стража держалась поодаль от шатра, чтобы споры, нередко принимавшие весьма громкий и бурный характер, не доходили до постороннего слуха.

Итак, в ожидании прибытия Ричарда там собрались высшие руководители крестового воинства. Даже небольшое опоздание, происшедшее в силу описанных выше обстоятельств, враги ставили ему в вину; они перечисляли различные примеры его гордости и ничем не оправданных притязаний на верховенство, и в качестве одного из них приводили теперешнюю кратковременную задержку с открытием совета. Все старались укрепить друг в друге дурное мнение об английском короле и мстили за нанесенные каждому из них обиды тем, что подвергали самому злостному толкованию самые обыденные случаи. Возможно, это происходило потому, что все они испытывали невольное уважение к доблестному монарху, преодолеть которое могли бы лишь ценой необычайных усилий.

Они решили встретить Ричарда крайне сдержанно, выказав ему лишь те знаки почтения, какие были необходимы, чтобы соблюсти обязательный этикет. Но, когда участники Совета государей увидели величественную фигуру короля, его благородное лицо, слегка побледневшее после только что перенесенной болезни, его глаза, прозванные менестрелями сверкающими звездами битвы и победы, когда на них нахлынули воспоминания о его подвигах, почти превосходящих человеческие силы и доблесть, — все одновременно встали, даже завистливый французский король и угрюмый, оскорбленный эрцгерцог австрийский, встали в едином порыве и разразились приветственными кликами: «Боже храни короля Ричарда Английского! Да здравствует Ричард Львиное Сердце!»

Открытое, дышавшее искренностью лицо Ричарда сияло, как восходящее летнее солнце, когда он благодарил собравшихся и выражал удовольствие, что вновь находится среди своих царственных соратников по крестовому походу.

— Мне хотелось бы сказать всего несколько слов, — обратился он к собранию, — касающихся столь недостойного

25

Не забудь о пребывающей в беде невесте (лат.)

предмета, как я сам, пусть даже это немного задержит наше совещание на благо христианства и на пользу нашему священному делу.

Государи заняли свои места, и воцарилась глубокая тишина.

— Сегодня, — продолжал английский король, — большой церковный праздник. В такой день христианам подобает примириться со своими братьями и покаяться друг перед другом в своих заблуждениях. Благородные государи и вы, духовные отцы нашего священного похода, Ричард — воин, и рука повинуется ему лучше, нежели язык... а его язык слишком привык к грубой речи, свойственной людям его ремесла. Но из-за поспешных слов Плантагенета и его необдуманных поступков не отступайте от благородного дела освобождения Палестины, не отказывайтесь от земной славы и вечного спасения, которые если и можно заслужить, то лишь здесь, не отказывайтесь из-за того, что один воин действовал, быть может, слишком поспешно, а его слова были жестки, как стальные доспехи, которые он носит с детства. Если Ричард провинился перед кем-нибудь из вас, Ричард искупит свою ошибку словом и делом... Благородный брат мой король Франции, имел ли я несчастье оскорбить тебя?

— Повелитель Франции не может ни в чем упрекнуть повелителя Англии, — ответил Филипп с королевским достоинством, пожимая в то же время руку, протянутую ему Ричардом. — И какое бы решение я ни принял относительно дальнейшей судьбы нашего дела, оно будет подсказано мне обстоятельствами, возникшими в моем собственном королевстве, но, конечно, не завистью или неприязнью к моему доблестному царственному брату.

— Австрия, — сказал Ричард, подходя к эрцгерцогу и глядя на него одновременно чистосердечно и величественно; Леопольд встал, как бы помимо своей воли, подобно автомату, чьи движения зависят от какого-нибудь внешнего возбудителя. — Австрия считает, что имеет основания быть в обиде на Англию; Англия — что у нее есть причина к неудовольствию Австрией. Пусть же они простят друг друга, дабы не нарушался мир между европейскими державами и согласие среди нашего воинства. Сейчас мы вместе подняли стяг более славный, чем все, когда-либо осенявшие земного государя, — стяг вечного спасения; да не будет между

нами вражды из-за эмблем нашего земного величия. Но все же пусть Леопольд вернет знамя Англии, если оно находится у него, и тогда Ричард скажет, правда единственно из любви к святой церкви, что он раскаивается в своей горячности, побудившей его оскорбить государственный флаг Австрии.

Эрцгерцог стоял угрюмый и недовольный, опустив глаза; его лицо все больше мрачнело от сдерживаемого гнева, которому страх и отсутствие сообразительности препятствовали излиться в словах.

Патриарх Иерусалимский поспешил прервать неловкое молчание и засвидетельствовать, что эрцгерцог австрийский торжественной клятвой снял с себя подозрение в какой-либо причастности, прямой или косвенной, к посягательству на английское знамя.

— В таком случае мы были крайне несправедливы к благородному эрцгерцогу, — сказал Ричард, — и, моля о прощении за то, что мы обвинили его в столь подлом проступке, мы протягиваем ему нашу руку в знак восстановления мира и дружбы... Но что это? Австрия отказывается принять нашу руку без перчатки, как прежде отказалась принять нашу латную перчатку! Как! Нам не суждено быть ни его союзником на мирном поприще, ни его противником на поле брани? Что ж, пусть будет так. Мы принимаем то неуважение, с каким он к нам относится, в качестве наказания за все зло, что мы, возможно, причинили ему в запальчивости, и полагаем наши счеты на этом законченными.

Он произнес эти слова скорее с величественным, чем с презрительным видом и отвернулся от эрцгерцога. Когда он отвел свой взгляд, австриец, по-видимому, почувствовал такое же облегчение, какое испытывает непослушный, ленивый ученик, лишь только строгий учитель перестает на него смотреть.

— Благородный граф Шампанский, достославный маркиз Монсерратский, доблестный гроссмейстер тамплиеров — я пришел сюда покаяться, как на исповеди. Есть у вас какие-нибудь обвинения против меня, и притязаете ли вы на удовлетворение?

— Я не знаю, на чем они могли бы быть основаны, — ответил сладкоречивый Конрад, — если не считать того, что король Англии отнимает у своих бедных братьев по оружию всю славу, какую они надеялись завоевать в этом походе.

— Мое обвинение, коль скоро мне предложено высказаться, — начал гроссмейстер тамплиеров, — тяжелее и серьезнее, чем обвинение маркиза Монсерратского. Возможно, некоторые сочтут, что воину-монаху, каким я являюсь, не пристало подымать свой голос, когда столько благородных государей хранят молчание. Однако интересы всего нашего воинства, равно как и благородного короля Англии, требуют, чтобы кто-нибудь открыто высказал ему в лицо те обвинения, которые в немалом количестве предъявлялись ему в его отсутствие. Мы восхваляем и почитаем мужество и великие подвиги короля Англии, но мы печалимся, что он при любых обстоятельствах стремится первенствовать и господствовать над нами, чему независимым государям не пристало подчиняться. Мы готовы многим добровольно поступиться из уважения к его отваге, его рвению, его богатству и могуществу; но он считает себя вправе все захватывать, не оставляя ничего, что мы могли бы уступить ему из учтивости и любезности, и тем низводит своих союзников до положения вассалов и слуг, роняет в глазах воинов и подданных престиж нашей власти, которую мы больше не можем самостоятельно осуществлять. Коль скоро доблестный Ричард пожелал от нас правды, он не должен ни удивляться, ни гневаться, слушая того, кому запрещены всякие помыслы о мирской славе, для кого светская власть — ничто, вернее — кто считается с ней лишь в той мере, в какой она способствует процветанию храма господня и повержению льва, рыскающего в поисках добычи, которую он мог бы пожрать. Итак, повторяю: Ричард не должен ни удивляться, ни гневаться, слушая такого человека, как я, говорящего правду в ответ на его вопрос. И я знаю, что правду моих слов признают в душе все, кто слышит меня, хотя чувство уважения заставляет их безмолвствовать.

Вся кровь прилила к лицу Ричарда, когда гроссмейстер открыто, не пытаясь смягчить свои обвинения, порицал его действия. Одобрительный шепот, который послышался после речи тамплиера, ясно показывал, что почти все присутствующие считают справедливыми выдвинутые упреки. Объятый яростью и в то же время огорченный, Ричард все же понимал, что, дав волю душившей его злобе, он тем самым даст своему хладнокровному и осторожному обвинителю преимущество над собой, к чему тот

главным образом и стремился. Поэтому он сделал над собой огромное усилие и молчал до тех пор, пока не прочел про себя «Отче наш», как велел ему поступать духовник в тех случаях, когда им начинал овладевать гнев. Затем король заговорил спокойно, но не без горечи, особенно вначале:

— Да так ли это? Неужели надо было нашим братьям столь старательно отмечать несдержанность нашего нрава, грубость и стремительность, с какой проявлялось наше усердие, которое иногда вынуждало нас отдавать приказы, если для совещания не было времени? Мне не могло прийти в голову, что подобные обиды, нанесенные мною случайно и непредумышленно, могли так глубоко запасть в сердца моих союзников по этому священнейшему походу, что из-за меня они отнимут руки от плуга, когда борозда уже почти закончена, из-за меня они свернут с прямой дороги в Иерусалим, которая уже открылась перед ними благодаря их мечам. Напрасно я думал, что мои скромные заслуги могут перевесить необдуманно совершенные мною ошибки... что те, кто не забыл, как я рвался вперед на приступ, помнят и то, что при отступлении я всегда бывал последним... Если я водружал свое знамя на завоеванном поле сражения, то это была единственная награда, к которой я стремился, между тем как другие делили добычу. Я мог назвать завоеванные города своим именем, но предоставлял владеть ими другим. Если я упорно настаивал на смелых решениях, то ведь я и не щадил ни своей крови, ни крови моего народа, столь же смело приводя их в исполнение... Если в спешке похода или горячке битвы я принимал на себя начальство над воинами других, я всегда относился к ним как к своим, покупая на собственные средства продовольствие и лекарства, которые их государи не имели возможности приобрести... Но мне стыдно напоминать вам о том, что все, кроме меня, кажется, забыли. Поговорим лучше о будущем, о том, что нам предстоит делать. Верьте мне, братья, — продолжал Ричард, и его лицо загорелось страстным порывом, — ни гордость, ни ярость, ни честолюбие Ричарда не станут камнем преткновения на пути, на который церковь и слава призывают вас как бы трубным гласом архангела. О нет, нет! Я не переживу мысли, что мои ошибки и слабости послужили к разрушению благородного содружества присутствующих здесь государей. Я

отрубил бы своей правой рукой левую, если бы это могло послужить доказательством моей искренности. Я добровольно уступлю вам право начальствовать над воинством, даже над моими вассальными подданными. Пусть их поведут те государи, которых вы назначите, а их король, всегда готовый обменять предводительский жезл на копье простого рыцаря, будет служить под знаменем Бо-Сеан в рядах тамплиеров или же под знаменем Австрии, если Австрия поставит во главе своих войск достойного человека. А если вы устали от этого похода и чувствуете, что от доспехов на вашем изнеженном теле появляются ссадины, тогда оставьте Ричарду всего десять или пятнадцать тысяч воинов, чтобы завершить выполнение данного вами обета. И когда Сион будет завоеван, — воскликнул он, размахивая простертой ввысь рукой, словно водружая знамя креста над Иерусалимом, — когда Сион будет завоеван, мы напишем на его воротах не имя Ричарда Плантагенета, а имена тех благородных государей, которые дали ему средства к победе!

Грубое красноречие и решительное выражение лица воина-короля подняли упавший дух крестоносцев, вновь пробудили в них благочестивое рвение и, направив их внимание на главную цель похода, заставили большую часть присутствующих покраснеть от стыда за мелочность тех поводов для недовольства, которые они прежде принимали так близко к сердцу. Глаза зажигались огнем, встречая взгляд другого, слышавшиеся с разных сторон возгласы заражали мужеством. Они вспомнили военный клич, раздавшийся в ответ на проповеди Петра Пустынника, и все как один громко воскликнули:

— Веди нас, доблестный Ричард Львиное Сердце, нет никого достойней тебя вести за собою храбрецов. Веди нас... На Иерусалим, на Иерусалим! Такова воля божья... Такова воля божья! Да будет благословен тот, кто приложит руку к ее осуществлению!

Этот крик, столь неожиданный и столь единодушный, был услышан за кольцом часовых, охранявших шатер совета, и достиг ушей крестоносцев, которые, пребывая в бездействии и изнуренные болезнями и климатом, стали, подобно своим вождям, терять бодрость духа. Однако появление Ричарда, снова полного сил, и хорошо знакомый клич, который доносился из палатки, где

собрались государи, сразу же вновь зажег их сердца воодушевлением, и тысячи, десятки тысяч голосов откликнулись: «Сион, Сион! Война, война... немедленно в битву с неверными! Такова воля божья, такова воля божья!»

Радостные крики снаружи, в свою очередь, усилили воодушевление, царившее внутри шатра. Те, кто на самом деле остался равнодушен, боялись, во всяком случае в данный момент, казаться холоднее других. Теперь разговор шел только о победоносном походе на Иерусалим по окончании срока перемирия и о тех мерах, которые тем временем должны быть приняты для снабжения и пополнения армии. Когда заседание совета кончилось, все его участники, по-видимому, были полны благородного пыла; у большинства, впрочем, он быстро погас, а у иных никогда не зажигался.

К последним принадлежал и маркиз Конрад и гроссмейстер тамплиеров, вместе возвращавшиеся к себе, сильно не в духе и недовольные событиями дня.

— Я всегда говорил тебе, — сказал тамплиер со свойственным ему холодным, сардоническим выражением лица, — что Ричард прорвет непрочные тенета, расставляемые тобой на его пути, как лев — паутину. Ты видишь, стоило ему заговорить, и его слова взволновали этих непостоянных глупцов с такой же легкостью, с какой вихрь подхватывает раскиданные по земле соломинки и по своему желанию то сметает их в кучу, то уносит в разные стороны.

— Когда порыв ветра стихнет, — сказал Конрад, — соломинки, плясавшие под его дуновением, снова опустятся на землю.

— Но неужели ты не понимаешь, — продолжал тамплиер, — что даже в том случае, если от новых завоевательных планов откажутся и они будут навсегда похоронены, а каждый из этих могущественных государей снова начнет руководствоваться лишь своим скудным умом, Ричард все-таки, вероятно, сможет стать иерусалимским королем путем соглашения и заключит договор с султаном на тех условиях, которые, по твоему мнению, он должен был бы с презрением отвергнуть?

— Ну, клянусь Магундом и Термагантом, ибо христианские клятвы вышли из моды, — сказал Конрад, — ты, кажется, думаешь, что гордый король Англии согласен породниться с

язычником султаном? Моя политика в том и состояла, чтобы, включив этот пункт, сделать весь договор омерзительным для Ричарда... Для нас одинаково плохо, станет ли он нашим повелителем в силу соглашения или в результате победы.

— В твоей политике ты не принял в расчет способность Ричарда все переварить. Я знаю о его намерениях из тех слов, что архиепископ успел мне шепнуть... Да и твой ловкий ход со знаменем произвел такое же впечатление, словно дело шло о двух локтях расшитого шелка. Маркиз Конрад, твой ум начинает слабеть. Я больше не буду полагаться на твои хитро сплетенные замыслы, а приму свои меры. Знаешь ли ты о людях, которых сарацины называют хариджитами?

— Разумеется, — ответил маркиз. — Это неистовые, одержимые фанатики, посвятившие свою жизнь распространению религии, — нечто вроде тамплиеров, с той лишь разницей, что они, как известно, никогда не медлят с исполнением своих обетов.

— Не шути, — нахмурившись, сказал монах. — Знай, что один из этих людей дал кровавую клятву изрубить на куски нашего островного короля, как главного врага мусульманской религии.

— Весьма здравомыслящий язычник, — заметил Конрад. — Пусть в награду Мухаммед даст ему место у себя в раю.

— Он был схвачен в лагере одним из наших оруженосцев и при допросе с глазу на глаз откровенно признался мне в своем твердом, непреклонном намерении, — сказал гроссмейстер.

— Да простит бог того, кто помешал этому весьма здравомыслящему хариджиту выполнить его намерение! — воскликнул Конрад.

— Он мой пленник, — продолжал тамплиер, — и, как ты сам понимаешь, лишен возможности с кем-либо общаться... Но из заточения убегают...

— Цепь оставляют не запертой на замок, и пленник исчезает, — перебил маркиз. — Существует старинная поговорка: «Единственная надежная темница — это могила».

— Убежав, он возобновит свои попытки, — продолжал воин-монах, — ибо природа этих ищеек такова, что, учуяв след добычи, они не оставляют его.

— Не будем больше говорить об этом, — сказал маркиз. — Мне ясен твой замысел... Он ужасен, но без крайних средств не

обойтись.

— Я рассказал тебе все это, — пояснил тамплиер, — лишь для того, чтобы ты был настороже, ибо подыметесь страшный шум, и мы не можем заранее предвидеть, на кого обрушится ярость англичан. К тому же есть еще одна опасность: мой паж знает замыслы хариджита, — продолжал он. — Больше того — он сварливый, упрямый глупец, от которого я не прочь избавиться, так как он мешает мне, осмеливаясь смотреть своими собственными глазами, а не моими. Впрочем, наш святой орден предоставляет мне право применить нужные средства в подобных затруднительных положениях. Или погоди... Сарацин может найти в своей темнице острый кинжал; ручаюсь, он воспользуется им, чтобы вырваться на свободу, и это, несомненно, случится, как только паж войдет с едой для него.

— Это вполне осуществимый план, — сказал Конрад, — и все же...

— Все же ино, — изрек тамплиер, — слова для глупцов. Умные люди не колеблются и не отступают — они принимают решение и выполняют его.

Глава XX

*В тенета красоты попавший лев
Не смеет даже гривую тряхнуть,
Не то что выпустить с угрозой когти.
Так Геркулес сменил свою дубину
На прялку из-за красоты Омфалы.*

Неизвестный автор

Ничего не подозревавший о предательском заговоре, о котором мы рассказали в конце предыдущей главы, Ричард, добившись, по крайней мере на время, полного единения вождей-крестоносцев и вдохнув в них решимость продолжать войну, был озабочен теперь тем, чтобы восстановить спокойствие в своей семье. Он снова обрел способность к здравому суждению и хотел подробно разобраться в обстоятельствах, которые повели к пропаже его знамени, и в характере тех отношений, какие существовали между

его родственницей Эдит и изгнанным шотландским рыцарем.

Итак, к немалому испугу королевы и ее приближенных, к ним явился сэр Томас де Во и потребовал, чтобы леди Калиста Монфокон, первая придворная дама королевы, безотлагательно явилась к королю Ричарду.

— Что мне говорить, мадам? — вся дрожа, спросила Калиста у королевы. — Он убьет всех нас.

— О нет, не бойтесь, мадам, — вмешался де Во. — Его величество помиловал шотландского рыцаря, который был главным преступником, и отдал его мавританскому врачу... Он не будет суров с женщиной, пусть даже виновной перед ним.

— Придумай какую-нибудь замысловатую историю, Калиста, — сказала Беренгария. — У моего мужа слишком мало времени, чтобы доискиваться правды.

— Расскажи, как это на самом деле было, — сказала Эдит, — не то я расскажу вместо тебя.

— С милостивого разрешения вашего величества, — заметил де Во, — совет леди Эдит, по-моему, правильный: хотя король Ричард охотно верит тому, что вашей милости угодно ему говорить, я, однако, сомневаюсь, чтобы он так же снисходительно отнесся к леди Калисте, особенно в данном случае.

— Лорд Гилсленд прав, — согласилась леди Калиста, крайне взволнованная мыслью об ожидавших ее расспросах. — К тому же, если у меня и хватит присутствия духа, чтобы сочинить какую-нибудь правдоподобную историю, видит бог, я никогда не осмелюсь рассказать ее.

Де Во привел столь чистосердечно настроенную леди Калисту к королю, и она, как и намеревалась, откровенно рассказала ему о той ловушке, с помощью которой несчастного рыцаря Леопарда заставили покинуть свой пост. При этом она сняла всякую вину с леди Эдит, не сомневаясь, что та и сама не преминет снять с себя вину, и возложила всю ответственность на свою госпожу королеву, чье участие в этой проделке, как она знала, легче всего найдет прощение у Львиного Сердца. Ричард и впрямь страстно, почти до самозабвения любил жену. Первая вспышка его гнева давно прошла, и он не склонен был слишком строго осуждать за то, чего уже нельзя было исправить. Лукавая леди Калиста, с раннего детства привыкшая разбираться в придворных интригах и

подмечать малейшие проявления монаршей воли, поспешила словно на крыльях возвратиться к королеве и передать ей от имени короля, что он скоро посетит ее. От себя придворная дама добавила основанные на собственных наблюдениях комментарии, из которых следовало, что Ричард намеревается проявить лишь столько суровости, сколько необходимо, чтобы его царственная супруга почувствовала раскаяние в своей проделке, а затем милостиво простит королеву и всех остальных участниц.

— Стало быть, ветер благоприятный, Калиста? — сказала королева, весьма обрадованная этими известиями. — Поверь мне, Ричарду, хотя он и великий полководец, вряд ли удастся провести нас; и, как говорят пиренейские пастухи в моей родной Наварре, многие приходят за шерстью, а уходят сами остриженные.

Получив от Калисты все сведения, какие та могла сообщить, царственная Беренгария переделалась в платье, которое ей больше всего было к лицу, и спокойно стала поджидать прибытия доблестного Ричарда.

Он пришел и очутился в положении повелителя, который вступил на территорию навлекшей на себя его недовольство провинции в полной уверенности, что ему предстоит лишь дать хороший нагоняй и принять изъявления покорности; но неожиданно он столкнулся с открытым неповиновением и мятежом. Беренгария прекрасно знала силу своего обаяния и безграничную любовь Ричарда; она не сомневалась, что теперь, когда первый порыв его бешеного гнева благополучно миновал, она может за себя постоять. Вовсе не собираясь выслушивать заготовленные королем упреки, полностью заслуженные ею за легкомысленное поведение, она старалась преуменьшить и даже отрицать свою вину, изобразив все как невинную шутку. Она придумывала множество милых отговорок и уверяла, будто не давала Нектабанусу поручения завлечь рыцаря дальше края горы, на которой он стоял стражем, и, уж конечно — это соответствовало действительности — не предполагала, что сэра Кеннета приведут к ней в шатер. Королева защищалась с большим жаром, а затем с еще большей горячностью напала на Ричарда, обвиняя его в нелюбезности, проявленной им отказом даровать ей ничтожную милость и пощадить злополучного рыцаря, который из-за ее необдуманной шалости был судим по военным законам и едва не

поплатился жизнью. Она плакала и рыдала, снова и снова упрекая в неумолимости своего мужа, чья жестокость угрожала сделать ее навеки несчастной, ибо она никогда не смогла бы отделаться от мысли, что невольно послужила косвенной причиной такой трагедии. Видение умерщвленной жертвы преследовало бы ее во сне, и кто знает — такие случаи ведь не редки, — быть может, призрак этого человека стоял бы по ночам у ее ложа, не давая заснуть. И всеми этими терзаниями она была бы обязана суровости того, кто, утверждая, будто он готов на все ради одного ее взгляда, не пожелал воздержаться от акта жалкой мести, хотя он принес бы ей столько горя.

Весь этот поток женского красноречия сопровождался обычными доводами в виде слез и вздохов, причем тон и жесты королевы давали понять, что ее неудовольствие вызвано не задетой гордостью и не упрямством, а оскорблявшим ее чувства сознанием, что она не занимает в сердце мужа того места, на которое вполне могла рассчитывать.

Добрый король Ричард был в большом затруднении. Он тщетно пытался образумить ту, кого сомнение в его любви делало глухой к любому доводу; в то же время он не мог заставить себя прибегнуть к строгости и использовать свои законные права по отношению к столь прекрасному созданию, объятому безрассудным гневом. Ему пришлось поэтому ограничиться обороной, он ласково журил Беренгарию за подозрения и пытался ее успокоить. Он внушал ей, что она не должна вспоминать о прошлом с угрызениями совести или со страхом перед сверхъестественными силами, ибо сэр Кеннет жив и здоров и отдан им знаменитому арабскому врачу, а тот, несомненно, лучше кого бы то ни было сумеет сохранить ему жизнь. Однако своими словами он задел самое больное место, и королева снова опечалилась при мысли, что сарацин — какой-то лекарь! — добился милости, о которой она на коленях, с непокрытой головой тщетно умоляла своего мужа. При этом новом упреке терпение Ричарда стало истощаться, и он сурово сказал:

— Беренгария, этот врач спас мне жизнь. Если она имеет ценность в твоих глазах, ты не должна была бы завидовать и более высокой награде, чем та единственная, какую он согласился от меня принять.

Королева прекратила свои жеманные сетования, поняв, что дошла до такого предела, переступить который было бы уже опасно.

— Мой Ричард, — сказала она, — почему ты не привел этого мудреца ко мне, чтобы королева Англии могла показать, как она ценит того, кто не дал угаснуть светочу рыцарства, славе Англии и солнцу всей жизни и надежды бедной Беренгарии?

На этом супружеские пререкания закончились; но так как справедливость требовала, чтобы кто-нибудь понес наказание, то король и королева единодушно возложили всю вину на посредника Нектабануса, который (к этому времени королеве уже достаточно наскучили выходки жалкого карлика) был приговорен к изгнанию вместе со своей царственной супругой Геневрой. Несчастный Нектабанус избег дополнительной кары в виде порки только благодаря заверениям королевы, что он уже был подвергнут телесному наказанию. Так как в ближайшее время должны были направить посла к Саладину, чтобы известить его о решении Совета крестоносцев возобновить военные действия по истечении срока перемирия, и так как Ричард намеревался послать султану ценный подарок в знак признательности за ту великую пользу, которую принесли ему услуги эль-хакима, то король и королева решили добавить к этому подарку злосчастных супругов. Подобные уродцы по своей причудливой внешности и слабоумию как раз подходили для того, чтобы один монарх мог преподнести их другому.

В этот день Ричарду предстояло выдержать встречу еще с одной женщиной. Он шел на это свидание относительно спокойно; хотя Эдит отличалась красотой и внушала своему царственному родственнику большое уважение и хотя она действительно могла чувствовать себя оскорбленной его несправедливыми подозрениями, между тем как Беренгария только делала вид, что обижена, — она не была, однако, ни женой, ни любовницей Ричарда, и ее упреков, пусть даже обоснованных, он боялся меньше, чем несправедливых и беспочвенных упреков королевы. Он выразил желание поговорить с Эдит наедине, и его ввели в ее покои, примыкавшие к покоям королевы, две коптские рабыни которой во время беседы стояли на коленях в самом отдаленном углу. Тонкое черное покрывало свободными складками окутывало

высокую стройную фигуру благородной Эдит. На ней не было никаких украшений. Когда Ричард вошел, она встала и склонилась в глубоком поклоне, затем по знаку короля снова села, когда он занял место рядом с ней, и, не произнося ни слова, ждала, пока он выразит свою волю.

Ричард, который обычно держал себя с Эдит просто, на что ему давало право их родство, почувствовал холодность оказанного ему приема и начал разговор несколько смущенно.

— Наша прекрасная кузина, — сказал он наконец, — сердита на нас. Признаемся, серьезные обстоятельства заставили нас ошибочно заподозрить ее в поступке, противоречащем всему, что нам прежде было известно о ней. Но пока люди блуждают в тумане земной юдоли, они неизбежно принимают тени за действительность. Неужели моя прекрасная кузина не может простить своего чересчур вспыльчивого родственника Ричарда?

— Кто может отказать в прощении Ричарду, — ответила Эдит, — если только Ричард сумеет оправдать себя перед королем?

— Полно, любезная родственница, — ответил Львиное Сердце, — все это слишком выпендренно. Клянусь святой девой, такой печальный вид и это широкое траурное покрывало могут навести на мысль, что ты только что овдовела или по меньшей мере лишилась нежно любимого жениха. Развеселись... Ты, конечно, слышала, что у тебя нет оснований печалиться... О чем же ты скорбишь?

— О потерянной чести Плантагенетов, о славе, покинувшей царственный род моего отца.

Ричард нахмурился.

— Потерянная честь! Слава, покинувшая наш род! — раздраженно повторил он. — Впрочем, моя кузина Эдит имеет особые права. Я судил о ней слишком поспешно. Она имеет поэтому основание судить меня слишком строго. Но скажи мне наконец, в чем я провинился.

— Плантагенет, — ответила Эдит, — либо простил бы оскорбление, либо покарал бы за него. Ему не подобает отдавать свободных людей, христиан и доблестных рыцарей в рабство неверным. Ему не подобает принимать половинчатые решения, сообразуясь с выгодой, или, даровав человеку жизнь, лишать его свободы. Смертный приговор несчастному был бы жестокостью,

но имел бы хоть видимость правосудия; осуждение его на рабство и изгнание было неприкрытым тиранством.

— Я вижу, моя прекрасная кузина, — заметил Ричард, — что ты принадлежишь к числу тех красавиц, которые отсутствующего возлюбленного ставят ни во что или считают как бы умершим. Имей терпение: десяток быстрых всадников может пуститься вдогонку и исправить ошибку, если твой поклонник является обладателем некоей тайны, делающей его смерть более желательной, чем изгнание.

— Прекрати непристойные шутки! — ответила Эдит, покраснев. — Подумай лучше о том, что ради своей прихоти ты отсек здоровую ветвь, лишил крестоносное воинство одного из храбрейших поборников великого дела и отдал слугу истинного бога в руки язычника. Людям, столь же подозрительным, каким оказался ты сам, ты дал повод говорить, что Ричард Львиное Сердце изгнал самого храброго из своих рыцарей, опасаясь, как бы тот не сравнялся с ним в воинской славе.

— Я!.. Я! — воскликнул Ричард, на этот раз действительно задетый за живое. — Я завидую чьей-нибудь славе? Я хотел бы, чтобы он очутился здесь и заявил о своем желании доказать, что он равен мне! Я пренебрег бы своим королевским саном и встретился бы с ним по-рыцарски на ристалище, чтобы все увидели, есть ли в сердце Ричарда Плантагенета место для страха или зависти к отваге любого смертного. Полно, Эдит, ты говоришь не то, что думаешь. Пусть гнев или печаль из-за разлуки с возлюбленным не делает тебя несправедливой по отношению к родственнику, для которого, несмотря на всю горячность твоего нрава, нет на земле человека, чью репутацию он ставил бы выше, нежели твою.

— Разлука с возлюбленным? — сказала леди Эдит. — О да, вполне можно назвать моим возлюбленным того, кто столь дорого заплатил за право так именоваться. Хотя я и недостойна этой чести, я была для него как бы путеводной звездой, которая вела его вперед по благородной стезе рыцарства; но неправда, что я забыла свое высокое положение или что он осмелился на большее, чем ему позволяло его положение, — пусть это утверждает даже король.

— Моя прекрасная кузина, — сказал Ричард, — не вкладывай в мои уста слов, которых я не произносил. Я не говорил, что ты

оказывала этому человеку большую милость, нежели та, какую добрый рыцарь, независимо от своего происхождения, мог заслужить со стороны принцессы крови. Но, клянусь пресвятой девой, я кое-что понимаю в любовных делах: все начинается с молчаливого почитания и поклонения издали, но как только представится случай, отношения становятся более близкими, и тогда... Впрочем, не стоит говорить об этом с той, кто считает себя умнее всех на свете.

— Я охотно выслушаю советы моего родственника, — возразила Эдит, — если они не оскорбительны для моего высокого звания и достоинства.

— Короли, моя прекрасная кузина, не советуют, а скорее повелевают.

— Султаны действительно повелевают, но это потому, что они властвуют над рабами.

— Полно, со временем ты, может быть, перестанешь презирать султана, коль скоро ты так высоко ставишь шотландца, — сказал король.

— По-моему, Саладин крепче держит свое слово, чем этот Вильгельм Шотландский, которого уж воистину справедливо прозвали Львом. Ведь Вильгельм подло обманул меня, не прислав обещанной помощи. Знаешь, Эдит, ты, пожалуй, доживешь до того, что предпочтешь честного турка вероломному шотландцу.

— Нет, никогда! — ответила Эдит. — Если даже сам Ричард перейдет в веру мусульман, ради изгнания которых из Палестины он переплыл моря.

— Тебе угодно, чтобы последнее слово осталось за тобой, — сказал Ричард, — пусть будет так. Думай обо мне что хочешь, прелестная Эдит, а я никогда не забуду, что ты моя ближайшая и любимая родственница.

Король учтиво попрощался, но результат посещения удовлетворил его очень мало.

Шел уже четвертый день с тех пор, как сэра Кеннет был увезен из лагеря. Король Ричард сидел у себя в шатре, наслаждаясь вечерним западным ветром, который нес на своих крыльях необычную прохладу и, казалось, долетал сюда из веселой Англии, чтобы освежить ее отважного монарха, постепенно восстанавливающего силы, столь необходимые ему для

осуществления задуманного грандиозного плана. Ричард был один, так как де Во он отправил в Аскалон поторопить с доставкой подкреплений и припасов, а большая часть остальных приближенных занималась всякого рода делами, готовясь к возобновлению военных действий и к большому смотру армии крестоносцев, назначенному на следующий день. Ричард сидел, прислушиваясь к деловитому гулу лагеря, стуку, доносившемуся из походных кузниц, где ковались подковы, и из палаток оружейников, чинивших доспехи. Голоса воинов, проходивших мимо шатра, звучали громко и весело, и самый тон разговоров вселял уверенность в их безграничной отваге и служил, казалось, предзнаменованием грядущей победы. В то время как Ричард с наслаждением упивался всеми этими звуками и предавался мечтам о торжестве над врагом и славе, которые они предвещали, один из конюших сказал ему, что гонец от Саладина ожидает перед шатром.

— Немедленнопусти его, — распорядился король, — и с должным почетом, Джослин.

Английский рыцарь ввел посланца; то был, по-видимому, всего лишь нубийский раб, обладавший, однако, замечательной внешностью. Прекрасного роста, великолепно сложенный, с властными чертами лица, он, хотя и был черен как смола, в остальном ничем не обнаруживал негритянского происхождения. На черных как вороново крыло волосах была белоснежная чалма, а с плеч ниспадал короткий плащ того же цвета, открытый спереди и с прорезями для рук; из-под плаща виднелась короткая куртка из выделанной леопардовой шкуры, на ширину ладони не доходившая до колен. Его сильные, мускулистые руки и ноги были обнажены; легкие сандалии, серебряные браслеты и ожерелье довершали его наряд. Широкий прямой меч с рукоятью из самшита и в ножнах, отделанных змеиной кожей, висел у него на поясе. В правой руке он держал короткий дротик с широким блестящим стальным наконечником длиной в пядь, а левой вел на поводке из крученых золотых и серебряных нитей благородного охотничьего пса огромных размеров.

Гонец простерся ниц, обнажив при этом плечи в знак покорности; он коснулся лбом земли, затем приподнялся и, стоя на одном колене, протянул королю сверток; шелковый платок,

обвернутый вокруг другого платка из золотой парчи, в котором лежало письмо Саладина на арабском языке с переводом на англонорманский. Переделанное на более современный лад оно звучало бы так:

«Саладин, царь царей, Мелеку Рику, Льву Англии. Поскольку из твоего последнего послания мы узнали, что ты войну предпочел миру и вражду между нами — нашей дружбе, нам остается лишь полагать, что тебя постигла слепота, и надеяться вскоре убедить тебя в твоей ошибке с помощью непобедимого воинства нашей тысячи племен, когда Мухаммед, пророк божий, и аллах, бог пророка, разрешат спор между нами. За всем тем мы высоко ценим твое благородство и те дары, которые ты прислал нам, и двух карликов, необычайных в своем уродстве, подобно Эзопу, и веселых, как лютня Исаака. В отплату за эти знаки твоей великодушной щедрости мы посылаем тебе нубийского раба по имени Зоухак, о котором прошу тебя не судить по цвету его кожи, как делают глупцы, а памятовать, что плод с темной кожурой превосходит на вкус все остальные. Знай, что он ревностен в исполнении приказов своего господина, как Рустам из Заблестана; он также достаточно мудр, чтобы подать совет, когда ты научишься разговаривать с ним, ибо его повелитель речи обречен на молчание среди стен из слоновой кости своего дворца. Мы поручаем его твоим заботам в надежде, что недалек, возможно, тот час, когда он окажет тебе добрую услугу. На этом мы прощаемся с тобой; уповая, что наш святой пророк откроет все же твоим глазам истину, света которой ты пока лишен, мы желаем быстрого восстановления твоего королевского здоровья, чтобы аллах мог рассудить нас с тобой на поле честной битвы».

Послание было скреплено подписью и печатью султана.

Ричард молча разглядывал нубийца, который стоял перед ним, устремив взор в землю, скрестив руки на груди, напоминая черную мраморную статую искуснейшего мастера, ожидающую, чтобы Прометей вдохнул в нее жизнь. Король Англии — как впоследствии метко говорили о его преемнике Генрихе VIII — любил смотреть начеловека; мускулатура и пропорциональное телосложение того, кого он сейчас рассматривал, ему очень понравились, и он спросил на лингва-франка:

— Ты язычник?

Раб покачал головой и, подняв палец ко лбу, перекрестился в доказательство того, что он христианин, затем снова неподвижно застыл в смиренной позе.

— Нубийский христианин, разумеется, — сказал Ричард, — эти собаки язычники отрезали ему язык.

Немой снова медленно покачал головой в знак отрицания, простер указательный палец ввысь, а затем приложил его к своим губам.

— Я понимаю тебя, — сказал Ричард, — ты страдаешь из-за божьей кары, а не вследствие жестокости людей. Умеешь ли ты чистить доспехи и сможешь ли надеть их на меня в случае необходимости?

Немой утвердительно кивнул; он подошел к кольчуге, которая вместе со щитом и шлемом короля-рыцаря висела на столбе, подпиравшем крышу шатра, и с такой ловкостью и сноровкой взял ее в руки, что сразу показал свое безукоризненное знание обязанностей оруженосца.

— Ты понятлив и, несомненно, будешь полезным слугой... Ты будешь находиться в моих покоях и при моей особе, — сказал король, — это докажет, как высоко я ценю дар царственного султана. Так как у тебя нет языка, то ты не сможешь ничего разболтать и каким-нибудь неудачным ответом не будешь вынуждать меня к опрометчивым поступкам.

Нубиец снова простерся ниц, коснувшись лбом земли, затем встал и занял место в нескольких шагах от нового хозяина, как бы ожидая его распоряжений.

— О нет, приступай сразу же к своим обязанностям, — сказал Ричард.

— Я вижу ржавчину на этом щите; а когда я буду потрясать им перед лицом Саладина, он должен быть блестящим и ничем не запятнанным, как честь султана и моя.

Снаружи раздался звук рога, и вскоре в шатер вошел сэр Генри Невил с пачкой донесений в руках.

— Из Англии, милорд, — сказал он, подавая ее королю.

— Из Англии, из нашей Англии! — повторил Ричард взволнованно-грустным тоном. — Увы! Они не представляют себе, как тяжело одолевали их повелителя горести и недуг, сколько

неприятностей причинили ему робкие друзья и дерзкие враги! — Затем, распечатав донесение, он поспешно добавил: — Ба! нам пишут не из мирной страны... В ней тоже идут раздоры. Невил, уходи: я должен один на свободе ознакомиться с этими известиями.

Невил вышел, и Ричард вскоре погрузился в чтение печальных новостей, о которых ему сообщали из Англии; он узнал о заговорах, раздиравших на части его родовые владения, о распре между его братьями Джоном и Джеффри, о несогласиях между ними обоими и верховным судьей Лонгчампом, епископом Элийским, о притеснениях феодалов и крестьянских восстаниях, которые повлекли за собой повсеместные неурядицы, а кое-где и кровавые столкновения. Подробности о событиях, унижительных для его гордости и умалявших его авторитет, сопровождались настоятельными указаниями самых мудрых и преданных советников на необходимость немедленного возвращения в Англию, ибо только его присутствие может дать надежду на спасение страны от всех ужасов междоусобицы, которой Франция и Шотландия не преминут воспользоваться. Объятый мучительным беспокойством, Ричард читал и вновь перечитывал зловещие послания, сравнивая известия, содержащиеся в некоторых из них, с теми же фактами, изложенными в других несколько иначе. Вскоре он совершенно перестал замечать, что происходит вокруг него, хотя сидел, чтобы было прохладнее, у самого входа в шатер, у отдернутого полога, так что мог видеть стражу и других людей, находившихся снаружи, и был хорошо виден им.

Несколько дальше от входа, почти спиной к королю сидел нубийский раб, занятый работой, которую ему поручил новый хозяин. Он кончил приводить в порядок и чистить кольчугу и бригантину и теперь усердно трудился над павезой огромного размера, обитой стальными пластинками; Ричард часто пользовался ею при рекогносцировке уязвимых мест какого-нибудь укрепления или при его штурме, так как она защищала от метательного оружия лучше, чем узкий треугольный щит, применяемый в конном бою. На павезе не было ни королевских львов Англии, ни каких-либо других эмблем, которые могли привлечь внимание защитников стен, когда Ричард приближался к ним под ее прикрытием; поэтому все старание

оружейника было направлено к тому, чтобы поверхность щита заблестела как зеркало, и это ему как будто вполне удалось. Рядом с нубийцем лежал, снаружи почти незаметный, большой пес; благородное животное, его товарищ по рабству, словно испуганное переходом к новому хозяину-королю, свернулось клубком у самых ног немого, опустив уши, уткнувшись мордой в землю и поджав под себя лапы и хвост.

В то время как монарх и его новый слуга занимались своими делами, еще одно действующее лицо крадучись выступило на сцену и замешалось в толпу английских воинов, десятка два которых несли стражу перед шатром; из опасения нарушить необычно задумчивое настроение своего повелителя, погруженного в работу, они вели себя, вопреки обыкновению, очень тихо. Впрочем, они были не более бдительны, чем всегда. Некоторые играли в камешки на деньги, другие шепотом разговаривали о предстоящей битве, а кое-кто улегся спать, завернувшись в свой зеленый плащ.

Среди беспечной охраны скользила тщедушная фигура невысокого старого турка в бедной одежде марабута, или дервиша-пустынника, одного из тех фанатиков, которые иногда отваживались заходить в лагерь крестоносцев, хотя их там постоянно встречали оскорблениями, а часто и пинками. Слостолбие вождей крестоносцев и их привычка потакать своим беспутным прихотям вели к тому, что в их шатрах собиралась пестрая толпа музыкантов, куртизанок, евреев-торговцев, коптов, турок и всякого восточного сброда. Таким образом, никого не удивлял и не тревожил в лагере крестоносцев вид халата и чалмы, хотя их изгнание из святой земли было провозглашено целью похода. Когда, однако, щуплый человечек, описанный нами выше, приблизился настолько, что стража преградила ему путь, он сорвал с головы выцветшую зеленую чалму, и все увидели его бороду и брови, выстриженные как у заправского шута, и безумное выражение его странного, изборожденного морщинами лица и маленьких черных глаз, сверкавших, как гагат.

— Танцуй, марабут! — кричали воины, знавшие повадки этих странствующих фанатиков. — Танцуй, не то мы примемся хлестать тебя тетивами, пока ты не завертишься так, как никогда не вертелся запущенный школьниками волчок.

Так галдели нерадивые стражи, придя в восторг от того, что им есть кого помучить, подобно ребенку, поймавшему бабочку, или школьнику, отыскавшему птичье гнездо.

Марабут, словно обрадованный приказаниями воинов, подпрыгнул и с необычайной легкостью завертелся перед ними; тонкая, изможденная фигура, весь тщедушный вид делали его похожим на сухой лист, который крутится и вертится по воле зимнего ветра. На плешивой и бритой голове мусульманина встала дыбом единственная прядь волос, словно схваченная незримой рукой какого-то духа; и действительно, нужна была, казалось, сверхъестественная помощь для исполнения этой дикой, головокружительной пляски, при которой ноги танцующего едва касались земли. Крутясь в причудливой пантомиме, он кидался то туда, то сюда, перелетал с места на место, но все время приближался, хоть и едва заметно, ко входу в королевский шатер. Таким образом, когда, сделав несколько еще более высоких, чем раньше, прыжков, старик наконец упал обессиленный на землю, он находился уже почти в тридцати ярдах от короля.

— Дайте ему воды, — сказал один из воинов, — они всегда испытывают жажду после такой карусели.

— Воды, говоришь ты, Долговязый Аллен? — воскликнул другой лучник, подчеркивая свое пренебрежительное отношение к презренной жидкости. — Неужто тебе самому понравилось бы это питье после такой мавританской пляски?

— Черта лысого, получит он от нас хоть каплю воды, — вставил третий. — Мы сделаем из быстроногого старого язычника доброго христианина и научим его пить кипрское вино.

— Да, да, — сказал четвертый, — а если он будет артачиться, притащи рог Дика Хантера, из которого он поит слабительным свою кобылу.

Вокруг распростертого в изнеможении дервиша мгновенно собралась толпа; какой-то высокий воин посадил хилого старика, а другой поднес ему большую флягу вина. Не в силах вымолвить ни слова, марабут покачал головой и оттолкнул рукой напиток, запрещенный пророком. Но его мучители не утихомирились.

— Рог, рог! — воскликнул один из них. — Между арабом и арабской лошадью разница невелика, и обращаться с ними надо одинаково.

— Клянусь святым Георгием, он захлебнется! — сказал Долговязый Аллен. — К тому же грех тратить на языческого пса столько вина, сколько хватило бы доброму христианину на тройную порцию перед сном.

— Ты не знаешь турок и язычников, Долговязый Аллен, — возразил Генри Вудстол. — Уверяю тебя, дружище, что эта фляга кипрского заставит его мозги вертеться в сторону, как раз противоположную той, в какую они крутились во время танца, и, таким образом, поставит их на место... Захлебнется? Он так же захлебнется этим вином, как черная сука Бена подавится фунтом масла.

— Не жадничай, — сказал Томалин Блеклис, — не стыдно ли тебе жалеть о том, что бедному язычнику достанется на земле глоток питья, коль скоро ты знаешь, что он целую вечность не получит ни капли, чтобы охладить кончик своего языка?

— Это, пожалуй, — сказал Долговязый Аллен, — суровое наказание только за то, что он турок, каким был его отец! Кабы он был христианином, принявшим мусульманскую веру, тогда я согласился бы с вами, что самое жаркое пекло было бы для него подходящей зимней квартирой.

— Помолчи, Долговязый Аллен, — посоветовал Генри Вудстол, — право, у тебя слишком длинный язык; попомни мои слова, достанется тебе из-за него от отца Франциска, как уже однажды досталось за черноглазую сирийскую девку... Но вот и рог. Пошевеливайся, дружище, ну-ка разожми ему зубы рукоятью кинжала.

— Стойте, стойте... он согласен, — сказал Томалин. — Смотрите, смотрите, он знаками просит дать ему кубок... Не теснитесь вокруг него, ребята. *Oop sey es*, как говорят голландцы — идет как по маслу! Нет, стоит им только начать, как они становятся заправскими пьянчугами. Ваш турок дует вовсю и не поперхнется.

В самом деле, дервиш, то ли настоящий, то ли мнимый, единым духом осушил — или сделал вид, что осушил — большую флягу; когда она опустела, он отнял ее от губ и с глубоким вздохом лишь пробормотал: «Аллах керим», что означает «бог милостив». Громкий смех воинов, наблюдавших за этим обильным возлиянием, привлек внимание короля, и тот, погрозив пальцем,

сердито сказал:

— Эй вы, бездельники, что за неуважение, что за беспорядок?

Все сразу же притихли, так как хорошо знали нрав Ричарда, который подчас допускал панибратство со стороны своих воинов, а временами, правда, не часто, требовал величайшего уважения. Они поспешили отойти на почтительное расстояние от короля и попытались оттащить и марабута, но тот, видимо, еще не пришел в себя от усталости либо совершенно захмелел от только что выпитого крепкого вина и не давал сдвинуть себя с места, сопротивляясь и издавая жалобные стоны.

— Оставьте его в покое, дурачье, — прошептал Долговязый Аллен товарищам. — Клянусь святым Христофором, вы выведете из себя нашего Дикона, и он того и гляди всадит кинжал кому-нибудь из нас в башку. Не трогайте старика: не пройдет минуты, и он будет спать как сурок.

В это мгновение король снова бросил на стражу недовольный взгляд, и все поспешно удалились, а дервиш, который, казалось, был не в силах шевельнуть ни одним суставом, остался лежать на земле. Через несколько секунд опять воцарилась тишина, нарушенная было неожиданным появлением марабута.

Глава XXI

*... И Убийство,
Разбужено далеким стражем, волком,
Чей вой ему служил сигналом, к цели
Бесшумно, как Тарквиний одержимый,
Как призрак двинулось.
«Макбет».*

Прошло четверть часа после описанного события, и в течение этого времени ничто не нарушало тишины перед королевским шатром. Ричард сидел у входа, читая и предаваясь размышлениям; позади, спиной ко входу, нубийский раб продолжал начищать до блеска громадную павезу; впереди, на расстоянии сотни шагов, воины, несшие стражу, стояли, сидели или лежали на траве в молчании, предаваясь своим развлечениям, а на лужайке между

ними и шатром лежало едва различимое под кучей лохмотьев бесчувственное тело марабута.

Однако блестящая поверхность только что прекрасно отполированного щита служила теперь нубийцу зеркалом, в котором он, к своему беспокойству и удивлению, вдруг увидел, что марабут слегка приподнял голову, словно осматриваясь вокруг себя; его движения были точно рассчитаны, что совершенно не вязалось с состоянием опьянения. Тотчас же он опустил голову, видимо, убедившись, что никто за ним не наблюдает, и стал будто бы случайно, стараясь ничем не выдать преднамеренности своих усилий, подползать все ближе и ближе к королю; время от времени он, однако, останавливался и застывал на месте, подобно пауку, который, направляясь к своей жертве, вдруг безжизненно замирает, когда ему кажется, что кто-то следит за ним. Такой способ передвижения заставил эфиопа насторожиться, и он, со своей стороны, украдкой приготовился вмешаться, как только в его вмешательстве возникнет необходимость.

Тем временем марабут почти незаметно скользил, как змея, или, вернее, как улитка, пока не очутился в десяти ярдах от Ричарда; тут он вскочил на ноги, прыгнул вперед, подобно тигру, и, молниеносно очутившись позади короля, замахнулся кинжалом, который прежде был спрятан у него в рукаве. Будь здесь вся армия доблестного монарха, она не могла бы спасти его. Но движения нубийца были рассчитаны столь же точно, как и движения фанатика, и, прежде чем тот успел нанести удар, раб схватил его занесенную руку. Хариджит — вот кем был мнимый марабут, — перенеся свою исступленную ярость на того, кто неожиданно стал между ним и его жертвой, нанес нубийцу удар кинжалом, лишь слегка оцарапавший ему руку, между тем как гораздо более сильный, чем он, эфиоп без труда повалил его на землю. Только теперь поняв, что произошло, Ричард встал и, выразив на лице не больше удивления, гнева или интереса, чем обычный человек проявил бы, смахнув и раздавив залетевшую осу, схватил табурет, с которого поднялся, и воскликнув лишь: «А, собака!» — размозжил череп убийцы; произнеся дважды, сначала громко, а затем прерывающимся голосом «Аллах акбар!» («бог побеждает»), тот испустил дух у ног короля.

— Вы бдительные стражи, — презрительно упрекнул Ричард

лучников, когда они, привлеченные поднявшейся суматохой, в ужасе и тревоге ворвались в шатер. — Вы зоркие часовые, коль скоро предоставляете мне своими руками выполнять работу палача. Замолчите все, прекратите этот бессмысленный крик! Вы что, никогда раньше не видели мертвого турка?.. Ну-ка, оттащите эту падаль за пределы лагеря, отрубите голову и насадите на копье; не забудьте только повернуть ее лицом к Мекке, чтобы старому псу было легче рассказать гнусному лжепророку, по чьему внушению он явился сюда, как он выполнил его поручение... А ты, мой молчаливый темнокожий друг... — добавил он, поворачиваясь к эфиопу. — Но что это? Ты ранен, и притом, готов поручиться, отравленным оружием, ибо такая хилая скотина вряд ли могла надеяться пробить ударом кинжала шкуру льва... Пусть кто-нибудь высосет яд из его раны — он для губ безвреден, хотя и смертелен, если смешается с кровью.

Воины в замешательстве нерешительно переглядывались; необычная опасность заставила колебаться самых бесстрашных.

— Ну, что же, бездельники, — продолжал король, — чего вы медлите? У вас слишком нежные губы или вы боитесь смерти?

— Мы не боимся умереть как мужчины, — сказал Долговязый Аллен, на которого был обращен взгляд короля, — но мне неохота подыхать, как отравленной крысе, ради черного раба, которого продают и покупают на базаре, словно быка в Мартынов день.

— Его величество говорит нам, чтобы мы высосали яд, — пробормотал другой воин, — как будто предлагает поест крыжовника!

— Ну, нет, — сказал Ричард, — я никогда не приказываю сделать то, что не стал бы делать сам.

И без дальнейших церемоний, несмотря на уговоры всех окружающих и почтительный протест самого нубийца, английский король прижался губами к ране черного раба, смеясь над общими увещеваниями и преодолев все попытки сопротивления. Он прекратил свое необычное занятие лишь тогда, когда нубиец отпрянул от него, набросил на руку шарф и жестами хотя и почтительными, но выражавшими непреклонность, показал свою твердую решимость не допустить, чтобы король вновь приступил к столь унижительному делу. Тут вмешался Долговязый Аллен и заявил, что его губы, язык и зубы к услугам негра (как он называл

эфиопа), если это необходимо для того, чтобы король не продолжал такого лечения; он добавил, что готов скорее съесть раба со всеми потрохами, лишь бы губы короля Ричарда больше к нему не прикасались.

В это время вошел в сопровождении других придворных Невил и также принялся уговаривать короля.

— Ну, ну, нечего без толку после драки махать кулаками или кричать об опасности, которая миновала, — сказал король. — Рана пустяковая, так как кровь почти не проступила... Разозленная кошка оцарапала бы глубже; а что до меня, то предосторожности ради я приму драхму орвиетского терьяка, хотя в этом и нет необходимости.

Так говорил Ричард, немного стыдясь того, что снизошел до оказания услуги рабу, хотя это и было естественным проявлением человеколюбия и благодарности. Но когда Невил снова принялся распространяться об опасности, которой король подверг свою священную особу, тот приказал ему замолчать:

— Умолкни, прошу тебя, довольно... Я поступил так лишь для того, чтобы показать этим невежественным, полным предрассудков бездельникам, как они должны помогать друг другу, если подлые негодяи применят против нас сарбаканы с отравленными стрелами. — Затем Ричард добавил:

— Отведи этого нубийца к себе, Невил. Я передумал относительно него. Пусть о нем как следует заботятся, но слушай, что я скажу тебе на ухо: следи, чтобы он не удрал... Он не тот, за кого себя выдает. Предоставь ему полную свободу, но не выпускай из лагеря... А вы, охотники до говядины и выпивки, вы, английские мастифы, возвращайтесь на свои посты и смотрите, впредь будьте осторожнее. Не думайте, что вы у себя на родине, где игра ведется честно и люди разговаривают с вами, перед тем как нанести удар, и пожимают руку, прежде чем перерезать горло. У нас в Англии опасность разгуливает открыто с обнаженным мечом и бросает вызов врагу, на которого собирается напасть; но здесь на бой вызывают, бросая не стальную рукавицу, а шелковую перчатку, здесь вам перерезают горло голубиным пером, закалывают вас булавкой от брошки или душат кружевом с дамского корсажа. Ступайте и держите ухо востро, а язык за зубами; меньше пейте и зорко смотрите по сторонам. А не то я

посажу ваши огромные желудки на такой скромный паек, от которого взвыл бы и терпеливый шотландец.

Пристыженные и огорченные воины разошлись по своим местам, а Невил стал упрекать своего повелителя за то, что он слишком легко отнесся к их нерадивости при исполнении обязанностей, вместо того чтобы примерно наказать за тяжкий проступок, который дал возможность столь подозрительному человеку, как марабут, очутиться на расстоянии длины кинжала от короля. Но Ричард прервал его:

— Не говори об этом, Невил... Неужели ты считаешь, что за ничтожную опасность, которой я подвергнулся, меня следовало наказать более сурово, чем за утрату английского знамени? Оно было украдено вором или отдано в чужие руки предателем, и никто не заплатил за это жизнью... Мой темнокожий друг, по утверждению достославного султана, ты хороший разгадчик тайн... Я дам тебе столько золота, сколько ты сам вешишь, если ты, заручившись помощником еще более черным, чем ты сам, или любым другим способом сумеешь указать мне вора, нанесшего этот урон моей чести. Что скажешь, а?

Немой, казалось, хотел что-то сказать, но издал лишь невнятный звук, свойственный этим обездоленным созданиям, затем скрестил руки, взглянул на короля понимающим взглядом и утвердительно кивнул головой.

— Как! — воскликнул Ричард в радостном нетерпении. — Ты берешься раскрыть это дело?

Нубиец повторил тот же знак.

— Но как мы пойдем друг друга? — спросил король. — Ты умеешь писать, мой друг?

Раб опять утвердительно кивнул.

— Дай ему принадлежности для письма, — сказал король. — В шатре моего отца они были всегда под рукой, не то что в моем... Но где-нибудь они должны быть, если только чернила не высохли в этом палящем климате. Ну, Невил, этот человек — настоящее сокровище, черный алмаз.

— С вашего позволения, милорд, — ответил Невил, — если мне будет разрешено высказать свое скромное мнение, вам подсунули фальшивый камень. Этот человек, наверно, колдун, а колдуны имеют дело с дьяволом, который всегда рад посеять

плевелы среди пшеницы и вызвать раздоры между нашими вождями и...

— Замолчи, Невил, — перебил Ричард. — Кликай свою северную гончую, когда она уже висит на ляжках оленя, надеясь ее отозвать, но не пытайся удержать Плантагенета, когда в нем зародилась надежда восстановить свою честь.

Пока шел этот разговор, раб что-то писал, обнаружив в этом немалую сноровку. Теперь он встал и, прижав сочиненное им послание ко лбу, простерся, как обычно, ниц, прежде чем вручить его королю. Оно было написано по-французски, хотя до тех пор Ричард в разговоре с нубийцем пользовался лингва-франка:

«Ричарду, всех побеждающему и непобедимому королю Англии, от ничтожнейшего его раба. Тайны — запертые небесные ларцы, но мудрость может придумать средство, как открыть замок. Если твой раб будет стоять там, где перед ним один за другим пройдут вожди крестоносного воинства, и если виновник оскорбления, из-за которого сокрушается мой повелитель, окажется в их числе, то можешь не сомневаться, что он будет уличен в своем преступлении, хотя бы он прятался под семью покрывалами».

— Клянусь святым Георгием! — воскликнул Ричард. — Ты заговорил в самую пору. Ты знаешь, Невил, все государи единодушно решили загладить оскорбление, нанесенное Англии кражей ее знамени, а потому завтра во время смотра войск вожди крестоносцев пройдут мимо нашего нового стяга, развевающегося на холме святого Георгия, и воздадут ему положенные почести. Поверь мне, тайный предатель не осмелится отсутствовать при этом торжественном искуплении вины, дабы не возбудить подозрения самим своим отсутствием. Там-то мы и поставим нашего черного мужа совета, и если с помощью его магии ему удастся обнаружить негодяя, то ничто не удержит меня от расправы с этим человеком.

— Милорд, — сказал Невил с прямою английского барона, — остерегитесь затевать такое дело. Сейчас среди участников нашего священного союза, вопреки ожиданиям, восстановилось согласие. Неужели вы на основании подозрений, внушенных вам негром-рабом, решитесь разбередить так недавно затянувшиеся раны, неужели торжественной церемонией,

задуманной для восстановления вашей поруганной чести и согласия среди погрязших в раздорах государей, вы воспользуетесь для того, чтобы дать повод к новым обидам или к разжиганию старых ссор? Вряд ли будет преувеличением, если я скажу, что это противоречило бы вашим словам, произнесенным на Совете крестоносцев.

— Невил, — строго прервал король, — твое усердие делает тебя самонадеянным и невежливым. Я никогда не обещал воздержаться от любых сулящих успех средств к отысканию наглого посягателя на мою честь. Скорей я отрекся бы от королевской власти, отказался от жизни, нежели поступил бы так. Все мои обязательства я взял на себя под этим непременно условием; лишь в том случае, если бы австрийский герцог выступил вперед и мужественно признал свою вину, я постарался бы ради блага христианства простить его.

— Однако, — с тревогой настаивал барон, — откуда у вас уверенность, что этот лукавый раб Саладина не обманет ваше величество?

— Молчи, Невил, — сказал король. — Ты считаешь себя очень мудрым, но ты глупец. Вспомни мои приказания относительно этого человека... В нем скрыто нечто, чего твой уэстморлендский ум не в состоянии понять. А ты, темный и молчаливый, готовься к выполнению своего обещания, и даю тебе слово короля, ты сам сможешь назначить себе награду... Но что это, он опять пишет!

И действительно, немой что-то написал и с той же церемонией, как и прежде, вручил королю узкую полоску бумаги, содержащую следующие слова: «Воля короля — закон для его раба, но ему не пристало требовать воздаяния за выполнение своего долга чести».

— Воздаяние и долг чести! — сказал король, подчеркивая слова. Он прервал чтение и обратился к Невилу по-английски: — Жителям Востока пойдет на пользу общение с крестоносцами, они начинают усваивать рыцарский язык! Посмотри, Невил, какой смущенный вид у этого юноши... Если бы не цвет его кожи, он, наверно, покраснел бы. Я не удивился бы тому, что он понял мои слова... Все они удивительно легко научаются чужому языку.

— Жалкий раб не выносит взгляда вашего величества, — сказал Невил,

— в этом все дело.

— Пусть так, — продолжал король, постукивая пальцем по бумаге, но в этом дерзком послании дальше говорится, что наш верный немой раб привез письмо от Саладина для леди Эдит Плантагенет и умоляет о предоставлении ему возможности передать его. Что ты думаешь о столь скромной просьбе, Невил?

— Я затрудняюсь сказать, может ли такая вольность прийтись по душе вашему величеству. Но тому, кто обратился бы от имени вашего величества с подобной просьбой к султану, не сносить головы.

— Ну нет, я слава богу, не домогаюсь ни одной из его загорелых красавиц, — возразил Ричард. — А наказать этого человека за то, что он выполняет поручение своего хозяина, да еще после того, как он только что спас мне жизнь, — было бы, я полагаю, слишком поспешным решением. Я поведаю тебе, Невил, одну тайну — хотя наш темнокожий и немой посол присутствует здесь, он не может, как ты знаешь, ее разгласить даже в том случае, если и поймет мои слова: я поведаю тебе, что последние две недели нахожусь во власти каких-то странных чар, от которых хотел бы избавиться. Стоит кому-нибудь сделать мне серьезное одолжение, как на тебе, за проявлением заботы следует тяжелая обида; с другой стороны, тот, кого я заслуженно приговариваю к смерти за какое-нибудь предательство или оскорбление, непременно будет как раз тем человеком, который окажет мне благодеяние, перевешивающее его вину и вынуждающее меня во имя моей чести отложить исполнение приговора над ним. И вот, как видишь, я лишился большей части королевских прав, ибо я не могу ни наказывать людей, ни вознаграждать их. Доколе влияние этой планеты, которое лишает меня свободы действий, не прекратится, я не дам никакого ответа на просьбу нашего чернокожего слуги, скажу только, что она чрезвычайно смелая и что скорее всего он может снискать нашу милость, если постарается раскрыть тайну, как он это обещал сделать ради нас. Ну, а тем временем, Невил, хорошенько присматривай за ним, и пусть о нем достойно заботятся... Слушай, что я тебе еще скажу, — продолжал Ричард тихим шепотом, — разыщи того энгаддийского отшельника и, будь он святым или дикарем, безумным или в здравом рассудке, немедленно приведи его ко мне. И пусть никто не мешает, когда я буду разговаривать с ним с глазу

на глаз.

Невил, весьма удивленный тем, что увидел и услышал, в особенности странным поведением Ричарда, сделал нубийцу знак следовать за собой и покинул королевский шатер. Угадать мысли и чувства, обуревавшие Ричарда в тот или иной момент, обычно не представляло труда, но предвидеть, как долго они будут владеть им, подчас бывало не просто. Ни один флюгер не отзывался на всякую перемену ветра с такой легкостью, с какой король поддавался порывам своих страстей. Однако сейчас он вел себя необычно сдержанно и таинственно, и трудно было понять, раздражение или благосклонность преобладали в его отношении к новому слуге и в тех взглядах, которые он время от времени бросал на него. Немедленная помощь, оказанная королем нубийцу для предотвращения гибельных последствий его раны, как будто была достаточной расплатой за услугу раба, остановившего занесенную руку убийцы. Казалось однако, что им надлежало свести между собой более давние счета и что король пребывал в сомнении, останется ли он в конце концов должником или кредитором, а потому решил пока занять выжидательную позицию, подходящую и для той и для другой роли. Что касается нубийца, то хотя он каким-то способом овладел искусством писать на европейских языках, король все же остался в убеждении, что по-английски он, во всяком случае, не понимал. Ричард пристально наблюдал за ним в конце своей беседы с Невилом и считал совершенно невероятным, чтобы кто-нибудь, понимая разговор, предметом которого был он сам, мог бы сохранить совершенно безучастный вид.

Глава XXII

*Кто там? Войди. Ты сделал все
прекрасно,*

Любезный врачеватель мой и друг.

Сэр Юстес Грей

В своем повествовании мы должны вернуться к тому, что произошло незадолго до описанных выше событий. Как читатель,

вероятно, помнит, несчастный рыцарь Леопарда, отданный королем Ричардом арабскому врачу и занявший теперь скорее положение раба, был изгнан из лагеря крестоносцев, в рядах которых он не один раз так блистательно отличился. Он последовал за своим новым хозяином — ибо так мы должны теперь именовать хакима — к мавританским шатрам, где находились слуги восточного мудреца и его имущество. Все это время сэр Кеннет оставался в состоянии отупения, охватывающего человека, который, сорвавшись в пропасть и неожиданно уцелев, способен лишь отползти подальше от рокового места, но еще не может уяснить себе, насколько серьезны полученные им повреждения. Войдя в палатку, он молча бросился на ложе из выделанных буйволовых шкур, указанное ему его провожатым, и закрыв лицо руками, тяжело застонал, словно у него разрывалось сердце. Врач, отдававший своим многочисленным слугам приказания приготовиться к отъезду на следующее утро до зари, услышал эти стоны; движимый состраданием, он отвлекся от своих дел, сел скрестив ноги у постели и принялся утешать на восточный манер.

— Друг мой, — сказал он, — успокойся... Ведь поэт говорит: «Лучше человеку быть слугой у доброго господина, чем рабом своих собственных бурных страстей». Не теряй бодрости духа, ибо, вспомни, Юсуф бен-Ягубе был продан своими братьями королю, самому фараону египетскому, между тем как твой король отдал тебя тому, кто будет тебе братом.

Сэр Кеннет силился поблагодарить хакима, но на сердце у него было слишком тяжело, и невнятные звуки, которые он издавал, тщетно стараясь что-то ответить побудили доброго врача отказаться от преждевременных попыток утешения. Он оставил в покое своего объятого горем нового слугу или гостя и, покончив со всеми необходимыми распоряжениями к завтрашнему отъезду, сел на ковер и приступил к скромной трапезе. После того как он подкрепился, те же кушанья были поданы шотландскому рыцарю; но хотя рабы пояснили ему, что на следующий день солнце пройдет уже длинный путь, прежде чем они сделают остановку для того, чтобы утолить голод, сэр Кеннет не мог преодолеть отвращение, которое в нем вызвала мысль о какой бы то ни было еде, и ни к чему не прикоснулся, ограничившись глотком холодной

воды.

Он лежал, не смыкая глаз, еще долго после того, как его хозяин совершил установленные обряды и предался отдыху. Наступила полночь, а молодой шотландец все еще не спал и слышал, как зашевелились слуги; хотя они двигались молча и почти бесшумно, он понял, что они выючат верблюдов и готовятся к отъезду. Последним, кого потревожили во время этих приготовлений, был, если не считать самого врача, шотландский рыцарь; около трех часов утра слуга, исполнявший обязанности дворецкого или управителя, сообщил ему, что пора подниматься. Ничего не спросив, сэра Кеннет встал и вышел вслед за ним из палатки. При свете луны он увидел верблюдов; они были уже навьючены, и лишь один стоял на коленях в ожидании, пока будут собраны последние тюки.

Чуть в стороне от верблюдов стояло несколько лошадей, уже взнузданных и оседланных; одна из них была предназначена для хакима. Он подошел и, сохраняя свой важный, степенный вид, ловко вскочил на коня, затем указал на другого и велел подвести его сэру Кеннету. Тут же находился английский рыцарь, который должен был сопровождать врача и его слуг, пока они не выедут из лагеря крестоносцев, и проследить, чтобы они благополучно его миновали. Опустевший шатер тем временем разобрали с необычайной быстротой и погрузили на последнего верблюда. Теперь все приготовления были закончены. Врач торжественно произнес стих из корана: «Да ведет нас бог, и да хранит Мухаммед как в пустыне, так и в орошенной равнине», и вся кавалькада тотчас же тронулась в путь.

Пока она двигалась по лагерю, ее окликали многочисленные часовые, которые пропускали всадников молча, либо — когда они проезжали мимо поста особо рьяного крестоносца — вполголоса посылая проклятия их пророку. Наконец последние заставы остались позади, и отряд построился походным порядком с соблюдением всех военных предосторожностей. Несколько верховых ехало впереди в качестве авангарда; два-три всадника держались сзади на расстоянии полета стрелы, а других, как только позволяла местность, отряжали по сторонам для охраны флангов. Так двигались они вперед, и сэра Кеннет, оглядываясь на залитый лунным светом лагерь, почувствовал, что теперь он действительно

изгнан, утратил честь, а вместе с ней и свободу, и никогда больше не увидит сверкающих знамен, под сенью которых он надеялся приобрести новую славу, не увидит шатров, служивших приютом для христианских рыцарей и... для Эдит Плантагенет.

Хаким, ехавший рядом с шотландцем, произнес своим обычным поучительным тоном:

— Неблагоразумно оглядываться назад, когда путь ведет вперед.

При этих словах конь рыцаря споткнулся на всем ходу, едва не подтвердив изречение на деле. Этот случай заставил рыцаря уделять больше внимания своему коню, который уже не раз требовал сдерживающей узды; излишняя горячность не мешала, впрочем, благородному животному (это была кобыла) двигаться такой легкой и быстрой иноходью, о какой можно только мечтать.

— Твоя лошадь, — назидательно заметил врач, — обладает теми же свойствами, что и человеческая судьба: подобно тому как на самом быстром и легком ходу всадник должен остерегаться, чтобы не упасть, так, и достигнув наивысшего благоденствия, мы должны сохранять неусыпную бдительность, чтобы предупредить несчастье.

Наевшись до отвала, не захочешь даже сотового меда; не приходится поэтому удивляться, что наш рыцарь, мучительно переживавший свое горе и унижение, не очень-то терпеливо слушал, как по поводу его несчастья то и дело приводились пословицы и изречения, пусть даже остроумные и справедливые.

— Мне кажется, — с некоторым раздражением сказал он, — что я не нуждаюсь в дополнительных примерах превратностей судьбы... Впрочем, я был бы очень благодарен тебе, господин хаким, если бы ты выбрал для меня другого коня — какую-нибудь клячу, которая споткнулась бы и сразу сломала шею и себе и мне.

— Брат мой, — ответил арабский мудрец с невозмутимой серьезностью,

— ты говоришь как глупец. В глубине души ты считаешь, что умный человек должен был дать тебе, своему гостю, лошадь помоложе, а для себя оставить лошадь постарше; знай же, что недостатки старого коня могут быть возмещены ловкостью молодого наездника, между тем как стремительность молодого коня требует, чтобы ее умеряло спокойствие старика.

Так изрек мудрец. Но сэ́р Кеннет предпочел воздержаться от ответа и на это замечание, и разговор оборвался. Врач, которому, вероятно, наскучило утешать того, кто не желал быть утешенным, сделал знак одному из своих слуг.

— Хасан, — сказал он, — нет ли у тебя чего-нибудь, чем ты мог бы скрасить путь?

Хасан, сказочник и поэт, воодушевленный предложением показать свое искусство, воскликнул, обратившись к врачу:

— О, владыка чертога жизни, ты, при виде кого ангел Азраил раскрывает свои крылья и улетает, ты, более мудрый, чем Сулейман бен-Дауд, на чьей печати было начертано истинное имя, которое управляет духами стихий, — да не допустит небо, чтобы в то время, когда ты странствуешь по пути благодати, неся исцеление и надежду, куда бы ты ни пришел, твой собственный путь был бы омрачен отсутствием сказки и песни. Знай, пока твой слуга с тобою, он не устанет изливать сокровища своей памяти, подобно тому как ключ не перестает посылать свои струи вдоль тропинки, чтобы поить того, кто идет по ней.

После этого вступления Хасан возвысил голос и начал сказку о любви и чародействе и об отважных подвигах, разукрашивая ее бесчисленными цитатами из персидских поэтов, с произведениями которых он был, по-видимому, хорошо знаком. Слуги, кроме тех, на чьей обязанности лежал присмотр за верблюдами, окружили хакима и рассказчика, приблизившись к ним настолько, насколько позволяло им уважение к своему господину, и слушали с тем восторгом, какой у жителей Востока всегда вызывают выступления сказочников.

В другое время сэ́р Кеннет, несмотря на то, что он недостаточно хорошо понимал по-арабски, возможно заинтересовался бы повествованием, которое, хотя и было порождено самой безудержной фантазией и выражено самым напыщенным и образным языком, тем не менее сильно напоминало рыцарские романы, бывшие тогда столь модными в Европе. Но при теперешних обстоятельствах он едва ли даже замечал, что человек в центре кавалькады почти два часа рассказывал и пел вполголоса, передавая интонациями различные оттенки чувств и вызывая в ответ то тихий шепот одобрения, то невнятные удивленные восклицания, то вздохи и слезы, а подчас — чего трудней всего

было добиться от таких слушателей — улыбки и даже смех.

Во время этой импровизации внимание изгнанника, хотя и поглощенного своим глубоким горем, иногда привлекал собачий вой, который доносился из корзины, притороченной к седлу одного из верблюдов: шотландец, опытный охотник, сразу признал своего верного пса; а жалобный лай животного не оставлял сомнений, что оно чувствует близость хозяина и взывает о помощи, прося освободить его и взять к себе.

— Увы, бедный Росваль, — сказал сэр Кеннет, — ты молишь о помощи и сочувствии того, кто осужден на более тяжкую неволю, чем ты. Я не подам вида, что интересуюсь тобой, и ничем не отплачу тебе за твою любовь, ибо это поведет только к тому, что наше расставание будет еще горше.

Так прошли остаток ночи и тусклые, туманные предрассветные сумерки, возвещающие о наступлении сирийского утра. Но когда над плоским горизонтом показался край солнечного диска и первый луч, сверкая в росе, протянулся по пустыне, до которой путешественники теперь добрались, звучный голос самого эль-хакима заглушил и оборвал повествование сказочника, и по песчаным просторам разнесся торжественный призыв, каким по утрам оглашают воздух муэдзины с минаретов всех мечетей:

— На молитву! На молитву! Нет бога, кроме бога... На молитву... На молитву! Мухаммед — пророк бога... На молитву, на молитву! Время не ждет... На молитву, на молитву! Страшный суд приближается!

В мгновение ока все мусульмане соскочили с коней, повернулись лицом к Мекке и совершили песком подобие омовения, которое обычно полагается делать водой; при этом каждый из них в краткой, но горячей молитве поручал себя заботам бога и пророка и выражал надежду на прощение ими его грехов. Даже сэр Кеннет, чей разум — вкупе с предрассудками — возмутился при виде своих спутников, которые предавались, на его взгляд, идолопоклонству, даже он не мог не проникнуться уважением к искренности их рвения, хотя и направленного по ложному пути. Побуждаемый их пылом, он тоже стал возносить хвалу истинному богу, сам удивляясь тому неожиданно возникшему в нем чувству, которое заставило его присоединиться к молитве сарацин, чью языческую религию он считал преступной,

позорящей страну, где некогда совершились великие чудеса, где занялась утренняя звезда, возвестившая о пришествии Спасителя.

Будучи естественным проявлением свойственного шотландскому рыцарю благочестия, эта молитва, хотя и совершенная в столь странном обществе, произвела обычное действие и внесла успокоение в душу, измученную несчастьями, которые так быстро следовали одно за другим. Искреннее и пылкое обращение христианина к престолу всевышнего лучше всего приучает к терпению в беде. Ибо к чему издеваться над богом нашими молениями, если мы ропщем на его волю? Признав каждым словом нашей молитвы тщету и ничтожество преходящего по сравнению с вечным, можем ли мы надеяться обмануть того, кто читает в человеческих сердцах, если сразу же после торжественного обращения к небу мир и мирские страсти вновь овладеют нами? Но сэръ Кеннет был не таким человеком. Он почувствовал себя утешенным, укрепился духом и был теперь лучше подготовлен к тому, чтобы выполнить предназначения судьбы или подчиниться ее велениям.

Тем временем сарацины снова вскочили на лошадей и возобновили путь, а сказочник Хасан продолжил свой рассказ; но теперь слушатели не были уже так внимательны. Верховой, который поднялся на возвышенность, находившуюся справа от маленького каравана, быстрым галопом вернулся к эль-хакиму и что-то сказал ему. Тогда в ту сторону были посланы еще четыре или пять всадников, и небольшой отряд, примерно из двадцати или тридцати человек, стал следить за ними, не спуская глаз, словно их знаки, их движение вперед или отступление могли предвещать благополучие либо несчастье. Хасан, заметив невнимательность слушателей или сам заинтересованный появлением в той стороне чего-то подозрительного, прекратил свое пение, и все двигались молча; лишь изредка слышался голос погонщика верблюдов, покрикивавшего на своих терпеливых животных, да быстрый тихий шепот взволнованных спутников хакима, переговаривающихся с ближайшим соседом.

Это напряженное состояние длилось до тех пор, пока они не обогнули гряду песчаных холмов, прежде скрывавшую от всего каравана то, что вызвало тревогу у разведчиков. Теперь сэръ Кеннет увидел на расстоянии приблизительно мили какие-то темные

точки; они быстро двигались по пустыне, и его опытный глаз сразу определил, что то был конный отряд, численностью значительно превосходивший их собственный. А яркие блики, которые то и дело вспыхивали в косых лучах восходящего солнца, не оставляли сомнения, что это ехали европейские рыцари в полном вооружении.

Всадники эль-хакима бросали на своего предводителя тревожные взгляды, выдававшие серьезные опасения, между тем как он сам с тем же невозмутимым, полным собственного достоинства видом, с каким призывал спутников к молитве, отрядил двух лучших наездников, поручив им приблизиться, насколько позволит благоразумие, к замеченным в пустыне людям, более точно установить их численность и кто они такие и, если удастся, выяснить их намерения. Приближение опасности, подлинной или мнимой, подействовало как возбуждающее лекарство на больного, который впал было в безразличное состояние, и привело сэра Кеннета в себя, вернув его к действительности.

— Почему ты боишься этих всадников? Ведь они по всей видимости христиане, — спросил он хакима.

— Боюсь! — с презрением повторил эль-хаким. — Мудрец не боится никого, кроме бога... но всегда ждет от злых людей худшего, на что они способны.

— Они христиане, — сказал сэр Кеннет, — а сейчас перемирие. Почему же ты опасаясь вероломства?

— Это воинствующие монахи-тамплиеры, — ответил эль-хаким, — и их обет предписывает им не вступать в перемирие с приверженцами ислама и не соблюдать по отношению к ним правил чести. Да пошлет пророк гибель на все их племя! Их мир — это война, а их честь — вероломство. Другие захватчики, вторгнувшиеся в Палестину, по временам проявляют благородство. Лев Ричард щадит побежденного врага... Орел Филипп складывает свои крылья после того, как схватит добычу... Даже австрийский медведь спит, наевшись. Но эта стая вечно голодных волков, занимаясь грабежом, не знает отдыха и никогда не насыщается... Разве ты не видишь, что от их отряда отделилась группа и направилась к востоку? Вон их пажи и оруженосцы, которых они обучают своим проклятым таинствам; они в более легких доспехах,

а потому их послали отрезать нас от источника. Но их ждет разочарование; я лучше, нежели они, знаю, как воевать в пустыне.

Хаким сказал несколько слов главному из своих приближенных. Он весь мгновенно преобразился; теперь это уже был не преисполненный величавого спокойствия восточный мудрец, привыкший скорее к созерцанию, чем к действию, а доблестный воин с быстрым и гордым взглядом, взывавший сердцем от приближения опасности, которую он предвидит и в то же время презирает.

Сэр Кеннет совершенно иными глазами смотрел на надвигающиеся события, и когда Адонбек сказал ему: «Ты должен держаться рядом со мной», ответил решительным отказом.

— Там, — сказал он, — мои братья по оружию — люди, вместе с которыми я дал клятву победить или умереть; на их знамени сверкает эмблема нашего блаженнейшего искупления... Я не могу заодно с полумесяцем бежать от креста.

— Глупец! — сказал хаким. — Они первым делом предадут тебя смерти, хотя бы только для того, чтобы скрыть нарушение ими перемирия.

— Это меня не остановит, — ответил сэр Кеннет. — Я сброшу с себя оковы неверных, лишь только мне представится к этому возможность.

— Тогда я заставлю тебя следовать за мной.

— Заставлю! — гневно повторил сэр Кеннет. — Не будь ты моим благодетелем или, во всяком случае, человеком, выразившим намерение стать им, и если бы я не был обязан твоему доверию свободой вот этих рук, которые ты мог заковать, я доказал бы тебе, что, даже безоружного, меня не легко к чему-нибудь принудить.

— Довольно, довольно, — сказал арабский врач, — мы теряем время, когда оно стало для нас драгоценным.

Он взмахнул рукой и испустил громкий, пронзительный крик; по этому сигналу его спутники рассыпались по пустыне во все стороны, как рассыпаются зерна четок, когда порвется шнурок. Сэр Кеннет не успел заметить, что произошло с ним дальше, ибо в то же мгновение хаким схватил повод его коня и пустил своего во весь опор. Обе лошади в мгновение ока понеслись вперед с головокружительной быстротой; у шотландского рыцаря захватило дух, и он был совершенно не способен, даже при желании,

замедлить бешеную скачку сарацина. Хотя сэра Кеннет с юных лет был искусным наездником, самая быстрая лошадь, на которую ему приходилось когда-либо садиться, могла показаться черепахой по сравнению с лошадьми арабского мудреца. Песок вздымался столбом позади них, они как бы пожирали пустыню перед собой; миля летела за милей, а силы их не ослабевали, и дышали они так же свободно, как тогда, когда начинали свой замечательный бег. Их движения были так легки и стремительны, что шотландскому рыцарю казалось, будто он летит по воздуху, а не едет по земле, и он испытывал довольно приятное ощущение, если не считать страха, естественного для того, кто мчится с такой изумительной быстротой, и затрудненности дыхания от слишком большой скорости движения.

Лишь по истечении часа чудовищной скачки, когда все преследователи остались далеко-далеко позади, каким придержал наконец лошадей и перевел их на легкий галоп. Спокойным и ровным голосом, словно все происшедшее за последний час было простой прогулкой, он принялся разьяснять сэру Кеннету превосходные качества своих скакунов, но тот едва переводил дыхание и, полуослепший, полуоглохший, все еще не придя в себя от головокружения, почти не понимал слов, которые в таком изобилии слетали с губ его спутника.

— Эти лошади, — говорил эль-хаким, — из породы, называемой Крылатой; быстротой они не уступают никому, кроме Борака, коня пророка. Их кормят золотистым ячменем Йемена с добавлением пряностей и небольшого количества сушеной баранины. За обладание таким конем, сохраняющим свою резвость до самой старости, короли отдавали целые провинции. Ты, назареянин, первый из не признающих истинной веры, кому довелось сжимать своими бедрами бока животного этой великолепной породы, потомка коня, подаренного самим пророком благословенному Али, его родственнику и сподвижнику, справедливо прозванному Господним Львом. Печать времени лишь слегка коснулась этих благородных животных; пять пятилетий прошло над кобылой, на которой ты сидишь, а она сохранила прежнюю быстроту и силу; только на полном карьере ей теперь нужна поддержка поводыев, управляемых более опытной рукой, чем твоя. Да будет благословен пророк, давший правоверным

средство стремительно наступать и отступать, что заставляет их одетых в железо врагов изнемогать под непомерной тяжестью своих доспехов! Как должны были храпеть и пыхтеть лошади этих собак тамплиеров после того, как, увязая по щетки в песке пустыни, они пробежали одну двадцатую того расстояния, какое оставили за собой эти добрые кони, дыша совершенно свободно, не увлажнив свою гладкую, бархатную кожу ни одной каплей пота.

Шотландский рыцарь, который успел уже немного перевести дух и обрел способность слушать и понимать, в душе должен был признать преимущество восточных воинов, обладавших лошадьми, одинаково пригодными для набегов и отступлений и прекрасно приспособленными к передвижению по ровным песчаным пустыням Аравии и Сирии. Но он не захотел потакать гордости мусульманина, согласившись с его высокомерными притязаниями на превосходство, а потому промолчал. Оглядевшись вокруг, сэр Кеннет теперь, когда они двигались медленнее, убедился, что находится в знакомых местах.

Унылые берега и мрачные воды Мертвого моря, зубчатые цепи обрывистых гор, поднимавшиеся слева, купа из нескольких пальм — единственное зеленое пятно на обширном пространстве бесплодной пустыни, — все это, однажды виденное, трудно было забыть, и шотландец понял, что они приближаются к источнику, называемому «Алмазом пустыни», где когда-то произошла у него встреча с Шееркофом, или Ильдеримом, сарацинским эмиром. Через несколько минут путешественники остановили своих лошадей у родника; хаким предложил сэру Кеннету спешиться и отдохнуть, так как здесь им ничто не угрожало. Они разнуздали коней, и эль-хаким сказал, что заботиться о них больше не нужно, ибо те из его слуг, что скачут на самых быстрых лошадях, вскоре придут и займутся всем необходимым.

— Тем временем, — сказал он, раскладывая на траве еду, — поешь и попей и не приходи в отчаяние. Судьба может вознести или унижить простого смертного, но состояние духа мудреца и воина не должно зависеть от ее превратностей.

Шотландский рыцарь попытался послушанием выразить свою благодарность; хотя он из любезности заставлял себя есть, необычайный контраст между его теперешним положением и тем, какое он — посланец государей и победитель в единоборстве —

занимал тогда, когда впервые посетил это место, подействовал на него угнетающе, а от голода, изнурения и усталости он почувствовал упадок сил. Эль-хаким пощупал пульс сэра Кеннета, который бился учащенно, и заметил, что у него красные, воспаленные глаза, горячие руки и что он тяжело дышит.

— Ум, — сказал он, — становится изощренней от бодрствования, но тело, сотворенное из более грубого материала, требует отдыха. Тебе надо уснуть; и, для того чтобы сон пошел тебе на пользу, выпей глоток воды, смешанной с этим эликсиром.

Он достал из-за пазухи маленький хрустальный пузырек в оправе из филигранного серебра и налил в золотую чашечку немного темной жидкости.

— Это, — пояснил он, — один из тех даров, что аллах послал на землю на благо людям, хотя их слабость и порочность подчас превращали его в проклятие. Оно обладает такой же силой, как и вино назарейн, смежая вежды бессонных очей и снимая тяжесть со стесненной груди; но если это вещество применяют для удовлетворения прихоти и страсти к наслаждению, оно терзает нервы, разрушает здоровье, расслабляет ум и подтачивает жизнь. Не бойся, однако, прибегнуть в случае необходимости к его целебным свойствам, ибо мудрый согревается той же самой головней, которой безумец сжигает свой шатер. 26

— Я слишком хорошо знаю твое искусство, мудрый каким, — ответил сэр Кеннет, — чтобы оспаривать твое приказание.

Он проглотил наркотик, разбавленный небольшим количеством воды из источника, затем завернулся в хайк, или арабский плащ, отвязав его от луки своего седла, и, по предписанию врача, покойно улегся под сенью пальм в ожидании обещанного сна. Сначала, однако, сон не приходил, а вместо него появилась вереница приятных, но не волнующих и не прогоняющих дремоту ощущений. Сэр Кеннет впал в такое состояние, при котором он, продолжая сознавать, кто он и что с ним, уже не только не испытывал тревоги и скорби, но относился ко всему спокойно, как сторонний зритель своих злоключений или, вернее, как мог бы бесплотный дух взирать на перипетии своего прежнего существования. Его мысли от прошлого, которое больше

не волновало, стало почти безразличным, перенеслись вперед, в будущее. Несмотря на все тучи, заволакивавшие его, оно сверкало такими радужными красками, каких без возбуждающего влияния наркотика не способно было создать самое разгоряченное воображение молодого шотландца даже при более счастливых предзнаменованиях. Свобода, слава, любовь, казалось, несомненно, и притом в скором времени, ожидают раба-изгнанника, опозоренного рыцаря и отчаявшегося влюбленного, чьи мечты о счастье вознеслись на такую высоту, которая была совершенно недостижима при самом благоприятном для осуществления его надежд стечении обстоятельств. По мере того как сознание затуманивалось, эти радостные видения постепенно тускнели, подобно меркнувшим краскам заката, и наконец исчезли, уступив место полному забвению; сэра Кеннет лежал, распростертый у ног эль-хакима, и если бы не глубокое дыхание, то вполне можно было бы подумать, что жизнь покинула его неподвижное тело.

Глава XXIII

*Волшебным мановением руки
В цветущий сад превращены пески.
И прежняя пустыня стала мниться
Неясным порожденьем огневицы.*
«Астольфо», рыцарский роман

Пробудившись от продолжительного и глубокого сна, рыцарь Леопарда увидел себя в обстановке, совершенно непохожей на ту, которая окружала его, когда он ложился спать, и ему подумалось, что он еще грезит или что все изменилось по какому-то волшебству. Он лежал не на сырой траве, а на роскошной восточной тахте, и чьи-то заботливые руки сняли с него замшевую куртку, которую он носил под доспехами, и заменили ее ночной сорочкой тончайшего полотна и широким шелковым халатом. Прежде он лежал под сенью пальм пустыни, а теперь — под шелковой крышей шатра, сверкавшей самыми яркими красками, какие только могло создать воображение китайских ткачей. Вокруг тахты был натянут тонкий полог из легкого газа, предназначенный

для защиты от насекомых, чьей постоянной беспомощной добычей был сэра Кеннет со времени прибытия в эти края. Он оглянулся, как бы желая убедиться, что, в самом деле, уже не спит, и все, представшее его взору, не уступало по роскоши ложу. Переносная ванна кедрового дерева, инкрустированная серебром, стояла готовая к его услугам, и поднимавшийся из нее пар разносил запах ароматических веществ, добавленных к воде. Рядом с тахтой на небольшом столике черного дерева стояла серебряная чаша с великолепным, холодным как снег шербетом; жажда, всегда возникающая после употребления сильного наркотика, делала его особенно вкусным. Чтобы окончательно рассеять остатки одури, рыцарь решил принять ванну и почувствовал после нее восхитительную бодрость. Он вытерся полотенцами из индийской шерсти и собирался облачиться в свою грубую одежду, чтобы выйти и посмотреть, изменился ли мир снаружи столь же сильно, как то место, где он заснул. Но его одежды нигде не было, а вместо нее он увидел сарацинский наряд из богатых тканей, саблю, кинжал и все, что полагается носить знатному эмиру. Он не мог понять причину этой чрезмерной заботливости, и в нем возникло подозрение, что она имела целью пошатнуть его в своей вере; и в самом деле, как хорошо было известно, султан, высоко ценивший знания и храбрость европейцев, с безграничной щедростью одарял тех, кто, попав к нему в плен, соглашался надеть чалму. Поэтому сэра Кеннет, набожно перекрестившись, решил не дать завлечь себя в ловушку; и, чтобы ничто не могло его поколебать, он твердо вознамерился как можно меньше пользоваться вниманием и роскошью, которыми его столь щедро осыпали. Однако он все еще чувствовал тяжесть в голове и сонливость; понимая к тому же, что в домашнем одеянии нельзя показаться на людях, он прилег на тахту и снова погрузился в дремоту.

Но на этот раз его сон был нарушен. Молодого шотландца разбудил голос врача; стоя у входа в шатер, тот осведомлялся о его здоровье и о том, хорошо ли он отдохнул.

— Могу я войти к тебе? — спросил он в заключение. — Ибо полог перед входом задернут.

— Хозяин не нуждается в разрешении, чтобы войти в палатку своего раба, — возразил сэра Кеннет, желая показать, что он не забыл о своем положении.

— А если я пришел не как хозяин? — задал вопрос эль-хаким, все еще не переступая порога.

— Врач, — ответил рыцарь, — пользуется свободным доступом к постели больного.

— Я пришел и не как врач, — сказал эль-хаким, — а потому я все же хочу получить разрешение, прежде чем войти под сень твоего шатра.

— Тот, кто приходит как друг — а таковым ты до сих пор был для меня, — находит жилище друга всегда открытым для себя, — сказал сэр Кеннет.

— Но все-таки, — продолжал восточный мудрец, не оставляя манеры своих соплеменников выражаться обиняками, — если я пришел не как друг?

— Для чего бы ты ни пришел, — сказал шотландский рыцарь, которому уже надоели все эти разглагольствования. — Кем бы ты ни был... Ты хорошо знаешь, что я не властен и не склонен запрещать тебе входить ко мне.

— Тогда я вхожу, — сказал эль-хаким, — как твой старый враг, но враг честный и благородный.

С этими словами он вошел и остановился у изголовья сэра Кеннета; голос его был по-прежнему голосом Адонбека, арабского врача, но фигура, одежда и черты лица — Ильдерима из Курдистана, прозванного Шееркофом. Сэр Кеннет уставился на него, как бы ожидая, что этот призрак, созданный его воображением, вот-вот исчезнет.

— Неужели ты, — сказал эль-хаким, — ты, прославленный витязь, удивлен тем, что воин кое-что понимает в искусстве врачевания? Говорю тебе, назарейнин: настоящий рыцарь должен уметь чистить своего коня, а не только управлять им; ковать свой меч на наковальне, а не только пользоваться им в бою; доводить до блеска свои доспехи, а не только сражаться в них; и прежде всего, он должен уметь лечить раны столь же хорошо, как и наносить их.

Пока он говорил, христианский рыцарь время от времени закрывал глаза, и, когда они были закрыты, перед его мысленным взором возникал образ хакима с размеренными жестами, в длинной, развевающейся одежде темного цвета и высокой татарской шапке; но стоило ему открыть глаза, как изящная, богато украшенная драгоценными камнями чалма, легкая кольчуга из

стальных колец, обвитых серебром, ярко сверкавшая при каждом движении тела, лицо, утратившее выражение степенности, менее смуглое, не заросшее теперь волосами (осталась только тщательно выхоленная борода), — все говорило, что перед ним воин, а не мудрец.

— Ты все еще так сильно изумлен? — спросил эмир. — Неужели во время твоих скитаний по свету ты проявил столь мало наблюдательности и не понял, что люди не всегда бывают теми, кем они кажутся?.. А ты сам

— разве ты тот, кем кажешься?

— Клянусь святым Андреем, нет! — воскликнул рыцарь. — Для всего христианского лагеря я изменник, и одному мне известно, что я честный, хотя и заблудший человек.

— Именно таким я тебя и считал, — сказал Ильдерим, — и, так как мы делили с тобой трапезу, я полагал своим долгом избавить тебя от смерти и позора... Но почему ты все еще лежишь в постели, когда солнце уже высоко в небе? Или эти одежды, доставленные на моих вьючных верблюдах, кажутся тебе недостойными того, чтобы ты их носил?

— Конечно нет, но они не подходят для меня, — ответил шотландец. — Дай мне платье раба, благородный Ильдерим, и я охотно надену его; но ни за что на свете я не стану носить одеяние свободного восточного война и мусульманскую чалму.

— Назарянин, — ответил эмир, — твои единоплеменники так скоры на подозрения, что легко могут сами внушить подозрение. Разве я не говорил тебе, что Саладин не стремится обращать в мусульманство кого бы то ни было, за исключением тех, кого святой пророк побудит к принятию его закона; насилие и подкуп — одинаково неприемлемые средства для распространения истинной веры. Слушай меня, брат мой. Когда слепому чудесным образом возвращается зрение, пелена падает с его глаз по божественной воле... Неужели ты думаешь, что какой-нибудь земной лекарь мог бы ее снять? Нет. Такой врач либо мучил бы больного своими инструментами, либо облегчал его страдания какими-нибудь успокоительными или укрепляющими средствами, но как был человек незрячим, незрячим он и остался бы. То же самое относится и к духовной слепоте. Если находятся среди франков люди, которые ради мирских выгод надевают на себя

чалму пророка и становятся последователями ислама, упрекать за это следует только их совесть. Они сами стремились попасться на крючок, а султан не бросал им никакой приманки. И когда после смерти они, как лицемеры, будут обречены на пребывание в самой глубокой пучине ада, ниже христиан и евреев, магов и многобожников, и осуждены питаться плодами дерева заккум, которые являются не чем иным, как головами дьяволов, — себе, а не султану будут они обязаны своим падением и постигшей их карой. Итак, без колебаний и сомнений облачись в приготовленное для тебя платье, ибо если ты отправишься в лагерь Саладина, твоя европейская одежда привлечет к тебе назойливое внимание и, возможно, послужит поводом для оскорблений.

— Если я отправлюсь в лагерь Саладина, — повторил сэр Кеннет слова эмира. — Увы! Разве я свободен в своих действиях, и разве я не должен идти туда, куда тебе заблагорассудится повести меня?

— Твоя собственная воля, — сказал эмир, — может руководить твоими поступками с такой же свободой, с какой ветер несет пыль пустыни в ту или иную сторону. Благородный враг, который вступил со мной в единоборство и чуть не победил меня, не может стать моим рабом, как тот, кто униженно склонился перед моим мечом. Если богатство и власть соблазнят тебя и ты присоединишься к нам, я готов предоставить тебе то и другое; но человек, отказавшийся от милостей султана, когда топор был занесен над его головой, боюсь, не согласится принять их теперь, после того как я сказал ему, что он волен в своем выборе.

— Будь же до конца великодушен, благородный эмир, и воздержись от упоминаний о таком способе отплаты, согласиться на который мне запрещает совесть. Разреши мне лучше исполнить долг вежливости и выразить мою благодарность за твою рыцарскую щедрость, за незаслуженное великодушие.

— Не говори, что оно не заслуженно, — возразил эмир Ильдерим. — Разве не беседа с тобой и не твое описание красавиц, украшающих двор Мелека Рика, побудили меня под чужой личиной проникнуть туда, а благодаря этому я получил возможность усладить взор совершеннейшей красотой, какой я никогда раньше не видел и не увижу, пока моим очам не предстанет великолепие рая.

— Я не понимаю тебя, — сказал сэра Кеннет, то краснея, то бледнея, подобно человеку, который чувствует, что разговор начинает принимать самый мучительный и деликатный характер.

— Не понимаешь меня! — воскликнул эмир. — Если чудесное видение, которое я лицезрел в шатре короля Ричарда, оставило тебя равнодушным, то поневоле подумаешь, что ты более туп, чем лезвие шутовского деревянного меча. Правда, в то время над тобой нависал смертный приговор; а что до меня, то пусть моя голова уже отделялась бы от туловища, последний взгляд моих меркнущих очей с восхищением приметил бы милые черты и голова сама покатила бы к несравненной гурии, чтобы трепещущими устами поцеловать край ее одежды. О, королева Англии, своей неземной красотой ты заслуживаешь быть царицей мира... Какая нега в ее голубых глазах! Как сверкали разметавшиеся по плечам ее золотистые косы! Клянусь могилой пророка, я не думаю, чтобы гурия, которая поднесет мне алмазную чашу бессмертия, была бы достойна таких же жарких ласк!

— Сарацин, — сурово произнес сэра Кеннет, — ты говоришь о жене Ричарда Английского, а о ней мужчины думают и говорят не как о женщине, которую можно завоевать, а как о королеве, перед которой следует благоговеть.

— Прошу простить меня, — сказал сарацин. — Я забыл о вашем суеверном поклонении женщине; вы считаете их созданными для того, чтобы ими изумлялись, а не домогались их и не завоевывали. Но если ты питаешь такое глубокое почтение к этому хрупкому, слабому созданию, чье каждое движение, каждый поступок и взгляд столь женственны, готов поручиться, что перед другой, с черными косами и взглядом, говорящем о благородстве, ты, конечно, преклоняешься с чувством беспредельного обожания. В ней, я согласен, в ее гордой и величественной осанке, есть, в самом деле, одновременно чистота и твердость, и все же, уверяю тебя, даже она в какое-то мгновение была бы в глубине души благодарна, если бы смелый влюбленный отнесся к ней как к смертной, а не как к богине.

— Имей уважение к родственнице Львиного Сердца! — сказал сэра Кеннет, давая волю своему гневу.

— Уважение к ней! — презрительно ответил эмир. — Клянусь Каабой, если бы я и стал ее уважать, то лишь как невесту

Саладина.

— Повелитель неверных недостоин даже целовать то место, где ступила нога Эдит Плантагенет! — воскликнул христианин, вскочив со своего ложа.

— А! Что ты сказал, гяур? — вскричал эмир, хватаясь за рукоять кинжала; лицо сарацина стало красным, как сверкающая медь, мускулы его губ и щек дергались, и каждый завиток бороды крутился и извивался, словно трепеща от неукротимого бешенства.

Но шотландский рыцарь, не дрогнувший перед львиным гневом Ричарда, не испугался и тигриной злобы пришедшего в исступление Ильдерима.

— Будь мои руки свободны, — продолжал сэр Кеннет, скрестив на груди руки и устремив на эмира бесстрашный взор, — сказанное мной я отстоял бы в пешем или конном единоборстве с любым смертным; и не считал бы самым замечательным деянием моей жизни, если бы поддержал произнесенные мною слова моим добрым мечом, обрушив его на дюжину этих серпов и шил, — и он указал на изогнутую саблю и маленький кинжал эмира.

Пока христианин говорил, сарацин настолько успокоился, что убрал руку, сжимавшую оружие, словно прежний его жест был чистой случайностью; но в его голосе все еще клокотала ярость, когда он сказал:

— Клянусь мечом пророка, который служит ключом и к раю и к аду, мало ценит свою жизнь тот, кто позволяет себе такие речи, как ты, брат мой! Поверь мне, если бы, как ты выразился, твои руки были свободны, один-единственный правоверный задал бы им столько работы, что ты вскоре пожелал бы, чтобы их снова заковали в железные кандалы.

— Скорее я согласился бы, чтобы их отрубили мне по самые плечи, — возразил сэр Кеннет.

— Ну что ж. Твои руки сейчас связаны, — сказал сарацин более дружелюбным тоном, — связаны твоей собственной благородной вежливостью, да и я пока не собираюсь возвращать им свободу. Мы уже однажды померились силой и отвагой, и, может быть, мы снова встретимся в честном бою; тогда да падет позор на голову того, кто отступит первый! Но сейчас мы друзья, и я ожидаю от тебя помощи, а не резких слов или вызовов на поединок.

— Мы друзья, — повторил рыцарь.

Наступило молчание; вспыльчивый сарацин шагал взад и вперед по шатру, подобно льву, который, как говорят, после сильного возбуждения прибегает к этому способу, чтобы охладить разыгравшуюся кровь, прежде чем завалиться спать в своем логове. Более сдержанный европеец продолжал с невозмутимым видом стоять на месте; но и он, несомненно, старался подавить гнев, столь внезапно вспыхнувший в нем.

— Обсудим все спокойно, — сказал сарацин. — Я, как ты знаешь, врач, а ведь написано, что тот, кто жаждет исцеления своей раны, не должен отталкивать лекаря, который вводит зонд для ее исследования. Видишь ли, я намерен растравить твою рану. Ты любишь родственницу Мелека Рика... Приоткрой завесу, скрывающую твои мысли или, если тебе угодно, не приоткрывай — все равно мои глаза видят сквозь нее.

— Я любил ее, — ответил сэр Кеннет после некоторого молчания, — как любит человек небесную благодать, и я старался заслужить ее милость, как грешник старается заслужить прощение всевышнего.

— И ты больше ее не любишь? — спросил сарацин.

— Увы! Я больше недостоин любить ее... Прошу тебя, прекрати этот разговор. Твои слова для меня острый кинжал.

— Прости меня, но потерпи еще минуту, — продолжал Ильдерим. — Вот ты, бедный безвестный воин, ведешь себя столь дерзко и так высоко возносишь свою любовь; скажи мне, ты надеешься на счастливый исход ее?

— Любовь немыслима без надежды, — ответил рыцарь. — Но во мне надежда была так тесно переплетена с отчаянием, как у моряка, который борется за свою жизнь, плывя по разъяренному морю; он взбирается на одну волну за другой, и время от времени его взор улавливает луч далекого маяка, говорящий ему, что на горизонте земля; но, чувствуя, как слабеет его сердце и немеют руки, он понимает, что никогда не достигнет ее.

— А теперь, — сказал Ильдерим, — эти надежды исчезли и одинокий маяк погас навсегда?

— Навсегда, — ответил сэр Кеннет, и это слово прозвучало как эхо, доносящееся из глубины разрушенной гробницы.

— Если все, чего ты лишился, — сказал сарацин, — это только

промелькнувшее, как далекий метеор, мимолетное видение счастья, то думаю, что огонь твоего маяка может быть снова зажжен, твоя надежда выловлена из океана, в который она погрузилась, а ты сам, добрый рыцарь, опять примешься за любезное твоему сердцу занятие и будешь вскармливать свою безумную любовь столь мало питательной пищей, как лунный свет; ибо если завтра твоя честь станет такой же незапятнанной, какой была раньше, все равно та, кого ты любишь, не перестанет быть дочерью королей и нареченной невестой Саладина.

— Хотел бы я, чтобы это было так, — сказал шотландец, — и тогда уж...

Он запнулся, как человек, опасющийся показаться хвастуном, так как обстоятельства не позволяют ему подтвердить на деле свои слова. Сарацин с улыбкой закончил фразу:

— Ты вызвал бы султана на единоборство?

— А если бы и так, — надменно сказал сэр Кеннет, — то Саладин был бы не первым и не самым достойным противником, в чью чалму я нацеливал свое копьё.

— Да, но думаю, что султан может счесть слишком неподходящим способом подвергнуть опасности счастье царственной невесты и исход великой войны.

— С ним можно встретиться в первых рядах сражающихся, — сказал рыцарь, и эта мысль вызвала в его воображении такую яркую картину, что у него засверкали глаза.

— Он всегда бывает впереди, — подтвердил Ильдерим, — и не в его привычках отворачивать голову своего коня при встрече с храбрецом... Но не о султана собираюсь я с тобой говорить. Буду краток: если тебя удовлетворит восстановление твоего доброго имени в той мере, в какой этого можно достичь, разоблачив вора, который украл английское знамя, я могу указать тебе правильный путь для достижения цели — разумеется, если ты пожелаешь следовать моим советам, ибо, как говорит Локман, «если дитя порывается ходить, его должна вести няня, если невежда жаждет понять, его должен просветить мудрец».

— Да, ты мудр, Ильдерим, — заметил шотландец, — мудр, хотя и сарацин, благороден, хотя и неверный. Я был свидетелем твоих мудрых и благородных поступков. Так веди же меня! И если ты не потребуешь от меня ничего, что противоречило бы данному

мною обету верности и моей христианской вере, я буду беспрекословно повиноваться тебе. Сделай то, что ты обещал, и возьми мою жизнь, когда все будет свершено.

— Слушай же меня, — сказал сарацин. — Благодаря чудесному лекарству, которое исцеляет людей и животных, твой благородный пес выздоровел; его тонкое чутье поможет обнаружить тех, кто напал на него.

— Ага! — воскликнул рыцарь. — Я, кажется, понимаю тебя. Как я был глуп, что сам не подумал об этом!

— Но скажи мне, — продолжал эмир, — есть ли в лагере кто-нибудь из твоих соратников или слуг, кто мог бы узнать пса?

— Когда я ждал смерти, — ответил сэр Кеннет — я отпустил своего старого оруженосца, твоего пациента, вместе со слугой, который ухаживал за ним, и дал ему письма к моим друзьям в Шотландии... Больше никто не знает собаки. Но меня самого хорошо знают, да и мой говор выдаст меня в лагере, где я много месяцев играл немалую роль.

— И она и ты должны так изменить свою внешность, чтобы вас нельзя было узнать даже при внимательном осмотре. Говорю тебе, что ни собрат по оружию, ни родной брат не раскроют твоей тайны, если ты будешь следовать моим советам. Ты имел случай убедиться, что я справляюсь с более трудными делами: тому, кто может вернуть к жизни умирающего, которого уже коснулась тень смерти, ничего не стоит застлать туманом глаза живущих. Но имей в виду, я окажу тебе эту услугу при одном условии: ты должен передать письмо Саладина племяннице Мелека Рика, имя которой столь же трудно для наших восточных губ и языка, сколь красота восхитительна для наших глаз.

Сэр Кеннет медлил с ответом, и сарацин, видя его колебания, спросил, не боится ли он принять на себя такое поручение.

— Нет, если даже за выполнение его мне грозила бы смерть, — ответил сэр Кеннет. — Но мне нужно время, чтобы обдумать, пристало ли мне передавать письмо султана и пристало ли леди Эдит получать письма от языческого государя.

— Клянусь головой Мухаммеда и честью воина, гробницей в Мекке и душой моего отца, — сказал эмир, — клянусь тебе, что письмо написано с глубочайшим уважением. Скорей песнь соловья заставит поблекнуть куст роз, который он любит, чем слова

султана оскорбят слух прекрасной родственницы английского короля.

— В таком случае, — сказал рыцарь, — я честно передам письмо султана, как если бы я был его прирожденным вассалом; хотя я с полной добросовестностью окажу эту услугу, султан, разумеется, меньше всего может ожидать от меня посредничества и совета в этом столь странном сватовстве.

— Саладин великодушен, — ответил эмир, — и не станет понуждать благородного коня взять непреодолимое препятствие... Пойдем ко мне в шатер, — добавил он, — и вскоре ты подвергнешься такому превращению, что станешь совершенно неузнаваем и сможешь ходить по лагерю назареев, словно у тебя на пальце перстень Джиуджи. 27

Глава XXIV

*Влети пылинка
В наш кубок — и уже мы с отвращеньем
Глядим на влагу, позабыв про жажду.
Так ржавый гвоздь, близ компаса
лежащий,
Укажет ложный путь на гибель судну.
Так и ничтожнейшее недовольство
Порвет согласия узы меж монархов
И лучшие намеренья разрушит.
«Крестовый поход»*

После всего сказанного читателю, вероятно, ясно, кем был на самом деле эфиопский раб, для чего он стремился в лагерь Ричарда, почему и объятый какой надеждой стоял он теперь близ короля. Окруженный доблестными пэрами Англии и Нормандии, Львиное Сердце стоял на вершине холма святого Георгия рядом с английским знаменем, которое держал самый красивый рыцарь — его незаконнорожденный брат, Уильям Длинный Меч, граф Солсбери, плод любви Генриха Второго и знаменитой Розамунды

27

Вероятно, то же самое, что Гиг. (Прим. автора.)

из Вудстока.

Некоторые фразы из разговора, происходившего накануне между королем и Невилом, вызвали в нубийце тревожные подозрения, что он узнан: особенно усиливало их то, что король, по-видимому, прекрасно знал, каким образом собака могла помочь обнаружить вора, укравшего знамя, хотя в присутствии Ричарда почти не упоминалось о такой подробности, как нанесение преступником ран собаке сэра Кеннета. Но король продолжал обращаться с нубийцем в соответствии с его внешностью, а потому тот не был уверен, что его тайна раскрыта, и решил не сбрасывать с себя маски, пока его к этому не принудят.

Тем временем войска всех государей-крестоносцев, имея во главе своих царственных и княжеских военачальников, растянувшись длинными колоннами, церемониальным маршем проходили мимо подножия маленького холма. И всякий раз, как появлялись войска новой страны, их предводитель поднимался на несколько шагов по склону холма и приветствовал Ричарда и знамя Англии — «в знак уважения и дружбы, а не подчинения и вассальной зависимости», как было предусмотрительно оговорено в протоколе церемонии. Высшие духовные сановники, в те дни не обнажавшие голову перед земными владыками, благословляли короля и эмблему его власти, вместо того чтобы отдавать поклон.

Так проходили крестоносцы, ряд за рядом, и хотя число их по многим причинам уменьшилось, они всё еще оставались могучей армией, для которой завоевание Палестины, казалось, было легкой задачей. Воины, воодушевленные мыслью о единении сил, сидели выпрямившись в своих стальных седлах, между тем как трубы звучали более весело и пронзительно, а отдохнувшие и отъевшиеся кони грызли удила и гордо били копытами землю. Они шли бесконечной вереницей, отряд за отрядом; развевались знамена, сверкали копья, колыхались плюмажи — шла армия людей, не похожих друг на друга, разных национальностей, характеров, говоривших на разных языках, носивших разное оружие; но сейчас они все горели священным, хотя и романтическим стремлением избавить от рабства страждущую дочь Сиона и освободить от ига неверующих язычников святую землю, по которой ступала нога сына божьего. Быть может, при других обстоятельствах почести, оказанные королю Англии воинами, в сущности не обязанными

ему верностью, могли показаться в какой-то степени унижительными. Однако эта война по своему характеру и цели настолько соответствовала сугубо рыцарской натуре Ричарда, прославившегося многочисленными ратными подвигами, что никто, вопреки обыкновению, и не думал роптать; храбрый добровольно воздавал почести храбрейшему, ибо для успеха похода была необходима самая беззаветная отвага, не останавливающаяся ни перед какими препятствиями.

Благородный король в увенчанном короной шишаке, который оставлял открытым его мужественное лицо, сидел верхом на лошади; спустившись почти до половины холма, он холодным, внимательным взором оглядывал каждый ряд, когда тот проходил мимо, и отвечал на приветствия вождей. На нем была бархатная мантия лазоревого цвета, покрытая серебряными пластинками, и малиновые шелковые штаны, отделанные золотой парчой. Рядом с ним стоял мнимый эфиопский раб, держа свою благородную собаку на поводке, какой применяется при охоте. На это обстоятельство никто не обращал внимания, так как многие вожди крестоносцев завели себе черных рабов в подражание варварской роскоши сарацин. Над головой короля развевались широкие складки знамени; то и дело он бросал на него взгляд и, казалось, считал всю эту церемонию для себя совершенно несущественной, но важной потому, что она должна была смыть оскорбление, нанесенное его стране. Позади, на самой вершине холма, в деревянной башенке, специально построенной для этого случая, находились королева Беренгария и самые знатные дамы ее двора. Король время от времени смотрел в их сторону; иногда он поглядывал на нубийца и его собаку, но только в тех случаях, когда приближались вожди, которых он на основании их прежнего недоброжелательства подозревал в причастности к краже знамени или считал способными на столь низкое преступление.

Так, он не взглянул на эфиопского раба, когда Филипп-Август Французский приблизился во главе цвета галльского рыцарства; больше того, не дожидаясь, пока французский король поднимется на холм, он сам стал спускаться по склону; они встретились посередине, обменялись изящными поклонами, и как равные братски приветствовали друг друга. При виде двух величайших по знатности и могуществу властителей Европы, которые

свидетельствовали перед всеми свое согласие, армия крестоносцев разразилась громовыми криками одобрения; они разнеслись на много миль вокруг и ввели в заблуждение рыскающих по пустыне арабских лазутчиков, встревоживших лагерь Саладина сообщением, что христианская армия двинулась в поход. Но кто, кроме всевышнего, может читать в сердцах монархов? Под внешней любезностью Ричард таил раздражение против Филиппа и недоверие к нему, а Филипп замышлял покинуть вместе со всем войском армию креста и предоставить Ричарду своими силами, без всякой помощи, завершить начатый поход, победив или погибнув.

Поведение Ричарда стало совершенно иным, когда приблизились рыцари и оруженосцы в темных доспехах — тамплиеры, чьи лица под лучами палестинского солнца стали бронзовыми, как у азиатов; их лошади и снаряжение были еще в лучшем состоянии, чем у отборных французских и английских отрядов. Король бросил быстрый взгляд в сторону нубийца, однако тот стоял спокойно, а верный пес сидел у его ног, внимательно, но без признаков недовольства наблюдая за проходившими рядами. Глаза короля снова обратились на рыцарей тамплиеров, когда гроссмейстер, воспользовавшись двойственностью своего положения, благословил Ричарда как священнослужитель, вместо того чтобы отдать ему поклон как военачальник.

— Кичливый и двуличный негодяй изображает из себя монаха, — сказал Ричард графу Солсбери. — Но мы, Длинный Меч, не будем обращать внимания. Из-за мелочной придирчивости христианство не должно лишиться услуг этих опытных воинов, благодаря своим победам слишком много возомнивших о себе... Но смотри, вот подходит наш храбрый противник, герцог австрийский. Полюбуйся на его вид и осанку... А ты, нубиец, постарайся, чтобы собака его как следует рассмотрела. Клянусь небом, он привел с собой своих шутов!

В самом деле, Леопольд, то ли по привычке, то ли — что более вероятно — из желания выразить презрение к церемонии, на которую ему пришлось скрепя сердце согласиться, явился в сопровождении своего рассказчика и шута. Приближаясь к Ричарду, он что-то насвистывал, стараясь показать этим безразличие, хотя его нахмуренное лицо выдавало угрюмый страх, с каким напроказивший школьник подходит к учителю.

Когда эрцгерцог со смущенным и мрачным видом неохотно отдал положенный поклон, рассказчик потряс жезлом и объявил, словно герольд, что не должно считать, будто Леопольд Австрийский, совершая этот акт вежливости, умаляет свое звание и свои права суверенного государя. На его слова шут ответил звучным «аминь», что вызвало громкий смех присутствующих.

Король Ричард несколько раз оглядывался на нубийца и его собаку. Однако первый не шевелился, а вторая не натягивала поводка, и Ричард несколько презрительно заметил рабу:

— Боюсь, что результат твоей затеи, мой черный друг, хотя ты и призвал проницательность пса на помощь твоей собственной, не позволит тебе занять высокое положение среди колдунов и не много прибавит к твоим заслугам перед нами.

Нубиец, как обычно, ответил лишь низким поклоном.

Теперь перед английским королем проходили уже стройными рядами войска маркиза Монсерратского. Этот могущественный и хитрый вельможа, желая похвастаться своими людьми, разделил их на два отряда. Во главе первого, состоявшего из его вассалов и придворных, а также воинов, набранных в сирийских владениях, шел его брат Ангерран, а он сам возглавлял колонну из тысячи двухсот отважных страдиотов — легкой конницы, созданной Венецией из уроженцев ее далматских владений и отданной под командование маркиза, с которым республика поддерживала тесную связь. Страдиоты были одеты отчасти по-европейски, но чаще всего на азиатский лад. Так, поверх бригантин на них были двухцветные плащи из ярких тканей; кроме того, они носили широчайшие шаровары и полусапожки. На головах у них были прямые высокие шапки, напоминавшие греческие. Их вооружение состояло из небольшого круглого щита, лука со стрелами, кривой сабли и кинжала. Они ехали верхом на тщательно подобранных лошадях, которых поддерживали в прекрасном состоянии за счет венецианского правительства; седла и сбруя были почти такие же, как у сарацин, и страдиоты, подобно им, ездили на коротких стременах, высоко сидя в седле. Эти войска приносили большую пользу, совершая лихие набеги на арабов, но не могли вступать с ними в бой на близком расстоянии, как это делали закованные в латы воины из Западной и Северной Европы.

Впереди этого великолепного отряда ехал Конрад в таком же

одеянии, как страдиоты, но из очень дорогих тканей, сверкавших золотом и серебром, а его белоснежный плюмаж, прикрепленный к шляпе бриллиантовой пряжкой, казалось, поднимался к облакам. Благородный конь плясал и крутился под ним, проявляя нор и резвость, которые могли поставить в затруднительное положение менее искусного наездника, чем маркиз; тот изящно правил им одной рукой, а в другой держал жезл, взмаху которого предводительствуемые им ряды повиновались столь же неукоснительно. Однако власть Конрада над страдиотами была скорее показной. Позади него на спокойном, породистом иноходце ехал старик небольшого роста, одетый во все черное, с безбородым и безусым лицом; на фоне окружающего блеска и великолепия он казался с виду человеком совершенно незначительным. Но этот невзрачный старик был одним из уполномоченных, направляемых венецианским правительством в армии для наблюдения за полководцами, которым было доверено командование ими, и для поддержания системы шпионства и контроля, издавна отличавшей политику республики.

Конрад, умевший подлаживаться под настроение Ричарда, пользовался в известной мере его расположением. Как только английский король заметил маркиза, он спустился на несколько шагов ему навстречу и воскликнул:

— А, маркиз, ты во главе быstroногих страдиотов, а твоя черная тень, как всегда, сопровождает тебя, светит ли солнце или нет! Разрешить спросить тебя, кто начальствует над твоими войсками — тень или тот, за кем она следует?

Улыбаясь, Конрад собирался что-то ответить, как вдруг Росваль, благородный пес, с бешеным, злобным рычанием рванулся вперед. Нубиец в то же мгновение спустил собаку с поводка, она бросилась, вскочила на коня Конрада, схватила маркиза за горло и стащила его с седла. Всадник с роскошным плюмажем катался по земле, а его испуганная лошадь диким карьером помчалась по лагерю.

— Твоя собака ухватила подходящую дичь, ручаюсь за это, — сказал король нубийцу, — клянусь святым Георгием, олень-то матерой! Убери собаку, иначе она задушит его.

Эфиоп оттащил, хотя и не без труда, собаку от Конрада и снова взял ее, все еще очень возбужденную и вырывавшуюся, на

поводок. Тем временем собралась большая толпа, которую составляли главным образом приближенные Конрада и начальники страдиотов; увидя, что их предводитель лежит, устремив дикий взгляд в небо, они подняли его. Раздались беспорядочные крики:

— Изрубить на куски раба и его собаку!

Но тут послышался громкий, звучный голос Ричарда, отчетливо выделявшийся среди всеобщего шума:

— Смерть ждет того, кто тронет собаку! Она лишь исполнила свой долг с помощью чутья, которым бог и природа наделили это храброе животное. Выступи вперед, вероломный предатель! Конрад, маркиз Монсерратский, я обвиняю тебя в предательстве!

Подошли несколько сирийских военачальников, и Конрад — досада, стыд и замешательство боролись в нем с гневом, и это было ясно видно по его манере держаться и тону — воскликнул:

— Что это значит? В чем меня обвиняют? Чем объясняются эти оскорбительные слова и унижительное обращение? Такого единодушного согласия, восстановление которого Англия столь недавно провозгласила?

— Разве вожди-крестоносцы стали зайцами или оленями в глазах короля Ричарда, что он спускает на них собак? — спросил замогильным голосом гроссмейстер ордена тамплиеров.

— Это какая-то нелепая случайность, какая-то роковая ошибка, — сказал подъехавший в это мгновение Филипп Французский.

— Какая-то вражеская уловка, — вставил архиепископ Тирский.

— Происки сарацин! — воскликнул Генрих Шампанский. — Следовало бы повесить собаку, а раба предать пыткам.

— Никому, кто дорожит своей жизнью, не советую дотрагиваться до них!.. — сказал Ричард. — Конрад, выступи вперед и, если смеешь, опровергни обвинение, которое это бессловесное животное благодаря своему замечательному инстинкту выдвинуло против тебя, обвинение в том, что ты его ранил и что ты подло надругался над Англией!

— Я не прикасался к знамени, — поспешно сказал маркиз.

— Твои слова выдают тебя, Конрад! — вскричал Ричард. — Ибо как мог бы ты знать, если твоя совесть чиста, что дело идет о знамени?

— Разве не из-за него ты взбудоражил весь лагерь? — ответил Конрад. — И разве ты не заподозрил государя и союзника в преступлении, совершенном, вероятно, каким-нибудь низким вором, польстившимся на золотое шитье? А теперь неужели ты решишься обвинить своего соратника из-за какой-то собаки?

Тут сумятица стала всеобщей, и Филипп Французский счел нужным вмешаться.

— Государи и высокородные рыцари, — сказал он, — вы говорите в присутствии людей, которые немедленно обнажат мечи друг против друга, если услышат, как ссорятся между собою их вожди. Во имя бога, прошу вас, пусть каждый отведет свои войска по местам, а сами мы через час соберемся в шатре совета, чтобы принять какие-нибудь меры к восстановлению порядка.

— Согласен, — сказал король Ричард, — хотя лично я предпочел бы допросить этого негодяя, пока его яркий наряд еще запачкан песком... Но желание Франции в этом вопросе будет и нашим.

Вожди разошлись, как было предложено, и каждый государь занял место во главе своих войск. Затем со всех сторон раздались военные кличи и звуки рогов и труб, которые играли сбор и призывали отставших воинов под знамена их предводителей. Вскоре все войска пришли в движение и направились различными дорогами по лагерю, каждое на свои квартиры. Но хотя столкновение было, таким образом, пока что предотвращено, происшедшее событие продолжало волновать все умы. Чужеземцы, еще утром приветствовавшие Ричарда как самого достойного вождя армии крестоносцев, теперь снова стали относиться к нему с предубеждением, упрекая в гордости и нетерпимости. А англичане, считая, что ссора, о которой ходили самые различные толки, затрагивает честь их страны, подозревали уроженцев других стран в зависти к славе Англии и ее короля и в желании умалить эту славу с помощью самых низких интриг. Множество всяких слухов распространилось по лагерю, и в одном из них утверждалось, будто поднявшийся шум так сильно встревожил королеву и ее придворных дам, что одна из них лишилась чувств.

Совет собрался в назначенный час. За это время Конрад успел снять свое опозоренное одеяние, а вместе с ним отбросить стыд и смущение, которые, несмотря на его находчивость и быстрый ум,

вначале овладели им вследствие необычайности происшествия и неожиданности обвинения. Теперь он вошел в шатер совета, одетый как подобало государю; его сопровождали эрцгерцог австрийский, гроссмейстеры орденов тамплиеров и иоаннитов, а также несколько других владетельных особ, хотевших этим показать, что они на его стороне и будут поддерживать его, — главным образом по политическим, вероятно, соображениям или из личной вражды к Ричарду.

Это нарочитое проявление симпатий к Конраду несколько не повлияло на короля Англии. Он явился на совет с безразличным, как всегда, видом и в той же одежде, в которой только что сошел с коня. Он окинул небрежным, слегка презрительным взглядом вождей, которые с подчеркнутой любезностью окружили маркиза, давая понять, что считают его дело своим, и без всяких околичностей обвинил Конрада Монсерратского в краже знамени Англии и в нанесении ран верному животному, защищавшему его.

Конрад с решительным видом поднялся с места и заявил, что вопреки, как он выразился, показаниям человека и животного, короля или собаки, он не повинен в преступлении, которое ему приписывают.

— Мой английский брат, — сказал Филипп, по собственному почину взявший на себя роль посредника, — это необычайное обвинение. Мы не слышали от тебя никаких доказательств, подтверждающих его, кроме твоей уверенности, основанной на том, как вела себя эта собака по отношению к маркизу Монсерратскому. Неужели слова рыцаря и государя недостаточно, чтобы снять с него подозрение, возникшее из-за лая какого-то дрянного пса?

— Царственный брат, — возразил Ричард, — должен помнить, что всемогущий, который дал нам собаку, чтобы она была соучастницей наших развлечений и наших трудов, сотворил ее благородной и неспособной к обману. Она не забывает ни друга, ни врага, запоминает, притом безошибочно, как благодеяние, так и обиду. Она наделена частицей человеческого разума, но не наделена человеческим вероломством. Можно подкупить воина, чтобы тот убил мечом какого-нибудь человека, или подкупить свидетеля, и его ложное обвинение будет стоить кому-нибудь жизни; но нельзя заставить собаку, чтобы она растерзала своего

благодетеля... Она — друг человека, разве только человек заслуженно возбudit ее вражду. Разоденьте этого маркиза как павлина, придайте ему другую внешность, измените снадобьями и притираниями цвет его кожи, спрячьте его в толпе из сотни людей — и я готов прозакладывать мой скипетр, что собака узнает его и отомстит ему за причиненное ей зло, как это произошло на ваших глазах сегодня. Подобные случаи, при всей их необычности, не новы. Такого доказательства бывало достаточно для изобличения и предания смерти убийц и грабителей, и люди говорили, что то был перст божий. В твоей собственной стране, мой царственный брат, при таких же обстоятельствах устроили настоящий поединок между человеком и собакой, чтобы выяснить виновника убийства. Собака выступала обвинителем и победила; человек был казнен и перед смертью покался в совершенном преступлении. Поверь мне, царственный брат, тайные преступления нередко раскрывали благодаря свидетельству даже неодушевленных предметов, не говоря уже о животных, по своему природному чутью значительно уступающих собаке, другу и спутнику человека.

— Такой поединок, мой царственный брат, — ответил Филипп, — действительно произошел при одном из наших предшественников, да будет милостив к нему бог. Но это было в стародавние времена, и, кроме того, упомянутый тобой случай не может служить примером для нас. Тогда обвиняемым был обыкновенный человек низкого звания; оружием ему служила только дубина, а доспехами — кожаный камзол. Но мы не можем допустить, чтобы один из государей унизил себя, пользуясь таким грубым оружием, и опозорил себя участием в таком поединке.

— Я вовсе не имел этого в виду, — сказал король Ричард. — Было бы нечестно рисковать жизнью славной собаки, заставив ее сражаться с двуличным предателем, каким оказался этот Конрад. Но вот моя собственная перчатка... Мы вызываем его на поединок в доказательство обвинения, которое мы выдвинули против него. Король, во всяком случае, больше чем ровня маркизу.

Конрад не торопился принять вызов, брошенный Ричардом перед всем собранием, и король Филипп успел ответить, прежде чем маркиз сделал движение, чтобы поднять перчатку.

— Король, — сказал французский монарх, — настолько же больше чем ровня для маркиза Конрада, насколько собака была бы

меньше чем ровня. Царственный Ричард, мы не можем этого позволить. Ты наш предводитель — меч и щит христианства.

— Я возражаю против такого поединка, — заявил представитель венецианской казны, — пока английский король не уплатит пятидесяти тысяч безантов, которые он должен республике. Достаточно того, что нам грозит потеря этих денег, если наш должник падает от рук неверных, и мы не желаем подвергать себя добавочному риску его смерти в распрях между христианами из-за собак и знамен.

— А я, — сказал Уильям Длинный Меч, граф Солсбери, — в свою очередь, протестую против того, чтобы мой царственный брат в этом поединке подвергал опасности свою жизнь, которая принадлежит народу Англии... Доблестный брат, возьми обратно свою перчатку и считай, будто ее унес с твоей руки ветер. Вместо нее будет лежать моя перчатка. Королевский сын, пусть даже с полосами на левом поле щита, во всяком случае ровня этой обезьяне маркизу.

— Государи и высокородные рыцари, — сказал Конрад, — я не приму вызова короля Ричарда. Он был избран нашим вождем в борьбе с сарацинами, и если его совесть позволяет ему вызвать союзника на бой по такому пустому поводу, то моя не может вынести упрека в том, что я принял вызов. Но что касается его незаконнорожденного брата, Уильяма из Вудстока, или любого другого человека, который повторит эту клевету либо осмелится объявить себя заступником, то против них я готов отстаивать свою честь на ристалище и доказать, что те, кто меня обвиняет, низкие лжецы.

— Маркиз Монсерратский говорил как рассудительный человек, — сказал архиепископ Тирский, — мне кажется, на этом спор может быть закончен без ущерба для чести обеих сторон.

— Я думаю, он может быть на этом закончен, — заявил король Франции, — при условии, если король Ричард возьмет назад свое обвинение, как необоснованное.

— Филипп Французский, — ответил Львиное Сердце, — у меня никогда не повернется язык нанести самому себе такое оскорбление. Я обвинил этого Конрада в том, что он, словно вор, под покровом ночи похитил эмблему английского величия с того места, где она находилась. Я по-прежнему уверен в этом и

по-прежнему обвиняю его в краже. И когда будет назначен день поединка, можете не сомневаться, что ввиду отказа Конрада сразиться лично с нами я найду заступника, который поддержит наше обвинение. А ты, Уильям, без нашего особого разрешения не должен вмешиваться со своим длинным мечом в эту ссору.

— Так как положение обязывает меня быть третейским судьей в этом прискорбнейшем деле, — сказал Филипп Французский, — я назначаю решение его путем поединка, в соответствии с рыцарскими обычаями, на пятый день, считая от сегодняшнего: Ричард, король Англии, в лице своего заступника будет обвиняющей стороной, Конрад, маркиз Монсерратский, будет защищаться сам. Должен, однако, признаться, что я не знаю, где можно найти нейтральное место для поединка; его нельзя проводить поблизости от нашего лагеря, ибо начнутся раздоры между воинами, которые будут держать ту или иную сторону.

— Следует, пожалуй, — сказал Ричард, — обратиться к великодушью царственного Саладина. Хотя он и язычник, я никогда не встречал рыцаря, столь преисполненного благородства и чьей добросовестности мы могли бы так безусловно довериться. Я говорю это для тех, кто опасается возможности вероломства; что до меня, то где бы я ни увидел врага, там я вступаю с ним в битву.

— Да будет так, — согласился Филипп. — Мы поставим в известность Саладина, хотя и покажем этим нашему врагу, что среди нас царит прискорбный дух раздора, который мы охотно скрыли бы от самих себя, будь это возможно. Итак, я распускаю совет и настоятельно прошу всех вас как христиан и добрых рыцарей принять меры, чтобы эта злосчастная ссора не повела к дальнейшим распрям в лагере. Вы должны считать ее делом, подлежащим исключительно суду божьему. Пусть каждый из вас помолится, чтобы господь даровал победу в поединке тому, на чьей стороне правда; и да свершится воля его!

— Аминь, аминь! — послышалось со всех сторон.

Тамплиер тем временем прошептал маркизу:

— Конрад, не хочешь ли ты добавить молитву об избавлении тебя от власти пса, как говорится у Псалмопевца?

— Замолчи! — ответил маркиз. — Здесь повсюду бродит демон-изобличитель, который среди других новостей может рассказать, как далеко завел тебя девиз твоего ордена — *Feriatur*

Leo. 28

— Ты устоишь в этом поединке? — спросил тамплиер.

— Не опасайся за меня, — ответил Конрад. — Конечно, мне не хотелось бы наткнуться на железную руку самого Ричарда, и я не стыжусь признаться, что радуюсь избавлению от встречи с ним. Но нет среди его приближенных человека, включая его незаконнорожденного брата, с которым я побоялся бы сразиться.

— Это хорошо, что ты так уверен в себе, — продолжал тамплиер. — В таком случае клыки этой собаки сделали больше для распада союза между государями, чем твои хитрости или кинжал хариджита. Разве ты не видишь, что Филипп, старательно хмурия лоб, не может скрыть удовольствие, испытываемое им при мысли о скором освобождении от союзных обязательств, которые так тяготят его? Посмотри, что за улыбка на лице Генриха Шампанского, сияющем, как искрометный кубок с вином его страны... Обрати внимание, как радостно хихикает Австрия, предвкушая, что нанесенная ей обида будет отомщена без всякого риска и неприятностей для нее самой. Тише, он подходит... Сколь прискорбны, царственнейшая Австрия, эти трещины в стенах нашего Сиона...

— Если ты имеешь в виду крестовый поход, — ответил герцог, — то я хотел бы, чтобы наш Сион рассыпался на куски и все мы благополучно вернулись домой!.. Я говорю это по секрету.

— Подумать только, — сказал маркиз Монсерратский, — что этот разлад — дело рук короля Ричарда, по чьей прихоти мы безропотно переносили столько лишений, кому мы подчинялись, как рабы хозяину, в надежде, что он направит свою доблесть против наших врагов, а не против друзей.

— Я не нахожу, чтобы он так уж превосходил доблестью остальных, — сказал эрцгерцог. — Я уверен, если бы благородный маркиз встретился с ним на ристалище, он был бы победителем; хотя островитянин наносит сильные удары секирой, он не так уж искусен в обращении с копьем. Я охотно сразился бы с ним сам, чтобы покончить с нашей старой ссорой, если бы только во имя блага христианства владетельным государям не было запрещено мериться силами на ристалище... Если ты желаешь, благородный

маркиз, я буду твоим поручителем в этом поединке.

— И я также, — сказал гроссмейстер.

— Пойдемте же, благородные рыцари, и пообедаем у нас в шатре, — предложил герцог, — там мы поговорим за кубком доброго ниренштейнского вина.

Они вместе вошли к герцогу.

— О чем разговаривал наш хозяин с этими важными господами? — спросил Йонас Шванкер у своего товарища рассказчика, который после закрытия совета позволил себе приблизиться вплотную к своему господину, между тем как шут ожидал на более почтительном расстоянии.

— Служитель Глупости, — сказал рассказчик, — умерь свое любопытство; мне не пристало разглашать тайны нашего хозяина.

— Питомец Мудрости, ты ошибаешься, — возразил Йонас. — Мы оба — постоянные спутники нашего господина, и нам одинаково важно знать, кто из нас — ты или я, Мудрость или Глупость — имеет большее влияние на него.

— Он сказал маркизу и гроссмейстеру, — ответил рассказчик, — что устал от этих войн и был бы рад благополучно вернуться домой.

— У нас поровну очков, и игра не идет в счет, — сказал шут. — Очень мудро думать так, но большая глупость говорить об этом другим... Продолжай.

— Гм, затем он сказал им, что Ричард не доблестнее других и не слишком искусен на ристалище.

— Моя взяла! — воскликнул Шванкер. — Это отменная глупость. Что дальше?

— Право, я уже позабыл, — ответил мудрец. — Он пригласил их на кубок ниренштейна.

— В этом видна мудрость, — сказал Йонас. — Можешь пока считать этот кон своим; но тебе придется согласиться, что он мой, если наш хозяин выпьет слишком много, как скорее всего и будет. Что-нибудь еще?

— Ничего достойного упоминания, — ответил оратор, — он лишь пожалел, что не воспользовался случаем встретиться с Ричардом в поединке.

— Довольно, довольно! — воскликнул Йонас. — Это такая дикая глупость, что я почти стыжусь своего выигрыша... Тем не

менее, хоть он и дурак, мы последуем за ним, мудрейший рассказчик, и выпьем свою долю ниренштейнского вина.

Глава XXV

*Тебе неверен был бы я,
Возлюбленной моей,
Когда бы честь, любовь моя,
Я не любил сильнее.*

«Стихи» Монтроза

Вернувшись в свой шатер, король Ричард приказал ввести к нему нубийца. Он вошел с обычным торжественным поклоном, простерся ниц и, поднявшись, стоял перед королем в позе раба, ожидающего распоряжения хозяина. Для него было, пожалуй, лучше, что он, как того требовало его положение, потупил глаза, ибо, смотря в лицо королю, он вряд ли выдержал бы пристальный взгляд, которого тот в полном молчании не сводил с него в течение нескольких минут.

— Ты понимаешь толк в охоте, — заговорил наконец король, — ты так искусно поднял зверя и загнал его, словно тебя учил сам Тристрем. ²⁹ Но это еще не все — его надо затравить; я сам был бы не прочь нацелить на него мое охотничье копье. По некоторым соображениям это невозможно. Тебе предстоит вернуться в лагерь султана и отвезти письмо с просьбой оказать любезное содействие в выборе нейтрального места для рыцарского поединка и с приглашением, если будет на то его воля, присутствовать на нем вместе с нами. Нам думается — я говорю, конечно, предположительно, — что там, в лагере, ты можешь найти рыцаря, который из любви к истине и ради приумножения своей славы сразится с этим предателем, маркизом Монсерратским.

Нубиец поднял глаза и устремил на короля пылкий взгляд,

29

Широко распространенная легенда приписывает сэру Тристрему, знаменитому своей любовью к прекрасной королеве Изулт, составление свода правил (так называемых *venegie*) относительно способов ведения охоты; так как этот свод регламентировал охоту, он, по-видимому, имел важное значение в средние века. (Прим. автора.)

преисполненный рвения; затем он возвел их к небу с такой глубокой благодарностью, что в них сразу заблестели слезы... Затем склонил голову как бы в подтверждение своей готовности выполнить желание Ричарда и снова принял обычную позу покорного ожидания.

— Хорошо, — сказал король, — я вижу твоё стремление оказать мне услугу. В этом, должен заметить, и состоит преимущество такого слуги, как ты: лишенный дара речи, он не вступает в обсуждение наших намерений и не требует объяснить ему, почему мы так решили. Слуга англичанин на твоём месте стал бы упрямо убеждать меня, чтобы я поручил выступить в поединке какому-нибудь доблестному рыцарю из числа моих приближенных; они все, начиная с моего брата Длинного Меча, горят желанием сразиться в защиту моей чести. А болтливый француз предпринял бы тысячу попыток узнать, почему я ищу заступника в лагере неверных. Но ты, мой молчаливый наперсник, выполнишь поручение, не спрашивая и не стараясь понять; для тебя слышать — значит повиноваться.

В ответ на эти рассуждения эфиоп согнулся в поклоне и опустил на колени.

— А теперь о другом, — сказал король и неожиданно спросил: — Ты ещё не видел Эдит Плантагенет?

Немой вскинул глаза, словно собираясь заговорить, его губы уже готовы были отчетливо произнести «нет», но не успевшее родиться слово замерло на устах, и вместо него послышалось невнятное бормотание.

— Ну и ну, взгляните-ка! — воскликнул король. — Стоило мне назвать имя девицы королевского рода, нашей очаровательной кузины столь непревзойденной красоты, и немой чуть-чуть не заговорил. Какое же чудо могут совершить тогда ее глаза! Я сделаю этот опыт, мой друг раб. Ты увидишь несравненную красавицу нашего двора и исполнишь поручение благородного султана.

Снова радостный взгляд, снова коленапреклонение. Но когда нубиец поднялся, король тяжело опустил руку ему на плечо и продолжал суровым тоном:

— Должен предупредить тебя, мой черный посол, лишь об одном. Если ты даже почувствуешь, что под благотворным

влиянием той, кого тебе предстоит вскоре лицезреть, ослабевают узы, связующие твой язык, который ныне, как выражается добрый султан, заточен в своем замке со стенами из слоновой кости, остерегайся изменить твоему молчанию и произнести хоть слово в ее присутствии, если даже свершится чудо и ты вновь обретешь дар речи. Знай, что тогда я прикажу вырвать твой язык с корнем, а его дворец слоновой кости разрушить, то есть повыдергать один за другим все твои зубы. Будь же поэтому благоразумен и безмолвен, как могила.

Нубиец, лишь только король убрал свою тяжелую руку с его плеча, склонил голову и прикоснулся пальцами к губам в знак молчаливого повиновения.

Но Ричард снова положил руку ему на плечо — на сей раз прикосновение было мягче — и добавил:

— Это приказание мы даем тебе как рабу. Будь ты рыцарем и дворянином, мы потребовали бы от тебя поклясться честью в залог молчания — единственного неременного условия, без соблюдения которого мы не могли бы оказать тебе это доверие.

Эфиоп гордо выпрямился, взглянул прямо в лицо королю и приложил правую руку к сердцу.

Затем Ричард позвал своего камергера.

— Пойди, Невил, — сказал он, — с этим рабом в шатер нашей царственной супруги и скажи, что мы желаем, чтобы наша кузина Эдит приняла его — приняла наедине. У него есть поручение к ней. Ты покажешь ему дорогу, если он нуждается в провожатом, хотя, как ты, вероятно, заметил, он уже изумительно хорошо знает все, что находится в пределах нашего лагеря... А ты, друг эфиоп, — продолжал король, — побыстрее кончай свое дело и через полчаса возвращайся сюда.

«Моя тайна раскрыта, — думал мнимый нубиец, когда, потупив взор и скрестив руки, шел за быстро шагавшим Невилом к шатру королевы Беренгари. — Моя тайна перестала быть тайной для короля Ричарда; однако я не почувствовал, чтобы он так уж сильно гневался на меня. Если я правильно понял его слова — а толковать их иначе, конечно, нельзя, — он дает мне великолепную возможность восстановить мою честь, победив в единоборстве этого вероломного маркиза, чью вину я прочел в его трусливом взгляде и дрожащих губах, когда ему было брошено обвинение...

Росваль, ты верно послужил своему хозяину, и твой обидчик дорого поплатится!.. Но что означает данное мне разрешение встретиться с той, кого я больше уж не надеялся увидеть? Как и почему согласился царственный Плантагенет, чтобы я увиделся с его прекрасной родственницей, я, посланец язычника Саладина или же преступный изгнанник, столь недавно удаленный королем из его лагеря и чью вину так сильно отяготило смелое признание в любви, которой он гордится? Ричард согласился, чтобы она получила письмо от влюбленного мусульманина, притом из рук другого влюбленного, стоящего неизмеримо ниже ее по происхождению; каждое из этих обстоятельств совершенно невероятно и, кроме того, не вяжется одно с другим. Но когда Ричард не находится во власти своих необузданных страстей, он великодушен и поистине благороден. С таким человеком я готов иметь дело и вести себя соответственно его желаниям, высказанным прямо или подразумеваемым, не стремясь узнать слишком много и довольствуясь тем, что может постепенно раскрыться передо мной без моих назойливых вопросов. Тому, кто предоставил мне такой прекрасный случай восстановить мою запятнанную честь, я обязан беспрекословно повиноваться, и сколь ни тяжело мне будет, я уплачу свой долг. И все же, — размышлял он дальше, побуждаемый гордостью, которая переполнила его сердце, — Львиное Сердце, как его называют, судил, должно быть, о чувствах других по своим собственным. Я домогаюсь беседы с его родственницей! Я, ни разу не сказавший ей ни слова, когда принимал из ее рук почетную награду, когда среди защитников креста меня считали не последним в рыцарских подвигах! Я предстану перед ней в этом низком обличье, в одежде раба и, увы, будучи на самом деле рабом, с пятном бесчестия, опозорившим тот щит, который некогда был моим! Чтобы я стремился к этому! Он плохо знает меня. И все же я признателен ему за эту возможность, благодаря которой все мы сумеем, пожалуй, лучше узнать друг друга».

Когда он пришел к этому выводу, они уже стояли перед входом в шатер королевы.

Стража, разумеется, их пропустила, и Невил, оставив нубийца в небольшой прихожей, которую тот слишком хорошо помнил, вошел в помещение, служившее королеве приемной. Тихим и

почтительным голосом он передал приказ своего царственного господина; его учтивые манеры резко отличались от грубости Томаса де Во, для которого Ричард был все, а остальной двор, включая Беренгарию, — ничто. Едва Невил изложил данное ему поручение, как раздался взрыв смеха.

— А каков собой этот нубийский раб, присланный султаном с таким поручением? Он негр, де Невил, не так ли? — спросил женский голос, принадлежавший, несомненно, Беренгарии. — Негр, не так ли, де Невил, с черной кожей, курчавой, как у барана, головой, приплюснутым носом и толстыми губами, а, почтенный сэр Генри?

— Не забудьте, ваше величество, еще о ногах, изогнутых наружу, подобно клинку сарацинской сабли, — произнес другой голос.

— Скорее — подобно луку Купидона, ибо он пришел с любовным посланием, — сказала королева. — Благородный Невил, ты всегда готов доставить удовольствие нам, бедным женщинам, у которых так мало развлечений. Мы должны увидеть этого посла любви. Я видела много сарацин и мавров, но негра — никогда.

— Я создан для того, чтобы повиноваться приказаниям вашего величества, так что вам придется вступить за меня перед моим повелителем, если он будет недоволен моим поступком, — ответил вежливый рыцарь. — Однако разрешите заверить ваше величество: вы увидите не совсем то, что ожидаете.

— Тем лучше... Еще безобразней, чем мы можем вообразить, и все же этот доблестный султан избрал его вестником любви?

— Милостивейшая госпожа, — сказала леди Калиста, — умоляю вас, разрешите доброму рыцарю отвести этого посла прямо к леди Эдит, кому адресованы его верительные грамоты. Мы уже один раз едва не поплатились за подобную шалость.

— Поплатились? — презрительно повторила королева. — Но может быть, это и правильно, Калиста, что ты столь осмотрительна... Пусть нубиец, как ты его называешь, прежде выполнит поручение к нашей кухне... Он к тому же немой, не так ли?

— Да, госпожа, — ответил рыцарь.

— Бесценным преимуществом обладают восточные знатные дамы, — сказала Беренгария, — им прислуживают люди, в

присутствии которых они могут говорить что угодно, не опасаясь, что те передадут их слова. Между тем как у нас в лагере, по выражению епископа Сент-Джудского, птицы небесные разносят все новости.

— Это объясняется просто, — сказал де Невил, — ваше величество забывает, что вы говорите за полотняными стенами.

После этого замечания голоса стихли, некоторое время слышался лишь шепот, а затем английский рыцарь возвратился к эфиопу и сделал ему знак следовать за собой. Тот повиновался, и Невил повел его к шатру, установленному несколько в стороне от шатра королевы для леди Эдит и ее приближенных. Одна из служанок-копток встретила посетителей у входа, и сэр Генри Невил сообщил ей повеление короля. Через одну-две минуты нубийца ввели к Эдит, а Невил остался перед шатром. Рабыня, сопровождавшая посланца, по знаку своей госпожи удалилась. Несчастный рыцарь опустился на одно колено, устремил взор в землю и скрестил на груди руки, словно преступник, ожидающий приговора. Унижение, которое он испытывал, представ в таком необычайном виде, не только проявлялось в его позе, но и охватило все его существо. Эдит была в том же одеянии, в каком принимала короля Ричарда: длинное прозрачное темное покрывало, подобно тени летней ночи, падающей на прекрасный ландшафт, окутывало ее, меняя и делая неясными черты ее лица, но не скрывая его красоты. Она держала в руке серебряный светильник, который был наполнен какой-то ароматической жидкостью и горел очень ярко.

Она подошла почти вплотную к коленопреклоненному, неподвижному как изваяние рабу и направила свет на его лицо, словно хотела тщательнее рассмотреть его, затем отошла и поставила светильник так, чтобы на висевшей сбоку занавеси появилась тень его лица в профиль. Наконец Эдит заговорила, и в ее спокойном голосе звучала глубокая печаль:

— Это вы?.. Неужели это вы, храбрый рыцарь Леопарда, доблестный сэр Кеннет Шотландский... Неужели это вы?.. В этом рабском обличье... Окруженный тысячью опасностей...

Едва рыцарь услышал голос дамы его сердца, так неожиданно обратившийся к нему, голос, в котором звучало сострадание, почти нежность, с его губ готов был сорваться подобающий ответ, и,

только вспомнив приказ Ричарда и данное им самим обещание молчать, он с трудом сдержал себя, хотя так жаждал сказать, что увиденная им божественная красота и только что услышанные слова были достаточным вознаграждением за рабство на всю жизнь, за все опасности, ежечасно угрожавшие этой жизни. Итак, он все же опомнился, и глубокий, страстный вздох был единственным ответом на вопрос высокородной Эдит.

— Я чувствую... я знаю, что угадала, — продолжала Эдит, — Я заметила вас, как только вы появились вблизи от возвышения, где стояла я с королевой. Я узнала также вашего храброго пса. Та, которую может ввести в заблуждение перемена одежды или цвета кожи преданного слуги, не настоящая леди и недостойна служения такого рыцаря, как ты. Говори же безбоязненно с Эдит Плантагенет. Она умеет быть милостивой к попавшему в беду доблестному рыцарю, который служил ей, чтит ее и совершил ратные подвиги во имя ее, когда судьба ему улыбалась... Ты продолжаешь молчать! Страх или стыд сковывает твои уста? Страх ведь неведом тебе, а стыд — пусть он будет уделом тех, кто причинил тебе зло.

Рыцарь был в отчаянии, разыгрывая роль немощного во время столь важной для него встречи, и выражал свою скорбь лишь тем, что глубоко вздыхал и прикладывал палец к губам. Эдит, раздосадованная, отступила на несколько шагов.

— Но что это! — воскликнула она. — Ты немой азиат не только по виду, но и на самом деле? Этого я не ожидала... Пожалуй, ты станешь презирать меня за мое смелое признание в том, что я со вниманием относилась к тем знакам почтения, которые ты оказывал мне? Ты не должен думать так недостойно об Эдит. Она прекрасно знает границы приличий, предписываемые высокородным девицам сдержанностью и скромностью, и она знает, когда и до какого предела они могут уступить место благодарности — искреннему желанию, чтобы в ее власти было вознаградить за услуги и исправить зло, постигшее доблестного рыцаря из-за его преданности ей... К чему с таким жаром сжимать и ломать себе руки?.. А вдруг, — добавила она, отпрянув при этой мысли, — их жестокость действительно лишила тебя способности говорить? Ты качаешь головой. Ну, в колдовстве ли тут дело или в упрямстве, но я больше ни о чем тебя не буду спрашивать.

Выполняй свое поручение как тебе угодно. Я тоже могу быть немой.

Переодетый рыцарь сделал жест, выражавший и сетование на свою судьбу и скорбь по поводу неудовольствия леди Эдит; в то же время он вручил ей письмо султана, завернутое, как обычно, в тонкий шелк и золотую парчу. Эдит взяла письмо, небрежно взглянула на него, затем отложила в сторону и, снова устремив взор на рыцаря, тихо произнесла:

— Ты явился ко мне с поручением и не промолвишь ни слова?

Мнимый раб прижал обе руки ко лбу, словно пытаюсь дать понять, какую муку испытывает он, не имея возможности повиноваться ей; но она в гневе отвернулась от него.

— Уходи! — промолвила она. — Я сказала достаточно — слишком много

— тому, кто в ответ не желает удостоить меня ни одним словом. Уходи!.. И знай, если я принесла тебе горе, то теперь искупила свою вину; ибо если я была злосчастной причиной того, что тебя уговорили покинуть почетный пост, то теперь, во время этой встречи, я забыла свое достоинство и унизила себя в твоих глазах и в своих собственных.

Она закрыла глаза рукой, казалось, сильно взволнованная. Сэр Кеннет хотел приблизиться к ней, но она мановением руки удержала его.

— Прочь! Волей неба душа у тебя теперь под стать твоему новому положению! Человек менее тупой и трусливый, нежели немой раб, произнес бы хоть слово благодарности, пусть даже лишь для того, чтобы утешить меня в моем унижении. Чего ты ждешь?.. Уходи!

Переряженный рыцарь почти невольно бросил взгляд на письмо, как бы в объяснение, почему он медлит. Эдит схватила письмо и ироническим, презрительным тоном сказала:

— Я забыла... Послушный раб ждет ответа на доставленное им послание... Но что это — от султана!

Она быстро пробежала глазами письмо Саладина, написанное по-арабски и по-французски; кончив читать, она горько и злобно рассмеялась.

— Это превосходит всякое воображение! — воскликнула она. — Ни один фокусник не покажет таких чудес! Его ловкости

рук достаточно, чтобы обратить цехины и безанты в дойты и мараведисы. Но разве он может превратить христианского рыцаря, которого всегда почитали одним из храбрейших воинов святой армии креста, в лобызающего прах раба языческого султана, в посредника при дерзком сватовстве неверного к христианской девице, в человека, забывшего законы благородного рыцарства и заветы религии? Но бесполезно разговаривать с добровольным рабом языческого пса. Расскажи своему хозяину, когда под его плетью ты обретешь дар речи, что я сделала на твоих глазах с его посланием.

С этими словами она швырнула письмо султана на землю и наступила на него ногой.

— И передай ему, — добавила она, — что изливание нежных чувств некрещеного язычника вызывает у Эдит Плантагенет одно лишь презрение.

Сказав это, Эдит бросилась было прочь от рыцаря, но тот, стоя на коленях у ее ног, в порыве отчаяния осмелился схватить край ее платья, чтобы удержать ее.

— Ты разве не слышал, бестолковый раб, что я сказала? — круто обернувшись к нему, спросила она резким тоном. — Передай языческому султану, твоему хозяину, что к его сватовству я отношусь с таким же презрением, как и к коленопреклоненной мольбе недостойного отступника, который изменил религии и рыцарству, богу и своей даме!

Она стремительным движением вырвала край платья из его руки и вышла из шатра.

В то же мгновение снаружи послышался голос Невила, звавший нубийца. Несчастный рыцарь, обессиленный и отупевший от горя, которое ему пришлось испытать во время этого свидания и которого он мог бы избежать, лишь нарушив обещание, данное им королю Ричарду, едва брел за английским бароном. Наконец они подошли к королевскому шатру; перед ним только что спешила группа всадников. В шатре было светло и оживленно; когда Невил и его переряженный спутник вошли, они увидели, что король и некоторые из его приближенных радостно встречают гостей.

Глава XXVI

*«Лить слезы вечно буду я!
Но не о том, что друг далек:
Вернется он в свои края,
Когда разлуки минет срок.
И не о мертвых плачу, нет!
Их скорбь прошла, их стон утих.
Все близкие уйдут им вслед,
И смерть уж не разрознит их».*
*Но плачет дева без конца,
Что безутешней горе есть:
Пятно на имени бойца
И им утраченная честь.*
Баллада

Слышался звонкий самоуверенный голос Ричарда, который весело приветствовал вновь прибывших.

— Томас де Во! Толстяк Том из Гилсленда! Клянусь головой короля Генриха, я радуюсь тебе не меньше, чем веселый выпивала — фляге вина! Я вряд ли сумел бы построить мое войско в боевой порядок, если бы твоя огромная фигура не маячила передо мной и не служила вехой, по которой я мог бы выравнивать свои ряды. Вот-вот завяжется драка, Томас, если святые будут милостивы к нам; и начни мы сражаться без тебя, я не удивился бы, услышав, что тебя нашли висящим на ольхе.

— Надеюсь, — ответил Томас де Во, — что я перенес бы разочарование с должным христианским терпением и не стал бы умирать смертью предателя. Впрочем, я благодарю ваше величество за любезный прием — тем более великодушный, что он оказан мне в предвидении ратного пиршества, за которым вы, с позволения сказать, всегда чересчур склонны урвать себе долю побольше. Но я привез вашему величеству того, кого, без сомнения, вы встретите еще более радушно.

Тут выступил вперед и склонился перед королем юноша невысокого роста и хрупкого телосложения. Он был скромно одет, но на его берете сверкала золотая пряжка, украшенная драгоценным камнем, с блеском которого могло соперничать лишь

сияние глаз, смотревших из-под этого берета. Глаза были единственной примечательной чертой лица юноши; но на любого, кто обратил на них внимание, они неизменно производили сильное впечатление. У него на шее на шелковой ленте лазоревого цвета висел золотой ключ для настройки арфы.

Юноша почтительно преклонил колена перед Ричардом, но король в радостном возбуждении поспешил поднять его, пылко прижал к своей груди и расцеловал в обе щеки.

— Блондель де Нель! — весело воскликнул он. — Добро пожаловать к нам с Кипра, король менестрелей! Король Англии, почитающий твое достоинство не ниже своего, приветствует тебя. Я был болен, мой друг, и, клянусь душой, наверно из-за того, что мне недоставало тебя; ибо, будь я уже на половине пути к раю, твое пение, кажется, могло бы вернуть меня обратно на землю... Какие новости из страны поэзии, благородный любимец муз? Что-нибудь свеженькое от трубадуров Прованса? Что-нибудь от менестрелей веселой Нормандии? А главное, был ли ты сам это время чем-нибудь занят? Но к чему я спрашиваю: ты не можешь быть праздным, если бы даже захотел; твой благородный талант подобен огню, который пылает внутри и заставляет тебя изливаться в музыку и песне.

— Я кое-что узнал и кое-что сделал, благородный король, — ответил знаменитый Блондель с застенчивой скромностью, которая не покидала его, несмотря на все восторженные похвалы Ричарда его искусству.

— Мы послушаем тебя, мой друг... Мы сейчас же послушаем тебя, — сказал король. Затем, ласково дотронувшись до плеча Блонделя, он добавил: — Конечно, если ты не устал с дороги; я скорее загоню до смерти моего лучшего коня, чем нанесу хоть малейший ущерб твоему голосу.

— Мой голос, как всегда, к услугам моего царственного покровителя, — сказал Блондель. — Но ваше величество, — добавил он, кинув взгляд на разбросанные по столу бумаги, — заняты как будто более важным делом, а час уже поздний.

— Вовсе нет, мой друг, вовсе нет, мой дорогой Блондель. Я только набрасывал план построения войск в битве с сарацинами, это дело одной минуты... На это потребуется почти так же мало времени, как на то, чтобы разбить их.

— Мне кажется, однако, — сказал Томас де Во, — не мешало бы осведомиться, каким войском будет располагать ваше величество для построения. Я принес сведения об этом из Аскалона.

— Ты мул, Томас, — сказал король, — настоящий мул по тупости и упрямству!.. Ну, благородные рыцари, посторонитесь!.. Станьте вокруг Блонделя Дайте ему скамеечку... Где его арфоносец? Или погодите, пусть он возьмет мою арфу — его собственная, возможно, пострадала от путешествия.

— Я хотел бы, чтобы вы, ваше величество, выслушали мой доклад, — настаивал Томас де Во. — Я проделал длинный путь, и меня больше манит постель, чем щекотание моих ушей.

— Щекотание твоих ушей! — воскликнул король. — Для этого нужно перо вальдшнепа, а не сладкие звуки. Скажи-ка, Томас, твои уши могут отличить пение Блонделя от крика осла?

— По правде говоря, милорд, — ответил Томас, — я и сам хорошенько не знаю; но оставляя в стороне Блонделя — дворянина по рождению и человека, несомненно, высокоодаренного, я должен сказать в ответ на вопрос вашего величества, что при виде менестреля я всегда вспоминаю об осле.

— А не мог бы ты из учтивости сделать исключение и для меня — тоже дворянина по рождению, как и Блондель, и его собрата по *joyeuse science*? 30

— Вашему величеству следовало бы помнить, — возразил де Во, улыбаясь, — что не приходится ждать учтивости от мула.

— Совершенно правильно, — сказал король, — и ты — животное весьма дурного нрава... Но подойди сюда, господин мул, и дай я тебя разгрузу, чтобы ты мог улечься на свою подстилку и не пришлось зря тратить на тебя музыку... А ты, мой добрый брат Солсбери, отправься тем временем в шатер нашей супруги и скажи ей, что приехал Блондель с полной сумкой новых песен менестрелей. Попроси ее немедленно прибыть к нам и проводи ее; позаботься, чтобы пришла и наша кузина Эдит Плантагенет.

На мгновение Ричард остановил взгляд на нубийце, и, как всегда, когда он на него смотрел, на его лице появилось какое-то двусмысленное выражение.

— А, наш молчаливый и таинственный посол уже вернулся? Стань, раб, позади Невила, и ты сейчас услышишь звуки, которые заставят тебя благословить бога за то, что он поразил тебя немотой, а не глухотой.

Затем король отошел в сторону с де Во и немедленно погрузился в военные дела, о которых принялся ему рассказывать барон.

К тому времени, когда лорд Гилсленд закончил свой доклад, посланец королевы возвестил, что она и ее свита приближаются к королевскому шатру.

— Эй, флягу вина! — сказал король. — Старого кипрского из подвалов короля Исаака, которое мы захватили при штурме Фамагусты... Наполним наши кубки, господа, в честь храброго лорда Гилсленда. Более рачительного и преданного слуги никогда не было ни у одного государя.

— Я рад, — сказал Томас де Во, — что ваше величество считает мула полезным рабом, хотя голос у него не такой музыкальный, как звуки струн из конского волоса или проволоки.

— Эта колкость насчет мула, видно, застряла у тебя в горле? — сказал Ричард. — Протолкни-ка ее полным до краев кубком, а не то ты задохнешься... Вот так, лихо опрокинуто! А теперь я скажу тебе, что и ты и я — мы оба воины и должны столь же хладнокровно сносить шутки друг друга за пиршественным столом, как и удары, которыми мы обмениваемся на турнире, и любить друг друга тем сильнее, чем крепче эти шутки и удары. Клянусь честью, если во время нашего последнего словесного поединка ты не нанес мне такого же сильного удара, как я тебе, то ты вложил все свое остроумие в последний выпад. Но вот в чем разница между тобой и Блонделем: ты мой товарищ — можно сказать, ученик — в ратном деле, между тем как Блондель — мой учитель в искусстве менестрелей. С тобой я позволяю себе дружескую свободу обращения — ему я должен оказывать почет, так как он превосходит меня в своем искусстве. Ну, дружище, не будь сварливым, а останься с нами и послушай наши песни.

— Чтобы видеть ваше величество в таком веселом настроении, — ответил лорд Гилсленд, — клянусь честью, я готов был бы остаться до тех пор, пока Блондель не закончит знаменитую повесть о короле Артуре, на исполнение которой

требуется три дня.

— Мы не будем столь долго испытывать твое терпение, — сказал король. — Но смотри, свет факелов возвещает, что наша супруга приближается... Ну-ка, пойди встретить ее и постарайся заслужить благосклонный взгляд самых прекрасных глаз в христианском мире... Не задерживайся для того, чтобы оправить свой плащ. Видишь, ты дал возможность Невилу обрезать тебе нос.

— Он никогда не бывал впереди меня на поле битвы, — сказал де Во, не слишком обрадованный тем, что более проворный камергер опередил его.

— Конечно, ни он, ни кто-либо другой не шли впереди тебя, мой добрый Том из Гилса, — сказал король, — разве только иногда нам удавалось это.

— Да, милорд, — согласился де Во. — И отдадим должное несчастному, бедный рыцарь Леопарда, случалось, тоже бывал впереди меня; потому что, видите ли, он весит меньше, чем я, и его лошадь...

— Молчи! — властным тоном перебил Ричард. — Ни слова о нем.

В то же мгновение он сделал несколько шагов вперед навстречу своей царственной супруге. Поздоровавшись с ней, он представил ей Блонделя, назвав его королем менестрелей и своим учителем в поэзии. Беренгария хорошо знала, что страсть ее супруга к стихам и музыке почти не уступала его рвению к воинской славе и что Блондель был его особым любимцем, а потому постаралась оказать ему самое лестное внимание, заслуженное тем, кого король был всегда рад отличить. Блондель в ответ на похвалы, расточаемые ему прекрасной королевой, пожалуй, чересчур обильно, не скупился на изъявления признательности; однако он не смог скрыть, что безыскусственное ласковое радушие Эдит, чье милостивое приветствие, при всей его простоте и немногословности, казалось ему, вероятно, искренним, вызвало в нем чувство более глубокого уважения и более почтительной благодарности.

Королева и ее царственный супруг заметили это различие, и Ричард, видя, что жена несколько уязвлена предпочтением, отданным его кухне, которым он и сам, возможно, был не очень доволен, сказал так, чтобы слышали обе женщины:

— Как ты, Беренгария, видишь по поведению нашего учителя Блонделя, мы, менестрели, питаем больше уважения к строгому судье вроде нашей родственницы, чем к такому благосклонно настроенному другу, как ты, готовому на веру принять наши достоинства.

Эдит почувствовала себя задетой этой язвительной насмешкой своего царственного родственника и, не задумываясь, ответила, что она «не единственная из Плантагенетов, кому свойственно быть суровым и строгим судьей».

Она, быть может, сказала бы и больше, так как сама обладала характером, свойственным представителям этого королевского дома, который, позаимствовав свое имя и герб от низкорослого дрока (*Planta Genista*), считающегося эмблемой смирения, был, пожалуй, одной из самых гордых династий, когда-либо правивших в Англии; однако ее засверкавшие при смелом ответе глаза неожиданно встретились с глазами нубийца, хотя тот и старался спрятаться за спинами присутствовавших рыцарей, и она опустила на скамью, так побледнев при этом, что королева Беренгария сочла своей обязанностью попросить воды и нюхательного спирта и прибегнуть к другим мерам, принятым в тех случаях, когда женщина падает в обморок. Ричард был более высокого мнения о силе духа Эдит; заявив, что музыка не хуже любого иного средства способна привести в чувство представительницу семьи Плантагенетов, он предложил Блонделю занять свое место и приступить к пению.

— Спой нам, — сказал он, — ту песню об окровавленной одежде, с содержанием которой ты меня ознакомил перед тем, как я покинул Кипр. За это время ты должен был научиться исполнять ее в совершенстве, не то про тебя можно будет сказать, как выражаются воины нашей страны, что твой лук сломан.

Менестрель, однако, не сводил тревожного взгляда с Эдит, и лишь после того, как убедился, что румянец вновь заиграл на ее щеках, он повиновался настоятельным приказаниям короля. Затем, сопровождая себя на арфе так, чтобы придать словам дополнительную прелесть, но не заглушать их, он запел речитативом одно из тех старинных сказаний о любви и рыцарстве, которые в былые времена неизменно привлекали внимание слушателей. Едва только он начал вступление, его обычно

невыразительное лицо словно преобразилось, загоревшись какой-то силой и вдохновением. Его полновзвучный, мужественный, мягкий голос, которым он владел в совершенстве и с безукоризненным вкусом, ласкал слух и волновал сердца. Ричард, радостный, как после победы, призвал всех к тишине кстати подобранным стихом:

Слушайте, люди, в саду или в зале -

с рвением одновременно покровителя и ученика рассадил всех вокруг певца и добился того, что они замолчали. Наконец он уселся сам, всем видом выражая ожидание и интерес, но в то же время храня на лице печать серьезности, приличествующей подлинному ценителю. Придворные обратили свои взоры на короля, чтобы следить за его переживаниями и подражать ему, а Томас де Во зевал во весь рот, как человек, который скрепя сердце подверг себя докучливому испытанию. Блондель пел, конечно, по-нормански; приводимые ниже стихи передают содержание и стиль его песни.

БАЛЛАДА О КРОВАВОЙ ОДЕЖДЕ

Где гордо вознесся средь мирных долин
Стольный град Беневент, страны властелин,
В тот час, когда запад окрасил в кармин
Шатры паладинов, грозы сарацин,
Накануне турнира, без свиты, один,
Юный паж спустился в лагерь с вершин.
«Где, укажите мне, здесь чужанин,
Томас из Кента, Британии сын?»

Вот скромный шатер: сквозь вечерний
туман

Блестит в нем только доспехов чекан,
И статный силач из страны англичан
Сам правит в кольчуге какой-то изъян
(Позвать оружейника — тощ карман).
Он завтра в доспехи оденет свой стан,
И завтра увидят, как смел он и рьян,
Дама его и святой Иоанн.
«Хозяйка моя, — юный паж сказал, -
Госпожа Беневента, ты же так мал,

Из ничтожнейших самый ничтожный
вассал.

Но тот, кто мечтает о высях скал,
Перепрыгнуть должен бездонный провал
И должен быть так безрассудно удал,
Чтоб все увидали, что он не бахвал,
Что дерзость он доблестью оправдал».
Рыцарь снова склонился — так чтят алтари,

-

А юный посланец молвил: «Смотри,
Вот сорочка: в ней спит от зари до зари
Моя госпожа. Ты прочь убери
Щит, кольчугу и шлем, и душой воспари,
И в сорочке льняной чудеса сотвори,
Бейся, как бьются богатыри,
И покрой себя славой или умри».
Сорочку рыцарь берет не смутясь.
Он к сердцу прижал ее: «Дамы приказ
Я выполню, — молвил он, — всем напоказ,
Буду биться без лат, ничего не страшась,
Но коль не погибну на этот раз,
То для леди придет испытанья час».
Здесь кончается, так уж ведется у нас,
О кровавой одежде первый сказ.

— Хоть я и профан, но, как мне кажется, в последнем куплете ты изменил размер, мой Блондель! — сказал король.

— Совершенно верно, милорд, — ответил Блондель. — Я слышал эти стихи на итальянском языке от одного старого менестреля, встреченного мною на Кипре; и так как у меня не было времени ни перевести их точно, ни выучить наизусть, мне приходится теперь кое-как заполнять пробелы в музыке и словах, подобно крестьянину, который чинит живую изгородь хворостом.

— Клянусь честью, — сказал король, — мне нравится этот перекатывающийся, как грохот барабана, александрийский стих... По-моему, он звучит под музыку лучше, чем короткий размер.

— Допускается и тот и другой, как хорошо известно вашему величеству, — ответил Блондель.

— Разумеется, Блондель, — сказал Ричард, — и все же, думается мне, для этого куплета, когда уже ждешь, что сейчас посыплются удары, больше подходит громоносный александрийский стих, который напоминает кавалерийскую атаку; между тем как другие размеры — это переваливающаяся иноходь дамской верховой лошади.

— Как будет угодно вашему величеству, — сказал Блондель и снова заиграл вступление.

— Нет, сперва подкрепи свое воображение кубком искрящегося хиосского вина, — сказал король. — Послушай, я хотел бы, чтобы ты отказался от своей новой выдумки заканчивать строки одними и теми же строгими рифмами. Они связывают полет воображения и делают тебя похожим на человека, который танцует с путами на ногах.

— Эти путы, во всяком случае, легко отбросить, — заметил Блондель и снова стал перебирать пальцами струны, как бы показывая этим, что он предпочитает играть, а не выслушивать критические замечания.

— Но к чему их надевать, мой друг? — продолжал король. — К чему заковывать свой гений в железные кандалы? Удивляюсь, как у тебя вообще что-либо получается... Я, конечно, не мог бы сочинить и одной строфы, соблюдая столь стеснительные правила.

Блондель нагнулся и занялся струнами своей арфы, чтобы скрыть невольную улыбку, набежавшую на его лицо; но она не ускользнула от взгляда Ричарда.

— Клянусь, ты смеешься надо мной, Блондель, — сказал он. — И, право, этого заслуживает всякий, кто осмеливается разыгрывать из себя учителя, хотя ему надлежит быть учеником; но у нас, королей, дурная привычка к самонадеянности... Ну, продолжай свою песню, дорогой Блондель, продолжай по своему разумению; и это будет лучше, нежели все, что мы можем посоветовать, хотя нам и необходимо было высказаться.

Блондель снова запел, и так как он умел импровизировать, то не преминул воспользоваться указаниями короля, испытывая при этом, вероятно, некоторое удовольствие, что ему представился случай показать, с какой легкостью он может экспромтом придать своей поэме новую форму.

СКАЗ ВТОРОЙ

Вот в день Иоанна восток заалел,
На ристалище каждый обрел свой удел:
Копья с треском ломались, и меч разил,
Победителям — честь, павшим — темень
могил.

Там много свершилось геройских дел,
Но тот был особо удал и смел,
Кто сражался без лат, покрытый льняной
Девической тонкой сорочкой ночной.
Одни нанесли ему множество ран,
Но другие щадили прекрасный стан,
Говоря: «Видно, здесь обещанье дано,
А за верность убить паладина грешно».
Вот герцог свой жезл опустил — и турнир
Окончен, фанфары вещают мир.
Но кто ж победил, что герольды гласят?
То рыцарь Сорочки, что бился без лат.
Собиралась леди на пир во дворец
И на мессу во храм. Вдруг мчится гонец
И покров подает ей, ужасный на вид:
Он изрублен мечами, разорван, пробит,
С конских морд на нем пена, и пыль, и
грязь,

И пурпурная кровь на нем запеклась.
И с мизинчик миледи, с ее ноготок
Не остался там чистым ткани клочок.
«Сэр Томас, чья родина — дальний Кент,
Шлет покров тот миледи в ее Беневент.
Кто упасть не боится — сорвет себе плод,
Перепрыгнув бездну — до цели дойдет.
Господин мой сказал: «Жизнь я ставил в
залог,

Доказать свою верность настал твой срок.
Повелевшая снять мне и латы и шлем,
Пусть открыто объявит об этом всем.
Я хочу, чтобы леди в кровавый наряд,
Который я ей посылаю назад,

В свой черед облеклась. Ткань от крови
красна,

Но позорного там не найдешь ты пятна».
Зарделась миледи от этих слов,
Но прижала к устам кровавый покров:
«И замок и храм, господину скажи,
Увидят верность его госпожи».
Когда же на мессу двинулось в храм
Шествие знатных вельмож и дам,
Миледи была — видел весь Беневент -
В кровавой сорочке сверх кружев и лент.
И позже за трапезой пышной она,
Отцу поднося его кубок вина,
Сверх мантии — все лицезрели кругом -
Покрыта кровавым была полотном.
И шепот пошел по блестящим рядам,
Ужимки, смешки кавалеров и дам,
И герцог, смущеньем и гневом объят,
Метнул на виновную грозный взгляд:
«Ты смело призналась в безумье своем,
Но скоро жестоко раскаешься в том:
Вы оба — ты, Томас, и ты, моя дочь, -
Из Беневента ступайте прочь! »
Тут Томас поднялся, шатаясь от ран,
Но духом все так же отважен и рьян.
«Как кравчий — вино, так щедро в бою
Я кровь свою пролил за дочь твою.
Ты как нищую гонишь ее из ворот,
Я ж супругу свою охраню от невзгод.
И не станет она вспоминать Беневент,
Госпожою вступив в мое графство Кент».

Шепот одобрения пробежал среди слушателей, как только сам Ричард подал пример, осыпав похвалами своего любимого менестреля и в заключение подарив ему кольцо изрядной ценности. Королева поспешила преподнести любимцу мужа дорогой браслет, и многие из присутствующих рыцарей последовали примеру королевской четы.

— Неужели наша кузина Эдит, — сказал король, — стала нечувствительна к звукам арфы, которые она когда-то так любила?

— Она благодарит Блонделя за его песню, — ответила Эдит, — и вдвойне — любезного родственника за то, что тот предложил ее исполнить.

— Ты рассердилась, кузина, — сказал король, — рассердилась, потому что услышала о женщине более своенравной, чем ты. Но тебе не избавиться от меня: я провожу тебя до шатра королевы, когда вы будете возвращаться... Мы должны поговорить, прежде чем ночь сменится утром.

Королева и ее приближенные уже встали, а остальные гости покинули шатер короля. Слуги с ярко горящими факелами и охрана из лучников ожидали Беренгарию снаружи, и вскоре она уже была на пути домой. Ричард, как и намеревался, шел рядом со своей родственницей и заставил ее опереться на свою руку, так что они могли разговаривать, не опасаясь быть услышанными.

— Какой же ответ дать мне благородному султану? — спросил Ричард.

— Государи и князья церкви покидают меня, Эдит; эта новая ссора опять усилила их враждебность. Если не победой, то хоть соглашением я мог бы что-нибудь сделать для освобождения гроба господня; но увы, это зависит от каприза женщины. Я готов скорее один выйти с копьем против десяти лучших копий христианского мира, чем убеждать упрямую девицу, не понимающую собственного блага... Какой ответ, кузина, дать мне султану? Он должен быть окончательным.

— Скажи ему, — ответила Эдит, — что самая бедная из Плантагенетов предпочтет повенчаться лучше с нищетой, нежели с ложной верой.

— Может быть, с рабством, Эдит? — сказал король. — Мне кажется, ты скорее это имела в виду.

— Нет никаких оснований для подозрений, на которые ты намекаешь. Телесное рабство может внушить жалость, но рабство души вызывает только презрение. Стыдись, король веселой Англии! Ты отдал в рабство и тело и душу рыцаря, чья слава почти не уступала твоей.

— Разве я не должен был помешать своей родственнице выпить яд, загрязнив содержавший его сосуд, если не видел

другого средства внушить ей отвращение к роковому напитку? — возразил король.

— Ты сам, — ответила Эдит, — настаиваешь, чтобы я выпила яд, потому что его подносят мне в золотой чаше.

— Эдит, — сказал Ричард, — я не могу принуждать тебя к тому или иному решению; но смотри, как бы ты не захлопнула дверь, которую открывает небо. Энгаддийский отшельник, кого папы и духовные соборы считают пророком, прочел в звездах, что твое замужество примирит меня с могущественным врагом и что твоим супругом будет христианин; таким образом, он дал все основания уповать, что последствием твоего бракосочетания с Саладином будет обращение султана в христианство и приход в лоно церкви сынов Измаила. Ты должна принести жертву, а не разбивать столь счастливые надежды.

— Люди могут приносить в жертву баранов и козлов, — сказала Эдит,

— но не честь и совесть. Я слышала, что бесчестие одной христианской девицы было причиной захвата сарацинами Испании; позор другой вряд ли приведет к изгнанию их из Палестины.

— Ты считаешь позором стать императрицей? — сказал король.

— Я считаю позором и бесчестием осквернить христианское таинство, вступив в брак с неверным, которого это таинство ничем не связывает; и я считаю гнусным бесчестием, если я, чьи предки были христианскими королями, соглашусь по доброй воле стать главой гарема языческих наложниц.

— Ну что ж, кузина, — сказал король после некоторого молчания, — я не должен ссориться с тобой, хотя, как мне кажется, твое зависимое положение могло бы сделать тебя более уступчивой.

— Ваше величество, — ответила Эдит, — вы по праву унаследовали все богатства, титулы и владения рода Плантагенетов... Не пожалейте для своей бедной родственницы хотя бы небольшой доли их гордости.

— Клянусь честью, девица, — сказал король, ты выбила меня из седла одним этим словом. Ну, поцелуемся и будем друзьями. Я немедленно отправлю ответ Саладину. Но все же, кузина, не лучше

ли повременить с ответом, пока ты его не увидишь? Грворят, он поразительно красив.

— Мы никогда не встретимся, милорд.

— Клянусь святым Георгием, вы почти наверняка встретитесь, — возразил король, — ибо Саладин, несомненно, предоставит нам нейтральное место для этого нового поединка из-за знамени и будет сам присутствовать на нем. Беренгарию страшно хочется тоже посмотреть на единоборство, и я готов присягнуть, что ни одна из вас, ее подруг и приближенных, не отстанет от нее — а тем более ты, моя прекрасная кузина. Вот мы уже добрались до шатра и должны расстаться — надеюсь, без неприязни... Нет, нет, подтверди это губами, а не только рукопожатием, милая Эдит; как сюзерен, я имею право целовать моих хорошеньких вассалок.

Ричард почтительно и нежно обнял свою родственницу и зашагал назад по залитому лунным светом лагерю, напевая вполголоса те отрывки из песни Блонделя, какие он мог вспомнить.

Вернувшись к себе, он не теряя времени засел за письма к Саладину и вручил их нубийцу, приказав ему на рассвете отправиться в обратный путь к султану.

Глава XXVII

*И мы тогда услышали: «Текбир!» -
Тот клич, которым, ринувшись в атаку,
Арабы небо молят о победе.
«Осада Дамаска»*

На следующее утро Филипп Французский пригласил Ричарда для беседы, во время которой, наговорив множество фраз о своем высоком уважении к английскому брату, сообщил ему в выражениях чрезвычайно учтивых, но в то же время достаточно ясных, чтобы не быть превратно понятым, о твердом намерении вернуться в Европу и заняться приведением в порядок дел своего королевства. В оправдание он указал на то, что потери, понесенные армией крестоносцев, и внутренние раздоры не оставляют никакой надежды на успех их предприятия. Ричард протестовал, но тщетно;

и он не удивился, когда по окончании беседы получил послание от герцога австрийского и некоторых других государей, в котором они извещали о решении последовать примеру Филиппа и в достаточно резких выражениях выставляли причиной своего отхода от дела крестоносцев непомерное честолюбие и произвол Ричарда Английского. Теперь надо было отбросить всякую мысль о продолжении войны, так как рассчитывать на конечный успех больше не приходилось, и Ричард, горько скорбя о рухнувших надеждах на славу, не испытывал большого утешения от сознания, что в неудаче повинны его запальчивость и неблагоразумие, которые дали козырь в руки врагам.

— Они не осмелились бы бросить так моего отца, — сказал он де Во с досадой. — Ни одному слову их клеветы на столь мудрого короля никто не поверил бы в христианском мире; между тем как я — по собственной глупости! — дал им не только предлог бросить меня, но и возможность взвалить всю вину за разрыв на мой злосчастный характер.

Эти мысли были так мучительны для короля, что де Во обрадовался, когда прибытие посланца Саладина отвлекло внимание Ричарда в другую сторону.

Новым послом был эмир, которого султан очень уважал и которого звали Абдалла эль-хаджи. Он вел свой род от семьи пророка, и предки его принадлежали к племени хашем; о его высоком происхождении свидетельствовала зеленая чалма огромных размеров. Он трижды совершил путешествие в Мекку, отчего и произошло его прозвище эль-хаджи, то есть паломник. Несмотря на такое множество причин для притязаний на святость, Абдалла был (для араба) общительный человек, который любил веселую беседу и забывал о подобающей ему важности, если представлялся случай в тесной компании осушить, не опасаясь сплетен, флягу живительного вина. Он обладал также мудростью государственного деятеля, и Саладин не раз пользовался его услугами при различных переговорах с христианскими государями, главным образом с Ричардом, который лично знал эль-хаджи и был к нему весьма расположен. Посол Саладина охотно согласился предоставить подходящее место для поединка и снабдить охранными грамотами всех, кто пожелает присутствовать на нем; он предложил, что сам будет заложником, если нужна

гарантия его верности. Увлечшись обсуждением подробностей предстоящего единоборства на ристалище, Ричард вскоре забыл о своих обманутых надеждах и о близком распаде союза крестоносцев.

Для поединка было избрано место, расположенное почти на одинаковом расстоянии от христианского и сарацинского лагерей и известное под названием «Алмаз пустыни». Договорились о том, что Конрад Монсерратский, защищающаяся сторона, и его поручители эрцгерцог австрийский и гроссмейстер ордена тамплиеров явятся туда в назначенный для поединка день в сопровождении не больше чем ста вооруженных всадников; что Ричард Английский и его брат Солсбери, которые поддерживают обвинение, придут с таким же числом сторонников для защиты своего заступника; и что султан приведет с собою охрану из пятисот отборных воинов — отряд, который следовало считать по силе лишь равным двумстам христианским рыцарям. Знатные лица, приглашенные каждой из сторон посмотреть на поединок, должны были явиться без доспехов, имея при себе только меч. Султан брал на себя подготовку ристалища, устройство помещения и снабжение пищей всех, кто будет присутствовать на торжественной церемонии. В своем письме Саладин в весьма учтивых выражениях высказывал удовольствие, предвкушаемое им от мирной личной встречи с Мелеком Риком, и свое горячее стремление сделать его пребывание у себя в гостях как можно более приятным.

После того как все предварительные переговоры были закончены и их результаты доведены до сведения Конрада и его поручителей, хаджи Абдалла был принят в тесном кругу и с восторгом слушал пение Блонделя. Предусмотрительно спрятав свою зеленую чалму и надев вместо нее греческую шапочку, он в благодарность за наслаждение, полученное им от музыки норманского менестреля, исполнил персидскую застольную песню, а затем осушил добрую флягу кипрского вина в доказательство того, что слово у него не расходится с делом. На другой день, серьезный и трезвый, как пьющий лишь воду Мирглип, он простерся ниц перед Саладином и доложил ему о результатах своего посольства.

Накануне дня, назначенного для поединка, Конрад и его друзья

на рассвете двинулись в путь, направляясь к условленному месту. В тот же час и с той же целью Ричард также покинул лагерь, однако, как было условлено, он поехал другой дорогой — предосторожность, которую сочли необходимой, чтобы предотвратить возможность ссоры между вооруженными приспешниками обеих сторон.

Сам славный король не имел желания с кем-нибудь ссориться. Он радостно предвкушал отчаянную кровавую схватку на ристалище, и охватившее его веселое возбуждение могло бы быть еще сильнее лишь в том случае, если бы он сам, своей королевской особой, был одним из участников единоборства; и он снова готов был обнять всех, даже Конрада Монсерратского. Легко вооруженный, в богатом одеянии, счастливый, как жених накануне свадьбы, Ричард гарцевал рядом с паланкином королевы Беренгарии, обращая ее внимание на примечательные места, мимо которых они проезжали, и оглашая стихами и песнями негостеприимные просторы пустыни. Во время паломничества королевы в Энгаддийский монастырь ее путь проходил по другую сторону горного хребта, так что для нее и для ее свиты ландшафт пустыни был новым. Хотя Беренгария слишком хорошо знала характер мужа и старалась делать вид, будто интересуется тем, что ему было угодно говорить или петь, все же, очутившись в этих мрачных местах, она не могла не испытывать свойственного женщинам страха. Их сопровождала такая малочисленная охрана, что она казалась чем-то вроде движущегося пятнышка среди бескрайней равнины; к тому же королеве было известно, что они находятся не очень далеко от лагеря Саладина и в любой миг могут быть захвачены врасплох и сметены превосходящим численностью отрядом мчащейся как вихрь конницы, если только язычник окажется вероломным и воспользуется столь соблазнительной возможностью. Но когда Беренгария высказала свои подозрения Ричарду, тот с гневом и презрением отверг их.

— Сомневаться в честности благородного султана, — сказал он, — было бы хуже неблагодарности.

Однако сомнения и страхи, волновавшие робкую королеву, не раз крадывались и в душу Эдит Плантагенет, которая обладала более твердым характером и более трезвым умом. Она не настолько доверяла честности мусульман, чтобы чувствовать себя

совершенно спокойной, находясь почти всецело в их власти; и если бы пустыня вокруг внезапно огласилась криками «аллаху» и отряд арабской конницы устремился на них, как ястребы на добычу, она, конечно, испугалась бы, но не очень удивилась. Эти подозрения ни в коей мере не ослабели, когда под вечер был замечен одинокий всадник, которого по чалме и длинному копыю легко было признать за араба; подобно парящему в воздухе соколу, он, казалось, что-то высматривал с вершины небольшого холма и при появлении королевского кортежа мгновенно умчался с быстротой той же птицы, когда она падает камнем с высоты и исчезает за горизонтом.

— Мы, должно быть, приближаемся к условленному месту, — сказал король Ричард. — Этот всадник — один из дозорных Саладина... Я как будто слышу звуки мавританских рогов и цимбал. Постройтесь, друзья, и тесно, по-военному окружите дам.

Едва он сказал это, как все рыцари, оруженосцы и лучники поспешно заняли назначенные им места и дальше двигались сомкнутой колонной, которая теперь казалась еще малочисленнее. Они, вероятно, не испытывали страха, но, говоря по правде, к их любопытству примешивалась тревога, когда они внимательно прислушивались к дикому шуму мавританской музыки, все явственней доносившейся с той стороны, где исчез арабский всадник.

Де Во прошептал королю:

— Милорд, не следует ли отправить пажа на вершину того песчаного холма? Или, быть может, вам угодно, чтобы я поскакал вперед? Судя по всему этому шуму и грохоту, мне кажется, что если за холмами не больше пятисот человек, то половина свиты султана — барабанщики и цимбалисты... Пришпорить мне коня?

Барон натянул повод и уже собирался вонзить шпоры в бока своей лошади, как вдруг король воскликнул:

— Ни в коем случае! Такая предосторожность будет означать недоверие и в то же время едва ли поможет в случае какой-нибудь неожиданности, опасаться которой, по-моему, нет оснований.

Так они двигались плотным, сомкнутым строем, пока не перевалили за линию низких песчаных холмов и не увидели перед собой цель своего путешествия; их взору предстало великолепное, но вместе с тем встревожившее их зрелище.

«Алмаз пустыни», еще так недавно уединенный источник, о существовании которого среди бесплодных песков можно было догадаться только по одиноким купам пальм, стал теперь центром лагеря, где повсюду сверкали расшитые знамена и позолоченные украшения, отливавшие тысячью различных тонов в лучах заходящего солнца. Крыши больших шатров были алые, желтые, светло-синие и других ослепительно ярких цветов, а шатровые столбы, или стояки, были наверху украшены шарами и шелковыми флажками. Но, кроме этих шатров для избранных, были еще обыкновенные черные арабские палатки; их количество показалось Томасу де Во чудовищным, достаточным, на его взгляд, чтобы вместить, по принятому на Востоке обыкновению, армию в пять тысяч человек. Арабы и курды, число которых вполне соответствовало размерам лагеря, поспешно стекались со всех сторон, ведя в поводу своих лошадей, и сбор сопровождался ужасающим грохотом военной музыки, во все времена воодушевлявшей арабов на битвы.

Вскоре вся эта спешенная конница беспорядочно сгрудилась перед лагерем, и по сигналу, поданному пронзительным криком и на миг заглушившему резкие металлические звуки музыки, все всадники вскочили в седла. Туча пыли поднялась при этом маневре и скрыла от Ричарда и его спутников лагерь, пальмы и отдаленную цепь гор, а также войско, чье внезапное движение взметнуло эту тучу; поднявшись высоко над головами, она принимала самые причудливые очертания витых колонн, куполов и минаретов. Из-за пыльной завесы снова слышался пронзительный крик. Это было сигналом коннице двинуться вперед, и всадники пустили лошадей вскачь, построившись на ходу таким образом, чтобы одновременно охватить спереди, с боков и сзади маленький отряд телохранителей Ричарда, в мгновение ока оказавшийся окруженным. Король и его свита чуть не задохнулись в пыли, которая обволакивала их со всех сторон и в клубах которой то появлялись, то исчезали страшные фигуры и иступленные лица сарацин, с дикими криками и воплями потрясавших и как попало размахивавших пиками. Некоторые всадники осаживали своих лошадей лишь тогда, когда от рыцарей их отделяло расстояние, равное длине копья, а те, что остались сзади, выпускали поверх голов своих соплеменников и христиан густые тучи стрел. Одна из них ударилась в паланкин

королевы, которая испустила громкий крик, и лицо Ричарда мгновенно вспыхнуло гневным румянцем.

— Святой Георгий! — воскликнул он. — Мы должны образумить это языческое отродье!

Но Эдит, чей паланкин был рядом, высунула голову и, держа в руке стрелу, крикнула:

— Царственный Ричард, подумай, что ты делаешь! Взгляни, они без наконечников!

— Благородная, разумная девица! — воскликнул Ричард. — Клянусь небом, ты посрамила всех нас, превзойдя быстротой соображения и наблюдательностью... Не тревожьтесь, мои добрые англичане, — крикнул он своим спутникам, — их стрелы без наконечников, да и на пиках нет железного острия. Это они так приветствуют нас по своему варварскому обыкновению, хотя они, конечно, обрадовались бы, испугайся мы и приди в смятение. Вперед — медленно, но решительно.

Маленькая колонна подвигалась вперед, окруженная со всех сторон арабами, оглашавшими воздух самыми дикими и пронзительными криками; лучники тем временем показывали свою ловкость, пуская стрелы так, что они пролетали мимо рыцарских шлемов, едва не задевая их, а копейщики обменивались столь крепкими ударами своих тупых пик, что не один из них вылетел из седла и чуть не расстался с жизнью от такой грубой забавы. Вся эта суматоха, хотя она и должна была выражать дружеское приветствие, казалась европейцам несколько подозрительной.

Когда они проехали половину пути до лагеря — король Ричард и его спутники в центре, а вокруг беспорядочная орда всадников, которые вопили, гикали, сражались между собой, и мчались вскачь, создавая невообразимую сумятицу, — снова послышался пронзительный крик, и вся эта дикая конница, охватывавшая спереди и с флангов немногочисленный отряд европейцев, свернула в сторону, построилась в длинную плотную колонну и, заняв место позади воинов Ричарда, продолжала путь в относительном порядке и тишине. Облако пыли впереди рассеялось, и сквозь него показалась двигавшаяся навстречу англичанам конница совершенно иного и более обычного вида в полном боевом вооружении, достойная служить личной охраной самого гордого из восточных монархов. Великолепный отряд

состоял из пятисот человек, и каждая лошадь в нем стоила княжеского выкупа. На всадниках, юных грузинских и черкесских рабах, были шлемы и кольчуги из блестящих стальных колец, которые сверкали как серебро, одежда самых ярких цветов, у некоторых из золотой и серебряной парчи, кушаки, обвитые золотыми и серебряными нитями, роскошные чалмы с перьями и драгоценными камнями; а эфесы и ножны их сабель и кинжалов дамасской стали были украшены золотом и самоцветами.

Это великолепное войско двигалось под звуки военной музыки и, поравнявшись с христианскими рыцарями, расступилось на обе стороны, образовав проход между рядами. Теперь Ричард понял, что приближается сам Саладин, и занял место во главе своего отряда. Прошло немного времени, и вот, окруженный телохранителями, в сопровождении придворных и тех отвратительных негров, что сторожат восточные гаремы и чье уродство казалось еще более страшным из-за богатства их одеяний, появился султан, весь вид и осанка которого говорили, что он тот, у кого на челе природой начертано: «Се царь!» В своей белоснежной чалме, такого же цвета плаще и широких восточных шароварах, подпоясанный кушаком алого шелка, без всяких других украшений, Саладин казался, пожалуй, одетым беднее, чем любой из его телохранителей. Но более внимательный взгляд мог обнаружить в его чалме бесценный бриллиант, прозванный поэтами «Морем света», на руке у него сверкал вделанный в перстень алмаз, на котором была выгравирована его печать и который стоил, вероятно, не меньше, чем все драгоценные камни в английской короне, а сапфир в рукояти его ятагана по ценности немногим уступал алмазу. Следует еще добавить, что для защиты от пыли, в окрестностях Мертвого моря похожей на мельчайший пепел, или, может быть, из восточной гордости, султан носил что-то вроде вуали, прикрепленной к чалме и частично скрывавшей его благородное лицо. Саладин ехал на молочно-белом арабском коне, который словно сознавал, какого благородного седока он на себе несет, и гордился им.

Два доблестных монарха — оба они по праву могли так называться, — не нуждаясь в том, чтобы их представили, соскочили одновременно с лошадей; войска замерли, музыка внезапно прекратилась, и в глубокой тишине они сделали

несколько шагов навстречу друг другу и, вежливо поклонившись, обнялись затем как братья, как равные. Никто больше не обращал внимания на великолепное зрелище, какое являли взору христианские рыцари и мусульманские воины, все смотрели только на Ричарда и Саладина, да и они сами видели лишь друг друга. Впрочем, во взгляде Ричарда, обращенном на Саладина, было больше напряженного любопытства, чем во взгляде султана, устремленном на него; и султан первый нарушил молчание:

— Мелек Рик столь же желанный гость для Саладина, как эта вода для пустыни. Надеюсь, многочисленное войско не вызывает в нем подозрений. Не считая вооруженных рабов моей личной охраны, те, что явились приветствовать тебя и сейчас стоят вокруг, не сводя изумленных глаз, — все они, до самого последнего человека, знатные вожди моей тысячи племен. Ибо кто останется дома, если имеет право притязать на участие во встрече такого великого государя, как Ричард, чьим грозным именем няньки пугают ребят даже в песках Йемена, а вольный араб укрощает норовистого коня!

— И это все арабская знать? — спросил Ричард, окидывая взглядом ряды диких воинов в хайках, со смуглыми от загара лицами, белыми как слоновая кость зубами и с горевшими необычайным огнем черными глазами, которые свирепо сверкали из-под тюрбанов; одеты они были по большей части просто, даже бедно.

— Они имеют право так называться, — сказал Саладин. — Но хотя их много, это не нарушает условий нашего соглашения, так как у них нет оружия, кроме сабель... Они даже сняли железные наконечники с копий.

— Боюсь, — пробормотал де Во по-английски, — что они оставили наконечники неподалеку и им ничего не стоит быстро насадить их... Ну и ну, славная палата пэров, и Уэстминстер-холл оказался бы для нее, пожалуй, слишком тесен.

— Молчи, де Во, — сказал Ричард. — Я приказываю тебе... Благородный Саладин, — обратился он к султану, — подозрения и ты — вещи несовместные... Смотри, — продолжал он, указывая на паланкин, — я тоже привел с собой несколько доблестных воинов, и даже, вопреки соглашению, вооруженных, ибо лучезарные глаза и красота — это такое оружие, которое нельзя с себя снять.

Султан, обернувшись к паланкину, поклонился так низко, словно его взор был обращен к Мекке, и в знак благоговения поцеловал песок.

— Они не побоятся и более близкой встречи, брат мой, — сказал Ричард. — Если ты пожелаешь подъехать к паланкину, занавески будут тотчас же раздвинуты.

— Да сохранит меня аллах! — воскликнул Саладин. — Ведь все арабы, что смотрят на нас, сочтут позором для благородных дам, если они покажутся с незакрытыми лицами.

— Ну, тогда ты их увидишь не на людях, брат мой, — ответил Ричард.

— К чему? — печально сказал Саладин. — Для надежд, которые я лелеял, твое последнее письмо было как вода для огня. Зачем мне снова разжигать пламя, если оно может лишь спалить меня, но не согреть?.. Не желает ли мой брат проследовать в шатер, приготовленный для него его слугой? Мой главный черный раб получил распоряжение принять принцесс... Мои придворные позаботятся о твоих спутниках, а мы сами будем служить царственному Ричарду.

Саладин повел короля к великолепному шатру, где было все, что только могла изобрести роскошь. Де Во, следовавший за своим господином, снял с него длинный плащ для верховой езды (сара) ³¹, и Ричард предстал перед Саладином затянутый в узкое платье, которое выгодно обрисовывало его могучее, пропорциональное телосложение и представляло резкий контраст с развевающимися одеждами, скрывавшими сухощавую фигуру восточного монарха. Особое внимание сарацина привлек двуручный меч Ричарда с широким прямым клинком необыкновенной длины, доходившим почти до плеча его владельца.

— Если бы я сам не видел, — сказал Саладин, — как сверкал этот меч, подобно мечу Азраила, в первых рядах сражающихся, я с трудом поверил бы, что человеческая рука в состоянии с ним управиться. Могу ли я попросить Мелека Рика нанести удар им — не для того, чтобы сокрушить врага, а лишь для испытания силы?

— Охотно, благородный Саладин, — ответил Ричард.

31

Плащ (исп.)

И, оглянувшись в поисках чего-нибудь, на чем можно было показать свою силу, он увидел у одного из слуг стальную булаву с рукоятью из того же материала около полутора дюймов в поперечнике. Ричард взял эту булаву и положил на деревянный чурбан.

Де Во, беспокоясь за честь своего господина, прошептал по-английски:

— Ради святой девы, подумайте, что вы собираетесь делать, милорд! Ваши силы еще полностью не восстановлены... Не давайте неверному повода торжествовать.

— Замолчи, дурак! — сказал, сверкнув глазами, Ричард, и не помышлявший отказываться от своего намерения. — Неужели ты думаешь, что я могу осрамиться перед ним?

Король, держа свой блестящий широкий меч двумя руками, занес его над левым плечом, обвел им вокруг головы и с мощью какой-то чудовищной машины обрушил на железный брус, и тот, перерубленный надвое, покатился на землю, словно молодое деревцо, срезанное кривым ножом дровосека.

— Клянусь головой пророка, замечательный удар! — сказал султан, тщательно осматривая обе части железного бруса и лезвие меча, которое было так хорошо закалено, что на нем не осталось никаких следов.

Затем Саладин взял большую, мускулистую руку Ричарда и, улыбаясь, положил ее рядом со своей, худой и узкой, неизмеримо уступающей по силе.

— Смотри, смотри хорошенько, — сказал де Во по-английски. — Долго тебе придется ждать, чтобы твои длинные пальцы щеголя сотворили подобное твоим красивым позолоченным серпом.

— Умолкни, де Во, — сказал Ричард. — Клянусь святой девой, он понимает или догадывается, о чем ты говоришь... Не будь грубияном, прошу тебя!

И действительно, султан тотчас же сказал:

— Я тоже хотел бы показать кое-что... Хотя стоит ли обнаруживать слабым, насколько они уступают сильным? Но все же в каждой стране свои упражнения в силе и ловкости, и то, что сейчас увидит Мелек Рик, может быть, будет для него ново.

С этими словами он взял лежавшую на полу шелковую

пуховую подушку и поставил ее на ребро.

— Может ли твой меч, брат мой, перерубить эту подушку? — спросил он короля Ричарда.

— Разумеется нет, — ответил король. — Ни один меч на земле, будь то даже Эскалибар короля Артура, не может перерубить того, что не оказывает сопротивления при ударе.

— Тогда смотри, — сказал Саладин.

И он засучил рукава, обнажив до плеча руку, тонкую и худую, но с тугими узлами крепких мышц от постоянных упражнений. Он вынул из ножен саблю, изогнутое узкое лезвие которой не блестело, как франкские мечи, а отливало тускло-голубым цветом и было испещрено бесчисленными извилистыми линиями, говорившими о том, с какой тщательностью оружейник сваривал металл. Держа наготове это оружие, на вид столь жалкое по сравнению с мечом Ричарда, султан перенес тяжесть своего тела на левую ногу, чуть-чуть выставленную вперед, затем несколько раз качнулся, как бы прицеливаясь, и, быстро шагнув вперед, рассек подушку. Лезвие сабли скользнуло так молниеносно и легко, что подушка, казалось, сама разделилась на две половины, а не была разрезана.

— Это проделка фокусника, — сказал де Во; бросившись вперед, он схватил часть перерубленной подушки, словно желал убедиться в отсутствии обмана. — Тут какое-то колдовство.

Султан, по-видимому, понял его слова, так как снял с себя вуаль, которая до тех пор скрывала его лицо, накиннул ее на лезвие сабли и поднял саблю, обращенную лезвием вверх. Сделав резкий взмах, он разрезал свободно висевшую вуаль на две части, которые разлетелись в разные стороны, и все зрители снова могли убедиться в исключительной закалке и остроте оружия, равно как в необыкновенном искусстве того, кто им действовал.

— Честное слово, брат мой, — сказал Ричард, — ты бесподобно владеешь саблей, и встретиться с тобой небезопасно! Но все же я склонен скорее положиться на добрый английский удар, и там, где мы не можем достигнуть цели ловкостью, мы прибегаем к силе. Однако ты поистине столь же искусен в нанесении ран, как мой мудрый хаким в их исцелении. Надеюсь, я увижу ученого лекаря... Мне за многое следует его отблагодарить, и я привез ему небольшой подарок.

Пока он говорил, Саладин сменил свою чалму на татарскую шапку. Едва он это сделал, как де Во раскрыл свой огромный рот и большие круглые глаза, а Ричард смотрел с не меньшим изумлением, когда султан, изменив голос, степенно заговорил:

— Больной, как говорит поэт, пока он слаб, узнает врача по шагам; но когда он выздоровел, не узнает даже его лица, хотя и смотрит прямо на него.

— Чудо! Чудо! — воскликнул Ричард.

— Дьявольской работы, разумеется, — сказал Томас де Во.

— Надо же, — сказал Ричард, — чтобы я не признал моего ученого хакима лишь из-за отсутствия на нем шапки и плаща и чтобы обнаружил его в моем царственном брате Саладине!

— Так часто бывает на свете, — ответил султан. — Рваная одежда не всегда делает человека дервишем.

— Так это благодаря твоему вмешательству, — сказал Ричард, — рыцарь Леопарда избежал смерти... и благодаря твоему искусству он преобразился и вернулся в мой лагерь!

— Совершенно верно, — ответил Саладин. — Я достаточно сведущ во врачевании и понимал, что дни его сочтены, если раны, нанесенные его чести, будут и дальше кровоточить. После того как мой собственный опыт с переодеванием прошел удачно, я не ожидал, что ты так легко узнаешь его в новом облике.

— Случайность, — сказал король Ричард (он имел, вероятно, в виду то обстоятельство, что ему довелось прикоснуться губами к ране мнимого нубийца), — помогла мне сначала узнать, что цвет его кожи не был естественным; после того как я сделал это открытие, догадаться об остальном было уже просто, ибо его фигуру и черты лица не легко забыть. Я твердо рассчитываю, что завтра он выступит в поединке.

— Он готовится к этому и полон надежд, — сказал султан. — Я снабдил его вооружением и конем; судя по тому, что я наблюдал при различных обстоятельствах, он доблестный рыцарь.

— А теперь он знает, — спросил Ричард, — перед кем он в долгу?

— Да, я был вынужден признаться, кто я такой, когда раскрыл ему свои намерения.

— А он в чем-нибудь тебе признался? — спросил английский король.

— Прямо — ни в чем, — ответил султан, — но из «сего, что произошло между нами, я понял, что он вознес свою любовь слишком высоко и не может надеяться на счастливый исход.

— Так ты знаешь, что его смелая и дерзкая страсть стояла на пути твоих собственных планов? — спросил Ричард.

— Я мог об этом догадаться, — ответил Саладин. — Но его страсть существовала еще до того, как возникли мои планы... и, теперь я могу добавить, вероятно переживет их. Честь не позволяет мне мстить за свое разочарование тому, кто совершенно к нему непричастен. И если эта высокородная дама предпочитает его мне, то кто осмелится утверждать, что она не воздает должное рыцарю одной с ней веры и полному благородства!

— Да, но слишком незнатного происхождения, чтобы породниться с Плантагенетами, — высокомерно сказал Ричард.

— Возможно, что таковы взгляды во Франгистане, — возразил султан.

— Наши восточные поэты говорят, что храбрый погонщик верблюдов достоин поцеловать в уста прекрасную королеву, тогда как трусливый принц недостойн прикоснуться губами к подолу ее платья... Но с твоего разрешения, благородный брат, я должен на время покинуть тебя, чтобы принять эрцгерцога австрийского и того рыцаря-назарейнина; они гораздо меньше заслуживают гостеприимства, но все же я обязан встретить их должным образом — не ради них, но ради моей чести, ибо, что сказал мудрый Локман? «Не говори, что пища, отданная чужестранцу, для тебя потеряна, так как если от нее прибавилось силы и жира в его теле, то не меньшую пользу она принесла и тебе, придав почета и возвеличив доброе имя».

Сарацинский монарх покинул короля Ричарда и, указав ему больше знаками, чем словами, где стоял шатер королевы и ее свиты, отправился принимать маркиза Монсерратского и его спутников. Великодушный султан предоставил в их распоряжение, хотя и менее охотно, столь же роскошные помещения. Высоким гостям Саладина, каждому в занимаемый им шатер, было принесено обильное угощение, состоявшее из восточных и европейских кушаний; султан проявил такое внимание к привычкам и вкусам гостей, что приставил греческих рабов подносить им кубки вина, к которому последователи

мусульманской религии относятся с отвращением. Ричард еще не закончил трапезы, как вошел старый эмир, недавно доставивший письмо султана в лагерь христиан, и принес описание церемониала на завтрашний день и правила, обязательные для участников поединка. Ричард, знавший склонности своего старого знакомого, предложил ему распить флягу ширазского вина. Однако Абдалла с печальным видом объяснил, что сейчас воздержание для него необходимо, иначе он рискует жизнью, ибо Саладин, снисходительный ко многим прегрешениям, соблюдает законы пророка и других заставляет их соблюдать под страхом сурового наказания.

— В таком случае, — сказал Ричард, — коль скоро он не любит вина, этой отрады человеческого сердца, нечего надеяться на его обращение в христианство, и предсказание безумного энгаддийского иерея — лишь пустые слова, брошенные на ветер.

Затем король занялся установлением правил поединка, что отняло порядочно времени, так как по некоторым вопросам было необходимо обменяться мнениями с противной стороной и с султаном.

Наконец условились обо всем и составили документ на франкском и арабском языках, подписанный Саладином, как судьей поединка, и Ричардом с Леопольдом, как поручителями участников. Вечером, когда эмир окончательно распрощался с королем, вошел де Во.

— Доблестный рыцарь, который будет завтра сражаться, — сказал он,

— желает знать, не может ли он сегодня явиться, чтобы выразить свое уважение царственному поручителю.

— Ты видел его, де Во? — спросил король улыбаясь. — Узнал старого знакомого?

— Клянусь Ланеркостской богородицей, — ответил де Во, — в этой стране происходит столько неожиданностей и перемен, что моя бедная голова идет кругом. Я, пожалуй, не узнал бы сэра Кеннета Шотландского, если бы его славный пес, который одно время был на моем попечении, не подошел ко мне и не завилял хвостом; и даже тогда я признал собаку лишь по ее широкой груди, округлым лапам и лаю, ибо несчастная борзая была размалевана, точно какая-то венецианская куртизанка.

— В животных ты разбираешься лучше, чем в людях, де Во, — заметил король.

— Не стану отрицать этого, — сказал де Во. — Я часто убеждался, что они честнее людей. К тому же вашему величеству иногда бывает угодно называть меня скотом; а кроме того, я служу Льву, которого все признают царем зверей.

— Клянусь святым Георгием, ты нанес мне недурной удар, — сказал король, — я всегда говорил, что ты не лишен остроумия. Но, черт возьми, тебя нужно бить молотом по голове, чтобы оно засверкало. Вернемся, однако, к делу: хорошо ли вооружен и снаряжен наш доблестный рыцарь?

— Полностью, мой повелитель, и великолепно. Я прекрасно знаю его доспехи — это те самые, что венецианский поставщик предлагал за пятьсот безантов вашему величеству до того как вы заболели.

— И ручаюсь, он продал их язычнику-султану, который дал на несколько дукатов больше и уплатил наличными. Эти венецианцы продали бы и гроб господень!

— Теперь эти доспехи послужат самой благородной цели, — сказал де Во.

— Благодаря великодушию сарацина, а не корыстолюбию венецианцев.

— Ради бога, ваше величество, будьте осторожней, — сказал обеспокоенный де Во. — Все наши союзники покинули нас под предлогом обид, нанесенных тому или иному из них; мы не можем надеяться на успех на суше, и нам не хватает только поссориться с земноводной республикой и лишиться возможности убраться восвояси морем!

— Я постараюсь, — нетерпеливо ответил Ричард. — Но перестань меня поучать. Скажи лучше, есть ли у рыцаря духовник? Это меня больше интересует.

— Есть, энгаддийский отшельник, который уже раз исполнял эту роль, когда рыцарь готовился к смерти, находится при нем и теперь; его привела сюда молва о предстоящем поединке.

— Это хорошо, — сказал Ричард. — А теперь относительно просьбы рыцаря. Передай ему, что Ричард примет его после того, как он исполнит свой долг здесь, у «Алмаза пустыни», и тем загладит преступление, совершенное им на холме святого Георгия.

Когда будешь проходить по лагерю, извести королеву, что я прибуду к ней в шатер, и скажи Блонделю, чтобы он тоже явился туда.

Де Во ушел, и примерно час спустя Ричард, завернувшись в плащ и взяв свою цитру, направился к шатру королевы. Несколько арабов попались ему навстречу, но они отворачивались и устремляли взор в землю; впрочем, как отметил Ричард, разминувшись с ним, они внимательно смотрели ему вслед. Отсюда он справедливо заключил, что они знали, кто он такой, но либо по приказанию султана, либо просто из восточной вежливости делали вид, будто не замечают монарха, желающего оставаться неузнанным.

Когда король достиг шатра королевы, он увидел стражу из тех несчастных служителей, которым восточная ревность поручает охрану женской половины дома. Блондель прохаживался перед входом и время от времени перебирал струны своего инструмента, а толпившиеся подле него африканцы, скаля белые, как слоновая кость, зубы, сопровождали музыку странными телодвижениями и подтягивали пронзительными неестественными голосами.

— Что ты тут делаешь с этим стадом черных скотов, Блондель? — спросил король. — Почему ты неходишь в шатер?

— Потому что для моего ремесла необходимы и голова и пальцы, — ответил Блондель, — а эти верные черные мавры грозили разрезать меня на куски, если я попытаюсь войти.

— Ну, что ж, идем со мной, — сказал король, — Я буду твоей охраной.

Негры склонили свои пики и сабли перед королем Ричардом и опустили глаза, как бы считая себя недостойными смотреть на него.

В шатре Ричард и Блондель застали Томаса де Во, беседовавшего с королевой. Пока Беренгария приветствовала Блонделя, король Ричард уселся в стороне со своей прелестной родственницей, чтобы поговорить с ней по секрету.

— Мы все еще враги, прекрасная Эдит? — спросил он шепотом.

— Нет, милорд, — ответила Эдит также вполголоса, чтобы не мешать музыке. — Никто не может питать вражду к королю Ричарду, когда ему бывает угодно быть таким, каков он есть на

самом деле: великодушным и благородным, доблестным и преисполненным чести.

С этими словами она протянула королю руку. Ричард поцеловал ее в знак примирения, а затем продолжал:

— Ты думаешь, милая кузина, что мой гнев тогда был притворным, но ты ошибаешься. Наказание, к которому я приговорил того рыцаря, было справедливо; ибо — пусть искушение было очень велико, но это не меняет дела — он не оправдал оказанного ему доверия. Но я рад, пожалуй, не меньше, чем ты, что завтрашний день даст ему возможность одержать победу и снять с себя позор, временно запятнавший его, заклеив истинного вора и предателя. Нет! Потомки, быть может, будут порицать Ричарда за безрассудную горячность, но они скажут, что, творя суд, он был справедлив, когда нужно, и милосерден, когда можно.

— Не хвали сам себя, кузен король, — сказала Эдит. — Они могут назвать твою справедливость жестокостью, а твое милосердие — капризом.

— А ты не гордись, словно твой рыцарь, который еще не облачился в доспехи, уже снимает их после победы. Конрад Монсерратский считается хорошим бойцом. Что, если шотландец потерпит поражение?

— Это невозможно! — уверенно сказала Эдит. — Я видела собственными глазами, как Конрад дрожал и менялся в лице, подобно презренному вору. Он виновен... А испытание поединком — это суд божий. Я сама без боязни сразилась бы с ним в защиту правого дела.

— Клянусь спасением души, я думаю, ты сделала бы это, девица, — сказал король, — и притом победила бы; ибо нет на свете человека, который с большим правом носил бы имя Плантагенет, нежели ты.

Он умолк, а затем добавил очень серьезным тоном:

— Ты должна и впредь помнить, к чему тебя обязывает твое происхождение.

— Что означает этот совет, столь серьезно преподанный мне сейчас?

— спросила Эдит. — Разве я так легкомысленна, что забываю о величии своего рода и о своем положении?

— Скажу тебе прямо, Эдит, и как другу. Кем будет для тебя этот рыцарь, если он уйдет победителем с ристалища?

— Для меня? — воскликнула Эдит, вся покраснев от стыда и негодования. — Разве возможно, чтобы он был для меня чем-нибудь большим, нежели доблестным рыцарем, заслужившим такую милость, какую могла бы оказать ему королева Беренгария, если бы он выбрал своей дамой ее, а не менее достойную особу? Самый заурядный рыцарь может посвятить себя служению императрице, но слава его избранницы, — добавила она с гордостью, — должна быть его единственной наградой.

— Однако он преданно служил тебе и много страдал из-за тебя, — сказал король.

— Я вознаградила его служение почестями и похвалами, а его страдание — слезами, — ответила Эдит. — Если бы он хотел другой награды, ему следовало бы подарить своим вниманием равную ему.

— Так ты ради него не надела бы окровавленной ночной рубашки? — спросил король Ричард.

— Конечно нет, — ответила Эдит, — как я и не потребовала бы, чтобы он подверг опасности свою жизнь поступком, в котором было больше безумия, чем доблести.

— Девушки всегда так говорят, — сказал король. — Но когда поощряемый влюбленный становится настойчивей, они со вздохом заявляют, что звезды решили по-иному.

— Ваше величество уже второй раз угрожает мне влиянием моего гороскопа, — с достоинством ответила Эдит. — Поверьте, милорд, какова бы ни была сила звезд, ваша бедная родственница никогда не выйдет замуж низа неверного, ни за безродного искателя приключений... Разрешите мне послушать пение Блонде-ля, ибо тон ваших королевских увещаний не так уж приятен для моих ушей.

В этот вечер больше не произошло ничего достойного внимания.

Глава XXVIII

*Ты слышишь битвы шум? Сошлись
Копье с копьем и конь с конем.*

Грей

Из-за жары было решено, что судебный поединок, послуживший причиной такого сближения людей различных национальностей у «Алмаза пустыни», должен состояться через час после восхода солнца. Обширное ристалище, устроенное под наблюдением рыцаря Леопарда, представляло собой огороженное пространство плотного песка длиной в сто двадцать ярдов и шириной в сорок. Оно тянулось в длину с севера на юг, чтобы обоим противникам восходящее солнце светило сбоку и никто не имел преимущества. Трон Саладина стоял с западной стороны ограды, против самого центра арены, где скорее всего должна была произойти схватка. Напротив находилась галерея с закрытыми окнами, расположенными так, что дамы, для которых она предназначалась, могли наблюдать за поединком, оставаясь сами невидимыми. С обоих концов ристалища в ограде были ворота для въезда. Приготовили троны и для европейских государей, но эрцгерцог, заметив, что его трон ниже, чем предназначенный для Ричарда, отказался занять его. Львиное Сердце, который был готов на всяческие уступки, лишь бы какая-нибудь формальность не помешала поединку, охотно согласился, чтобы поручители, как их называли, оставались во время сражения на лошадях. У одного конца ристалища расположились сторонники Ричарда, а на противоположном — те, кто сопровождал Конрада. Вокруг трона султана выстроились его великолепные телохранители-грузины, а вдоль остальной части ограды теснились зрители — христиане и мусульмане.

Задолго до рассвета около ристалища собралось еще больше сарацин, чем накануне вечером при встрече Ричарда. Когда первый луч сияющего дневного светила блеснул над пустыней, раздался звучный призыв самого султана «На молитву, на молитву! », подхваченный всеми, кому усердие в делах веры и занимаемое положение давали право выступать в роли муэдзинов. Это было поразительное зрелище, когда арабские воины, обратившись лицом

к Мекке, простерлись ниц, чтобы совершить молитву. Едва они поднялись с земли, солнечные лучи, быстро разгораясь, как бы подтвердили предположение, высказанное накануне лордом Гилслендом. Они вспыхивали теперь яркими отблесками на остриях многочисленных копий, которые сегодня уже были с наконечниками. Де Во указал на это своему господину, но тот нетерпеливо ответил, что вполне уверен в честности Саладина и что де Во может уйти, если боится за свою огромную тушу.

Вскоре послышались звуки тамбуринов, и все сарацинские всадники соскочили с лошадей и припали к земле, словно собираясь повторить утреннюю молитву. Это было сделано для того, чтобы дать возможность королеве с Эдит и со свитой проследовать из шатра в предназначенную для них галерею. Их сопровождали с саблями наголо пятьдесят стражей султанского гарема, которым был дан приказ изрубить на куски всякого, будь то знатный или простолюдин, кто осмелится взглянуть на проходящих дам или хотя бы поднять голову, пока прекращение музыки не оповестит всех, что они уже разместились в галерее и недоступны для любопытных взглядов.

Эта дань уважения к прекрасному полу, неукоснительно оказываемая на Востоке, вызвала со стороны королевы Беренгарии замечания, весьма нелестные для Саладина и его страны. Однако пещера, как называла галерею царственная красавица, была надежно скрыта от взоров и охранялась черными слугами, а потому Беренгарии пришлось удовольствоваться тем, что она сама видит, и оставить всякую надежду на еще большее наслаждение, которое она получила бы, если б ее видели другие.

Тем временем поручители обоих рыцарей, как того требовала их обязанность, отправились проверить, должным ли образом они вооружены и готовы ли к поединку. Эрцгерцог австрийский не спешил с выполнением этой части церемонии, так как накануне вечером особенно рьяно приналег на ширазское вино. Но гроссмейстер ордена тамплиеров, больше заинтересованный в исходе единоборства, спозаранку пришел к шатру Конрада Монсерратского. К великому его удивлению, слуги отказались его впустить.

— Вы что, не знаете меня, мошенники? — гневно спросил гроссмейстер.

— Знаем, доблестнейший и почтеннейший, — ответил оруженосец Конрада, — но даже вы не можете сейчас войти: маркиз готовится к исповеди.

— К исповеди! — воскликнул тамплиер, и в его голосе прозвучала тревога, смешанная с удивлением и презрением. — А кому, скажи на милость, будет он исповедоваться?

— Господин велел мне держать это в тайне, — сказал оруженосец.

Гроссмейстер оттолкнул его и чуть не силой ворвался в шатер.

Маркиз Монсерратский стоял на коленях у ног энгаддийского отшельника, собираясь приступить к исповеди.

— Что это значит, маркиз? — сказал гроссмейстер. — Постыдитесь, встаньте... А если вам необходимо исповедоваться, разве нет здесь меня?

— Я слишком часто исповедовался вам, — дрожащим голосом возразил Конрад, бледный от волнения. — Ради бога, гроссмейстер, уходите и дайте мне покаяться в грехах перед этим святым человеком.

— Чем он превосходит меня в святости? — спросил гроссмейстер. — Отшельник, пророк, безумец — скажи, если смеешь, чем ты лучше меня?

— Дерзкий и дурной человек, — ответил отшельник, — знай, что я подобен решетчатому окну, и божественный свет проходит сквозь него на благо другим, хотя, увы, мне он не помогает. Ты же подобен железному ставню, который сам не воспринимает света и скрывает его от всех.

— Не болтай чепухи и уходи из шатра, — сказал гроссмейстер. — Сегодня утром маркиз если и будет исповедоваться, то только мне, потому что я не расстанусь с ним.

— Таково и твое желание? — спросил отшельник Конрада. — Не думай, что я послушаюсь этого гордого человека, если ты по-прежнему жаждешь моей помощи.

— Увы! — нерешительно сказал Конрад. — Что я могу сказать тебе?.. Прощай. Мы скоро увидимся и поговорим.

— О промедление! — воскликнул отшельник. — Ты убийца души! Прощай, несчастный человек, мы увидимся не скоро. Прощай до новой встречи — где-нибудь... А что до тебя, — добавил он, обернувшись к гроссмейстеру, — трепещи!

— Трепетать! — презрительно повторил тамплиер. — Я не смог бы, если бы даже и хотел.

Отшельник не слышал его ответа, так как уже покинул шатер.

— Ну, приступай скорей, — сказал гроссмейстер, — если тебе так уж хочется заниматься этими глупостями. Слушай... По-моему, я знаю наизусть большую часть твоих прегрешений, так что мы можем пренебречь подробностями, которые отняли бы слишком много времени, и начать сразу с отпущения. Стоит ли считать пятна грязи, если мы скоро смоём их с наших рук?

— Для человека, который знает, каков ты сам, — сказал Конрад, — твои разговоры об отпущении грехов другим — святотатство.

— Это противоречит церковным канонам, маркиз, — сказал тамплиер. — Ты щепетильный человек, но не правоверный христианин. Отпущение грехов нечестивым священником столь же действительно, как и в том случае, если бы он был святым, — иначе горе было бы несчастным кающимся! Найдется ли такой раненый, который станет осведомляться, чисты ли руки у врача, накладывающего ему повязку? Так что ж, приступим к этой забаве?

— Нет, — ответил Конрад, — я скорее умру без покаяния, чем допущу надругательство над святым таинством.

— Полно, благородный маркиз, — сказал тамплиер, — соберись с мужеством и перестань так говорить. Через час ты выйдешь победителем из поединка или же исповедуешься своему шлему, как подобает доблестному рыцарю.

— Увы, гроссмейстер! Все предвещает злосчастный исход. Необыкновенный инстинкт собаки, которая узнала меня, этот воскресший шотландский рыцарь, словно привидение явившийся на ристалище, — все это дурные признаки.

— Глупости! — воскликнул тамплиер. — Я видел, как ты смело сражался с шотландцем во время рыцарских игр, и ваши силы были тогда равны; вообрази, что это просто турнир, и никто лучше тебя не управится с ним на ристалище... Эй, оруженосцы и оружейники, пора готовить вашего господина к поединку.

Слуги вошли и стали надевать на маркиза доспехи.

— Какая погода сегодня? — спросил Конрад.

— Заря занимается в туманной дымке, — ответил один из

оруженосцев.

— Вот видишь, гроссмейстер, — сказал Конрад, — ничто не улыбается нам.

— Тем прохладней тебе будет сражаться, сын мой, — возразил тамплиер. — Благодарю небо, которое ради тебя умерило жар палестинского солнца.

Так шутил гроссмейстер, но его шутки уже не оказывали влияния на смятенный ум маркиза; и несмотря на все старания тамплиера казаться веселым, мрачное настроение Конрада передалось и ему.

«Этот трус, — думал он, — потерпит поражение лишь по робости и слабости духа, которую он называет чуткой совестью. Я сам должен был бы сразиться в этом поединке, ибо меня не смущают ни призраки, ни предсказания и я тверд, как скала, в достижении своей цели... И если ему не суждено победить, что было бы лучше всего, то да будет воля божья, чтобы шотландец убил его на месте. Но как бы там ни было, у него не должно быть другого духовника, кроме меня: у нас слишком много общих грехов, и он может покаяться не только в своей доле, но и в моей».

Между тем как эти мысли проносились в голове гроссмейстера, он продолжал наблюдать, как одевали маркиза, но уже не говорил ни слова.

Наконец наступил назначенный час, заиграли трубы, рыцари въехали на ристалище закованные в сталь и в полном вооружении, как положено тем, кому предстоит сражаться за честь своей страны. С поднятым забралом они сделали три круга по арене, чтобы зрители могли их рассмотреть. Оба противника были хорошо сложены и имели благородную внешность. Но лицо шотландца выражало мужественную уверенность, светлую надежду, почти радость, а на лице Конрада, несмотря на то, что гордость и усилие воли отчасти вернули ему врожденную смелость, по-прежнему лежала тень зловещего уныния. Казалось, даже его конь выступал под звуки труб не столь легко и весело, как благородный арабский скакун, на котором ехал сэра Кеннет. И рассказчик покачал головой, когда заметил, что обвинитель движется вокруг ристалища по солнцу, — то есть справа налево, а обвиняемый совершает тот же круг слева направо, что в большинстве стран считается дурной приметой.

Как раз под галереей, где находилась королева, был установлен временный алтарь, а около него стоял отшельник в одеянии монаха ордена кармелитов, к которому он принадлежал. Присутствовали и другие лица духовного звания. Сопровождаемый каждый своим поручителем, обвинитель и обвиняемый по очереди подъехали к алтарю. Спешившись перед ним, оба рыцаря торжественной присягой над евангелием засвидетельствовали правоту своего дела и просили бога даровать победу тому из них, чья клятва соответствует истине. Они поклялись также, что будут сражаться по-рыцарски, обычным оружием, не прибегая для склонения победы на свою сторону к чарам, колдовству и магическим заклинаниям. Обвинитель произнес обет твердым, мужественным голосом, и лицо его дышало смелостью и весельем. По окончании церемонии шотландский рыцарь бросил взгляд на галерею и низко склонился в поклоне, как бы воздавая честь невидимым красавицам, которые там сидели. Затем, хотя и обремененный тяжелыми доспехами, он вскочил в седло, не коснувшись стремени, и, гарцуя, направился к своему месту на восточной стороне ристалища. Конрад, представ перед алтарем, также проявил достаточно смелости: но когда он принимал присягу, его голос звучал глухо, словно тонул в шлеме. Когда он обратился к небу с просьбой о победе для того, кто прав, его губы побелели, произнося кощунственные, издевательские слова. Он повернулся и собрался уже снова сесть на лошадь, но в это мгновение гроссмейстер приблизился к нему, якобы для того, чтобы поправить стальное ожерелье, и прошептал:

— Трус и дурак! Опомнись и, смотри, бейся отважно, не то, клянусь небом, если ты ускользнешь от него, от меня тебе не удастся ускользнуть!

Свирепый тон этого напутствия, вероятно, усилил смятение маркиза, так как, садясь на лошадь, он оступился; удержавшись, однако, на ногах, он с обычной ловкостью вскочил в седло и, показывая высокое искусство верховой езды, подъехал к своему месту напротив обвинителя. Все же этот случай не ускользнул от внимания тех, кто следил за приметами, которые могли бы предсказать исход сегодняшнего сражения.

Священнослужители вознесли торжественную молитву богу, прося его рассудить спор по справедливости, и удалились с

ристалища. После этого прозвучали фанфары англичан, и герольд возвестил на восточной стороне арены:

— Вот стоит доблестный рыцарь, сэра Кеннет Шотландский, заступник короля Ричарда Английского, который обвиняет Конрада, маркиза Монсерратского, в подлом предательстве и бесчестии, нанесенном сказанному королю.

Когда слова «Кеннет Шотландский» оповестили об имени и происхождении заступника, которые прежде были большинству неизвестны, сторонники короля Ричарда разразились громкими и радостными приветствиями, почти заглушившими, несмотря на повторные призывы к тишине, ответ обвиняемого. Тот, разумеется, заявил, что он невиновен и в доказательство готов биться, не щадя живота. Затем к обоим противникам приблизились их оруженосцы и подали щит и копье; они помогли надеть щит, подвязав его к шее, чтобы у сражающихся обе руки оставались свободными, так как одной они должны были держать поводья, а другой копье.

Щит шотландца был украшен его прежней эмблемой — леопардом, с добавлением, однако, железного ошейника и разорванной цепи — намек на его недавнее рабство. На щите маркиза в соответствии с его титулом была изображена зубчатая гора. Оба рыцаря взмахнули копьями, как бы желая определить их вес и прочность, затем опустили на фокр. Поручители, герольды и оруженосцы отошли к ограде, и противники заняли свои места друг против друга, лицом к лицу, взяв копье наперевес и опустив забрала; в своих доспехах, скрывавших всю их фигуру, они напоминали скорее статуи литой стали, чем существа из плоти и крови. Воцарилась напряженная тишина; зрители учащенно дышали и, словно забыв обо всем на свете, не спускали глаз с арены; не слышно было ни звука, кроме храпа коней и хруста песка, разрываемого их копытами; благородным животным, которые чувствовали, что должно сейчас произойти, не терпелось помчаться в карьер.

Рыцари простояли так минуты три. Но вот по знаку султана сотня тамбуринов и цимбал огласила воздух медными звуками, и оба противника вонзили шпоры в бока своих лошадей и отпустили поводья. Лошади понеслись во весь опор, и рыцари, встретившись на середине арены, сшиблись с грохотом, который напоминал удар грома. На чьей стороне была победа, никто не сомневался, не

сомневался ни минуты. Конрад, в самом деле, оказался опытным бойцом: он по всем правилам нацелил копье в середину щита противника и ударил так прямо и метко, что оно расколосось на части, от стального наконечника до рукояти. Конь сэра Кеннета отпрянул на несколько ярдов и упал на задние ноги, но всадник без труда поднял его, натянув поводья. Для Конрада же все было кончено. Копье сэра Кеннета пробило щит, пластинчатые латы миланской стали, кольчугу, надеваемую под латы, глубоко вонзилось Конраду в грудь и вышибло его из седла; древко при этом сломалось, но часть его осталась торчать в ране. Поручители, герольды и сам Саладин, сошедший со своего трона, столпились вокруг раненого; сэр Кеннет вытащил было свой меч, но как только увидел, что его враг совершенно беспомощен, стал требовать от него признания вины. Поспешно подняли забрало шлема, и Конрад, устремив к небу безумный взгляд, ответил:

— Что вам еще нужно?.. Бог рассудил справедливо... Я виновен... Но в лагере есть более низкие предатели, нежели я... Ради спасения моей души, приведите ко мне духовника!

Произнося последние слова, он несколько оживился.

— Талисман... твоё могущественное средство, царственный брат, — сказал король Ричард Саладину.

— Предатель, — ответил султан, — заслуживает скорее, чтобы его стащили за ноги с ристалища на виселицу, а не применяли к нему целительную силу талисмана... И, судя по его взгляду, его ждет нечто подобное, — добавил он, внимательно посмотрев на раненого, — ибо рану этого негодяя можно излечить, но на его лбу уже лежит печать Азраила.

— Тем не менее, — сказал Ричард, — прошу тебя, сделай для него все, что можешь, чтобы он хотя бы успел исповедаться... Не следует губить вместе с телом и душу! Полчаса для него, возможно, в тысячу раз важнее, чем вся жизнь самого старого патриарха.

— Желание моего царственного брата будет исполнено, — сказал Саладин. — Рабы, отнесите раненого в наш шатер.

— Не делайте этого, — сказал тамплиер, который до тех пор молчал и с мрачным видом смотрел на происходившее. — Царственный герцог австрийский и я не позволим, чтобы этот несчастный христианский рыцарь был отдан сарацинам и они

испытывали на нем свои колдовские чары. Мы поручители маркиза Монсерратского и требуем передачи его на наше попечение.

— Иначе говоря, вы отказываетесь воспользоваться предлагаемым верным средством к спасению его жизни? — спросил Ричард.

— Это не так, — ответил гроссмейстер, овладев собой. — Если султан применяет дозволенные способы лечения, он может пользоваться больным в моем шатре.

— Помоги ему, прошу тебя, мой добрый брат, — обратился Ричард к Саладину, — хотя разрешение дано и не слишком охотно... Но перейдем теперь к более почетному делу. Играйте, трубы! Англичане, в честь защитника Англии — наш клич!

Разом загремели барабаны, сигнальные рожки, трубы и цимбалы, и мощные, стройные возгласы, которыми испокон веков англичане выражали одобрение, смешались с пронзительными, беспорядочными криками арабов, напоминая звуки органа среди завывания бури... Наконец наступила тишина.

— Храбрый рыцарь Леопарда, — вновь заговорил Ричард Львиное Сердце. — Ты доказал, что эфиоп может сменить свою кожу, а леопард потерять свои пятна, хотя церковнослужители, ссылаясь на священное писание, утверждают, что это невозможно. Остальное я скажу, когда приведу тебя к дамам, которые лучше всех умеют ценить и награждать рыцарские подвиги.

Рыцарь Леопарда склонил голову в знак повиновения.

— А ты, благородный Саладин, тоже должен навестить их. Уверю тебя, что наша королева не будет считать, что ее хорошо приняли, если ей не представится случай поблагодарить царственного хозяина за его великолепное гостеприимство.

Саладин изящно поклонился, но отклонил приглашение.

— Я должен навестить раненого, — сказал он. — Подобно тому как боец не покидает ристалища, так врач не покидает своего больного, если даже его приглашают в райскую обитель. А кроме того, царственный Ричард, знай, что кровь жителей Востока в присутствии красавиц не течет так спокойно, как кровь людей твоей страны. Что сказано в коране? «Ее глаза подобны лезвию меча пророка, кто осмелится взглянуть на них? » Тот, кто не желает сгореть, остерегается ступить на раскаленные угли... Умные люди не расстилают лен перед пылающим факелом. Тот,

говорит мудрец, кто лишился сокровища, поступит неразумно, если обернется, чтобы еще раз посмотреть на него.

Ричард, как и следовало ожидать, отнесся с уважением к деликатным чувствам, которые проистекали из обычаев, столь отличных от принятых у него на родине, и больше не настаивал.

— В полдень, — сказал султан уходя, — вы все, надеюсь, пожелаете отобедать в черном, крытом верблюжьей кожей шатре курдистанского вождя.

Такое же приглашение получили те из христиан, кто был достаточно знатен, чтобы присутствовать на пиршестве, устроенном для государей.

— Слушайте! — сказал Ричард. — Тамбурины возвещают, что наша королева и ее свита покидают галерею... И смотрите, чалмы склонились до земли, словно их владельцев сразил ангел-истребитель. Все лежат ничком, как будто румянец женских щек может померкнуть от взгляда араба! Ну, идемте же к шатру и торжественно введем в него победителя... Как жаль мне благородного султана, чье понятие о любви не отличается от понятий существ низшего порядка!

Блондель уже настраивал свою арфу на самый веселый лад, чтобы приветствовать вступление победителя в шатер королевы Беренгарии. Сэр Кеннет вошел, поддерживаемый с двух сторон своими поручителями, Ричардом и Уильямом Длинным Мечом, и изящно преклонил колена перед королевой, но, воздавая эту почесть, он мысленно обращался скорее к Эдит, сидевшей справа от Беренгарии.

— Снимите с него доспехи, сударыни, — сказал король, которому доставляло удовольствие соблюдение всех рыцарских обычаев. — Да воздаст красота честь рыцарству! Сними с него шпоры, Беренгария; хоть ты и королева, ты обязана оказать ему все знаки милости, какие только возможны... Отстегни его шлем, Эдит, сделай это своей рукой, хотя бы ты и была самой гордой из рода Плантагенетов, а он — самым бедным рыцарем на земле!

Обе дамы повиновались приказу короля. Беренгария с суетливым усердием торопилась исполнить желание мужа, а Эдит, то краснея, то бледнея, медленно и неловко отстегивала шлем с помощью графа Солсбери.

— А что ожидаете вы увидеть под этой железной

оболочкой? — спросил Ричард, когда шлем был отстегнут и взорам предстало благородное лицо сэра Кеннета, горевшее не только от недавнего напряжения, но и от тех чувств, что он сейчас испытывал. — Что вы думаете о нем, храбрецы и красавицы? — продолжал Ричард. — Похож он на эфиопского раба или это лицо искателя приключений без роду и племени? Нет, клянусь своим добрым мечом! На этом кончаются его различные перевоплощения. Он преклонил перед вами колена, ничем не знаменитый, кроме своих собственных достоинств... Он встает человеком высокого происхождения и столь же высокой доблести. Неведомый рыцарь Кеннет встает Давидом, графом Хантингдоном, наследным принцем Шотландии!

Со всех сторон послышались изумленные восклицания, а Эдит выронила из рук шлем, который ей только что дали.

— Да, господа, — сказал король, — это именно так. Вы знаете, как обманула нас Шотландия; она обещала послать своих самых смелых и благородных рыцарей во главе с этим доблестным графом, чтобы помочь нашим войскам завоевать Палестину, но не сдержала своего обязательства. Благородный юноша, который должен был повести шотландских крестоносцев, счел для себя недостойным отказаться от участия в священной войне и присоединился к нам в Сицилии с небольшим отрядом преданных сторонников, который впоследствии пополнился многими его соотечественниками, не знавшими, кем был их предводитель. Все люди, посвященные в тайну наследного принца, за исключением одного старого слуги, погибли, и она сохранялась так хорошо, что я чуть не погубил в лице безвестного шотландца одного из благороднейших наследников королевского дома в Европе... Почему вы не сказали о своем звании, благородный Хантингдон, когда мой поспешный, продиктованный гневом приговор угрожал вашей жизни? Неужели вы считали Ричарда способным воспользоваться тем, что в его руках очутился сын короля, столь часто бывшего его врагом?

— Я не был так несправедлив к вам, царственный Ричард, — ответил граф Хантингдон. — Но моя гордость не позволяла мне признаться, что я шотландский принц, лишь для того, чтобы спастись от смерти за нарушение верности. А кроме того, я дал обет не раскрывать своего звания, пока крестовый поход не будет

закончен; и я рассказал о нем лишь достопочтенному отшельнику *in articulo mortis* ³², полагаясь на тайну исповеди.

— Так это знание твоей тайны заставило доброго человека настаивать передо мной на отмене моего сурового приговора? — сказал Ричард. — Он справедливо предупреждал меня, что, если этот доблестный рыцарь умрет по моему приказанию, я готов буду отдать свою руку, лишь бы вернуть назад роковые слова, обрекшие его на смерть... Руку! Я отдал бы свою жизнь, ибо весь мир стал бы говорить, что Ричард воспользовался положением, в котором оказался наследник шотландского престола, доверившись моему благородству.

— Можем ли мы узнать у вашего величества, благодаря какой необыкновенной и счастливой случайности эта тайна была наконец разгадана? — спросила королева Беренгария.

— Нам были доставлены письма из Англии, — ответил король, — из которых среди других неприятных новостей мы узнали, что шотландский король захватил трех наших вассалов, когда те совершали паломничество в Сент-Ниниан, и выставил причиной то, что его наследник, якобы сражавшийся в это время в рядах тевтонских рыцарей против язычников Боруссии, на самом деле находится в нашем лагере и в наших руках; а потому Вильгельм собирался держать наших вассалов заложниками и тем обеспечить безопасность своего сына. Это дало мне первый намек на истинное звание рыцаря Леопарда; мои подозрения подтвердил де Во; вернувшись из Аскалона, он привез с собой единственного слугу графа Хантингдона, тупоголового раба, прошедшего тридцать миль, чтобы открыть де Во тайну, о которой он должен был рассказать мне.

— Старого Страукана следует извинить, — сказал лорд Гилсленд. — Он знал по опыту, что у меня сердце помягче, ибо я не прозываюсь Плантагенетом.

— У тебя мягкое сердце? Ты старая железная болванка... Кремень камберлендский, вот кто ты! — воскликнул король. — Это мы, Плантагенеты, славимся мягкими и чувствительными сердцами, не правда ли, Эдит? — И, обернувшись к своей кухне, он так посмотрел на нее, что вся кровь бросилась к ее щекам. —

32

на смертном одре (лат.)

Дай мне твою руку, прекрасная кузина, а ты, принц шотландский, твою.

— Погоди, мой повелитель, — сказала Эдит и отступила на шаг; пытаясь скрыть свое смущение, она стала подшучивать над легковерием своего царственного родственника. — Разве ты не помнишь, что моя рука должна послужить обращению в христианскую веру сарацин и арабов, Саладина и всего чалмоносного воинства?

— Да, но ветер пророчества начинает меняться и дует теперь с другой стороны, — возразил Ричард.

— Не насмехайтесь, дабы не прогневать силы, тяготеющие над вашими судьбами, — сказал отшельник, выступив вперед. — Небесное воинство записывает в свою алмазную книгу только истину; но человеческое зрение слишком слабо, чтобы правильно прочесть их письма. Знай же, когда Саладин и Кеннет Шотландский ночевали в моей пещере, я прочел в звездах, что под моим кровом отдыхает исконный враг Ричарда, государь, с которым будет связана судьба Эдит Плантагенет. Мог ли я сомневаться, что дело шло о султানে, чье звание мне было хорошо известно, так как он часто посещал мою келью, чтобы беседовать о движении планет?.. Небесные светила возвещали также, что государь, супруг Эдит Плантагенет, будет христианином; и я — немощный, безумный толкователь! — сделал отсюда вывод о предстоящем обращении в христианство благородного Саладина, добродетели которого, казалось, подчас склоняли его к истинной вере. Сознание моей немощности уничижало меня, обращало в прах, но и в прахе я нашел утешение! Я не сумел правильно прочесть судьбы других... Могу ли я быть уверен, что не ошибся в своей собственной судьбе? Богу не угодно, чтобы мы подслушивали решения его синедриона или выведывали его сокровенные тайны. Бодрствуя и молясь, мы должны со страхом и надеждой уповать на его волю. Я пришел сюда суровым провидцем, гордым пророком, который способен, как я думал, поучать государей и наделен даже сверхъестественным могуществом, но отягощен бременем, посильным только для моих плеч. Но путы, связывающие меня, были разорваны. Я ухожу отсюда униженный в своем невежестве, кающийся — но не без надежды.

С этими словами отшельник удалился. Говорят, с тех пор припадки сумасшествия случались с ним редко, его покаяние приняло более мягкие формы, и ему сопутствовала надежда на лучшее будущее. Даже в своем безумии он был одержим громадным самомнением; теперь он убедился, что пророчество, на котором он с таким жаром настаивал, было ложным, и это подействовало на него, как кровопускание на человеческий организм, утишив лихорадку его ума.

Вряд ли необходимо входить в дальнейшие подробности о том, что произошло в шатре королевы, и задаваться вопросом, был ли Давид граф Хантингдон так же нем в присутствии Эдит Плантагенет, как в то время, когда ему приходилось выступать в роли безродного, никому не ведомого искателя приключений. Можно не сомневаться, что он со всем приличествующим случаю жаром признался теперь в своей любви, которую прежде так жаждал, но не осмеливался выразить в словах.

Приближался полдень, и Саладин уже ждал христианских государей в палатке, которая мало чем, кроме размеров, отличалась от обычного жилища простого курда или араба. Но под ее просторным черным сводом на роскошных коврах, окруженных подушками для гостей, все было приготовлено для пышного восточного пиршества. Мы не станем останавливаться на описании золотой и серебряной парчи, тканей с вышитыми на них чудесными арабесками, кашмирских шалей и индийской кисеи, повсюду радовавших взор своей изумительной красотой. Еще меньше склонны мы распространяться о всяких сластях, о рагу с гарниром из риса различных оттенков и о прочих восточных яствах. Золотые, серебряные и фарфоровые блюда с ягнятами, зажаренными целиком, и пилавами из дичи и домашней птицы стояли попеременно с большими чашами шербета, охлажденного снегом и льдом из горных пещер Ливана. На почетном месте для хозяина пира и наиболее высокопоставленных гостей лежала груда великолепных подушек, а с потолка шатра повсюду, и в особенности над нею, свисало множество войсковых знамен и государственных стягов — трофеев, напоминавших о выигранных битвах и завоеванных царствах. Но среди них бросалось в глаза прикрепленное к длинному копьют полотнище, знамя смерти, со следующей выразительной надписью: «САЛАДИН, ЦАРЬ ЦАРЕЙ.

САЛАДИН, ПОБЕДИТЕЛЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. САЛАДИН ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ».

Закончив все приготовления к пиру, рабы не удалились, а остались стоять, склонив головы и скрестив на груди руки, немые и неподвижные, как статуи или как автоматы, приходящие в движение лишь после того, как к ним прикоснется рука мастера.

В ожидании прибытия высоких гостей султан, суеверный, как все его современники, задумался над гороскопом и свитком с пояснениями, которые энгаддийский отшельник прислал ему, прежде чем покинуть лагерь.

— Странная и таинственная наука, — бормотал Саладин про себя. — Она притязает на то, что может приоткрыть завесу будущего, а на самом деле вводит в заблуждение тех, кого как будто направляет на истинный путь, и затемняет то, что якобы освещает! Кто не подумал бы, что самый опасный враг Ричарда — это я и что наша вражда прекратится вследствие моей женитьбы на его родственнице? Однако теперь выяснилось другое: брак между доблестным графом и этой дамой помирит Ричарда с Шотландией

— врагом более опасным, чем я, ибо дикой кошки в комнате следует опасаться больше, чем льва в далекой пустыне... Но, с другой стороны,

— продолжал он, — сочетание светил указывает, что ее муж должен быть христианином... Христианином? — повторил он после некоторого молчания.

— Это вселило в безумного, фанатичного звездочета надежду, будто я могу отречься от моей веры! Но меня, верного последователя нашего пророка, меня оно не должно было обмануть. Лежи здесь, таинственный свиток, — добавил он, кладя его под грудку подушек. — Твои пророчества непонятны и пагубны, ибо, Даже сами по себе истинные, они обращаются ложью для тех, кто пытается их разгадать... В чем дело, зачем ты явился сюда без зова?

Эти слова относились к Нектабанусу, который в это мгновение вбежал в шатер; карлик был страшно взволнован, его лицо с непропорциональными, странными чертами исказилось от страха и стало еще уродливее, рот был раскрыт, глаза вытаращены, руки со сморщенными и искривленными пальцами широко распростерты.

— Что случилось? — строго спросил султан.

— *Accipe hoc!* ³³ — простонал карлик.

— Как? Что ты говоришь?

— *Accipe hoc!* — ответил объятый ужасом человек, не сознавая, вероятно, что он повторяет те же слова.

— Вон отсюда! Я не расположен выслушивать твои глупости, — сказал султан.

— Я глуп лишь настолько, — возразил Нектабанус, — чтобы моя глупость помогала моему уму зарабатывать хлеб для такого беспомощного бедняка, как я!.. Выслушай, выслушай меня, великий султан!

— Ну что ж, если тебя действительно кто-то обидел, — сказал Саладин, — глупый ты или умный, ты имеешь право на то, чтобы государь приклонил слух к твоей жалобе. Идем сюда. — И он повел его во внутреннюю часть шатра.

Их секретный разговор был прерван звуками труб, возвещавшими о прибытии христианских государей. Саладин приветствовал их у себя в шатре с королевской любезностью, подобающей их и его званию; особенно милостивый прием оказал он молодому графу Хантингдону, от души поздравив с осуществлением его чаяний, которые стали на пути тем замыслом, что он сам лелеял, и которые теперь полностью разрушили их.

— Не думай, однако, благородный юноша, — сказал султан, — что принц шотландский милее сердцу Саладина, чем Кеннет — одинокому Ильдериму, когда они встретились в пустыне, или истерзанный горем эфиоп — хакиму Адонбеку. Смелых и благородных людей вроде тебя ценят независимо от их звания и происхождения, подобно тому как прохладный напиток, который я предлагаю тебе сейчас отведать, одинаково восхитителен на вкус, пьешь ли ты его из глиняной чаши или из золотого кубка.

Граф Хантингдон ответил подобающим образом и с благодарностью вспомнил о многочисленных важных услугах, оказанных ему великодушным султаном. Но после того как он отпил за здоровье Саладина из поднесенной ему чаши шербета, он не мог удержаться, чтобы не заметить с улыбкой:

— Храбрый воин Ильдерим никогда не слышал о существовании льда, а щедрый султан охлаждает шербет снегом.

33

Прими это! (лат.)

— Разве простой араб или курд может быть столь же мудрым, как хаким? — сказал султан. — Кто меняет свой внешний облик, тот должен и движения своего сердца и помыслы своего ума привести в соответствие с одеждой, которую он на себя надел. Мне хотелось узнать, как будет вести себя прямодушный франгистанский рыцарь в споре с таким вождем, какого я тогда изображал; и я усомнился в общеизвестной истине, чтобы услышать, какими доводами ты станешь подкреплять свое утверждение.

Во время этого разговора подошел эрцгерцог австрийский, который стоял неподалеку и слышал упоминание о ледяном шербите; предвкушая удовольствие, он довольно бесцеремонно выхватил из рук графа Хантингдона большую чашу, прежде чем тот успел поставить ее на место.

— Чудесно! — воскликнул он, сделав огромный глоток, показавшийся ему вдвойне приятным из-за жары и из-за похмелья после вчерашней попойки.

Со вздохом он передал чашу гроссмейстеру тамплиеров. В это мгновение Саладин сделал знак карлику, и тот, выступив вперед, произнес хриплым голосом слова «*Assire hoc!*» Тамплиер отпрянул, как конь, увидевший льва под придорожным кустом, но сразу овладел собой и, вероятно, чтобы скрыть замешательство, поднес чашу к губам... Но его губы так и не коснулись края чаши. С быстротой молнии Саладин выхватил из ножен саблю. Она мелькнула в воздухе — и голова гроссмейстера покатила к краю шатра, а туловище еще секунду продолжало стоять, и руки все еще крепко сжимали чашу; затем оно рухнуло, и шербет смешался с кровью, хлынувшей из вен.

Со всех сторон послышались крики о предательстве, и австрийский эрцгерцог, от которого Саладин с окровавленной саблей в руках был ближе всего, попятился, как бы опасаясь, что следующая очередь будет за ним. Ричард и другие гости схватились за мечи.

— Не бойся, благородная Австрия, — сказал Саладин так спокойно, словно ничего не случилось, — а ты, король Англии, не приходи в гнев от того, что ты только что видел. Не за свои многочисленные предательства — не за то, что по его наущению, как может засвидетельствовать его собственный оруженосец, была

сделана попытка лишить жизни короля Ричарда; не за то, что он гнался в пустыне за принцем шотландским и мною и нам тогда удалось спастись только благодаря быстроте наших коней; не за то, что он подбивал маронитов напасть на нас вовремя этой встречи и лишь потому, что я неожиданно для них привел с собой так много арабских воинов, им пришлось отказаться от своих планов, — не за эти преступления лежит он сейчас здесь, хотя каждое из них заслуживает такого наказания, а потому, что всего за полчаса до того, как он, подобно самуму, отравляющему воздух, осквернил своим приходом это помещение, им был заколот кинжалом его соратник и сообщник Конрад Монсерратский, чтобы тот не смог покаяться в бесчестных заговорах, в которых они оба участвовали.

— Как! Конрад убит? Убит гроссмейстером, его поручителем и самым близким другом! — воскликнул

Ричард. — Благородный султан, я готов верить тебе... Но все же ты должен доказать свои слова, не то...

— Вот стоит доказательство, — перебил Саладин, указывая на перепуганного карлика. — Аллах, который создал светлячков, чтобы они светили ночью, может раскрывать тайные преступления при посредстве самых ничтожных созданий.

И султан приступил к рассказу о том, что узнал от карлика. Нектабанус из глупого любопытства или же, как он наполовину признался, в надежде чем-нибудь поживиться прокрался в палатку Конрада, покинутую всеми слугами, так как некоторые из них ушли из лагеря, чтобы известить брата маркиза о его поражении, а другие не захотели упустить случая принять участие во всеобщем пиршестве, устроенном Саладином. Раненый спал под действием чудесного талисмана Саладина, так что карлик имел возможность беспрепятственно всюду порыться; вдруг чьи-то тяжелые шаги спугнули его и заставили забиться в укромный уголок. Он спрятался за занавеску, но мог оттуда видеть движения и слышать слова гроссмейстера, который вошел и тщательно задернул за собой полог шатра. Его жертва, вздрогнув, проснулась; по видимому, маркиз сразу же заподозрил недобрые намерения своего давнего союзника, так как в страхе спросил, зачем он его тревожит.

— Я пришел исповедать тебя и отпустить твои грехи, — ответил гроссмейстер.

Из дальнейшего разговора испуганный карлик запомнил лишь

то, что Конрад молил гроссмейстера не обрывать висящую на волоске жизнь, а тамплиер ударил его турецким кинжалом в сердце, произнеся при этом «Ассире нос!» — слова, которые долго преследовали потрясенное воображение тайного свидетеля.

— Я проверил этот рассказ, — сказал в заключение Саладин, — приказав осмотреть труп; и я заставил это несчастное создание, по воле аллаха ставшее обличителем преступника, повторить в вашем присутствии произнесенные убийцей слова, и вы сами видели, как они подействовали на его совесть!

Султан умолк, и теперь заговорил король Англии:

— Если это правда, в чем я не сомневаюсь, то мы присутствовали при акте величайшей справедливости, хотя вначале нам казалось иное. Но почему здесь, при нас? Почему твоею собственной рукой?

— Я предполагал поступить по-другому, — сказал Саладин, — но если бы я не поспешил обрушить на злодея кару, он вовсе избег бы ее, ибо допусти я, чтобы он отведал из моей чаши, как он собирался сделать, я уже не мог бы предать его заслуженной смерти, не опозорив себя нарушением законов гостеприимства. Если бы он убил моего отца, а потом вкусил моей пищи и отпил из моей чаши, я не тронул бы и волоска на его голове. Но довольно о нем... Пусть уберут отсюда труп, и не будем больше вспоминать о предателе.

Тело унесли, и следы убийства уничтожили или скрыли с такой быстротой и сноровкой, которые показывали, что подобные случаи были не так уж необычны и не могли вызвать замешательства среди слуг и придворных Саладина.

Однако христианские государи чувствовали себя подавленными только что разыгравшимся перед ними зрелищем, и хотя, в ответ на любезное приглашение Саладина, они заняли свои места за пиршественным столом, беспокойство и изумление не покидали их, и все продолжали хранить молчание. В душе одного только Ричарда не было больше места для подозрительности и сомнений. Но и он, казалось, обдумывал какой-то план и старался найти самую подкупающую и приемлемую форму для того, чтобы его предложить. Наконец он выпил залпом большую чашу вина и, обратившись к султану, осведомился, правда ли, что тот удостоил графа Хантингдона чести, вступив с ним в единоборство.

Саладин, улыбаясь, ответил, что он испытал своего коня и оружие в поединке с наследным принцем шотландским, как это принято между рыцарями, которые встретились в пустыне; и он скромно добавил, что хотя схватка не была решительной, все же у него нет оснований гордиться ее исходом. Шотландец, в свою очередь, не согласился, что преимущество было на его стороне, и счел своим долгом отдать пальму первенства султану.

— То, что ты встретился в единоборстве с султаном, само по себе достаточная честь, — сказал Ричард, — и я завидую ей больше, чем всем улыбкам Эдит Плантагенет, хотя и одной из них достаточно, чтобы вознаградить за целый день кровавой битвы... Но что скажете вы, благородные государи? Мыслимое ли это дело, чтобы такое блестящее собрание рыцарей разошлось, не совершив ничего, о чем стали бы говорить в грядущих веках? Что значит разоблачение и смерть предателя для цвета рыцарства, который присутствует здесь и не должен разъехаться, не став свидетелем чего-либо более достойного его взора? Что скажешь ты, благородный султан, если ты и я сейчас, перед лицом этого избранного общества, разрешим давний спор по поводу палестинской земли и сразу покончим с этими докучливыми войнами? Вот там готовое ристалище, и у ислама никогда не будет лучшего защитника, чем ты. Я, если не найдется более достойного, брошу свою перчатку от имени христианства, и со всей любовью и уважением мы сразимся не на жизнь, а на смерть за обладание Иерусалимом.

Все затаили дыхание, ожидая ответа султана. Краска прилила к его щекам и лбу, и многие из присутствующих считали, что он колеблется, не в силах решить, принять ли ему вызов или нет. Наконец он сказал:

— Сражаясь за святой город против тех, кого мы считаем язычниками, которые поклоняются идолам из дерева и камня, я могу быть уверен, что аллах укрепит мою руку; а если я паду от меча Мелека Рика, то для моего перехода в рай не может быть более славной смерти. Но аллах уже отдал Иерусалим сторонникам истинной веры, и если бы я, понадеявшись на свою личную силу и ловкость, подверг опасности то, чем я прочно владею благодаря превосходству моих войск, это означало бы искушать бога нашего пророка.

— Ну, если не за Иерусалим, — сказал Ричард тоном человека, умоляющего об одолжении своего близкого друга, — то, быть может, из любви к славе мы встретимся хотя бы в трех схватках с острыми копьями.

— Даже этого, — слегка улыбаясь, ответил Саладин, которому страстная настойчивость, с какой Львиное Сердце домогался поединка, показалась забавной, — даже этого я не имею права себе позволить. Хозяин приставляет к стаду пастуха для блага овец, а не самого пастуха. Будь у меня сын, к которому перешел бы мой скипетр в случае моей смерти, я был бы волен уступить своему желанию и не задумываясь принял бы твой смелый вызов. Но в вашем писании говорится, что стоит убить пастуха, как овцы разбегутся.

— Все счастье досталось на твою долю, — со вздохом сказал Ричард, обернувшись к графу Хантингдону. — Я отдал бы лучший год моей жизни за эти полчаса у «Алмаза пустыни»!

Рыцарская удаль Ричарда подняла дух присутствующих, и когда они наконец собрались уходить, Саладин подошел к Львиному Сердцу и взял его за руку.

— Благородный король Англии, — сказал он, — мы сейчас расстанемся и больше никогда не встретимся. Мне так же хорошо известно, как и тебе, что ваш союз распался и больше не восстановится и что у тебя слишком мало своих войск для продолжения войны. Я не вправе уступить тебе Иерусалим, которым ты так хочешь завладеть. Для нас, как и для вас, это святой город. Но любая другая просьба Ричарда к Саладину будет удовлетворена с такой же готовностью, с какой этот источник утоляет жажду всех путников. И Саладин выполнил бы эту просьбу столь же охотно даже в том случае, если бы Ричард очутился в пустыне лишь с двумя лучниками!

На следующий день Ричард вернулся к себе в лагерь, а немного спустя состоялось бракосочетание молодого графа Хантингдона и Эдит Плантагенет, Султан прислал молодым в подарок знаменитый талисман. С его помощью в Европе было совершено много исцелений, но ни одно из них не могло сравниться с теми успешными, прославленными исцелениями, которых удавалось добиться Саладину. Талисман все еще существует; граф Хантингдон завещал его доблестному

шотландскому рыцарю сэру Саймону Ли, и в этой старинной, высоко почитаемой семье он сохранился до наших дней. И хотя современная фармакопея отказалась от применения чудодейственных камней, талисманом Саладина продолжают пользоваться, когда надо остановить кровотечение, а также в случаях бешенства.

Наше повествование на этом заканчивается, так как обстоятельства, при которых Ричард вынужден был отказаться от плодов своих побед, описаны в любом историческом труде, посвященном этой эпохе.